С.Т. АКСАКОВ

ИСТОРИЯ МОЕГО ЗНАКОМСТВА С ГОГОЛЕМ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

С. Т. АКСАКОВ

ИСТОРИЯ МОЕГО ЗНАКОМСТВА С ГОГОЛЕМ



ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛИ
СОТРУДНИКИ
МУЗЕЯ "АБРАМЦЕВО" АН СССР
Е. П. НАСЕЛЕНКО и Е. А. СМИРНОВА



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА
1 · 9 · 6 · 0

Ответственный редактор
Н. П. ПАХОМОВ

ОТ РЕДАКЦИИ

Свои воспоминания о Гоголе, начатые сразу же после его смерти и в основном написанные в 1854 г., С. Т. Аксаков не успел закончить и издать. В 1880 г. отрывки из его работы были опубликованы И. С. Аксаковым в «Руси» (№ 4—6). Стремясь передать только главные факты, И. С. Аксаков сокращал труд своего отца и вносил в него очень большие редакционные изменения. В последующих публикациях «История знакомства» печаталась по тексту «Руси» с дополнением материалов, взятых из книги П. А. Кулиша «Записки о жизни Н. В. Гоголя...» (СПб., 1856).

Впервые «История моего знакомства с Гоголем» была напечатана полностью Н. М. Павловым в 1890 г. («Русский архив», № 8). Текст этой публикации распадается на две части: первая, охватывающая период с 1832 г. до середины 1843 г., является воспроизведением рукописи С. Т. Аксакова; вторая — с конца 1843 г. до начала 1852 г.— составлена самим Павловым, как он пишет, на основе подготовленных С. Т. Аксаковым материалов: переписки с Гоголем, выписок из писем Гоголя к другим лицам, выписок из семейной переписки и дневников. О том, что такой комплекс документов был подготовлен, пишет и И. С. Аксаков (см. «Русь», 1880, № 6, стр. 17). Мы не можем судить, насколько полно были подобраны документы для этого периода, поскольку до нашего времени они в виде единого комплекса не дошли, а оказались рассредоточенными по различным хранилищам.

Анализируя вторую часть книги в редакции Н. М. Павлова, нельзя не отметить следующего. Если первая, обработанная С. Т. Аксаковым часть очень полно воссоздает картину отношений Гоголя и Аксаковых, то вторая довольно подробно освещает эти отношения только до 1847 г. Последние же четыре года жизни Гоголя — период напряженной работы писателя над вторым томом «Мертвых душ» и тесного творческого контакта с С. Т. Аксаковым, создававшим в это время свои крупнейшие произведения,— представлены несколькими мало выразительными документами, часто расположенными в неправильной хронологической последовательности. Таким образом, цель книги — передать потомству все, что было известно С. Т. Аксакову о жизни Гоголя,— явно осталась недостигнутой.

Основным же пороком работы Павлова является редактирование аксаковских документов в соответствии со своими собственными реакционными установками *. Павловым исключены все одобрительные отзывы о Белинском (письмо С. Т. и В. С. Аксаковых к И. С. Аксакову от 11 января 1847 г.; письмо С. Т. Аксакова к И. С. Аксакову от 8 февраля 1847 г.); опущены критические высказывания Аксаковых об отношении Гоголя к царю (письмо С. Т. Аксакова к И. С. Аксакову от 16 января 1847 г.; письмо В. С. Аксаковой к М. Г. Карташевской от 20 января 1847 г.); опущена характеристика атмосферы дома А. П. Толстого (см. стр. 198 наст. издания).

В последующих дореволюционных изданиях «Истории знакомства» вторая часть печаталась не всегда, поскольку редакторы ясно видели ее неудовлет-

---

* О Н. М. Павлове (Бицыне) см.: его некролог («Русский архив», 1906, кн. 1, стр. 641—648).

ворительность. В тех же случаях, когда печаталась и вторая часть, редакторы, не обращаясь к самим документам аксаковского архива, следовали Павлову или варьировали прежде опубликованные тексты.

В советскую эпоху в связи с широко развернувшимся изучением жизни и творчества Гоголя в научный обиход было введено громадное количество не известных ранее документов. Опубликование этих материалов сделало особенно наглядными те недостатки работы Н. М. Павлова, о которых сказано выше. Однако, переиздавая «Историю знакомства» в составе четырехтомного Собрания сочинений С. Т. Аксакова (М., Гослитиздат, 1955—1956), редактор С. И. Машинский повторил текст, опубликованный Павловым. Ввиду того, что «История знакомства» является необходимой справочной книгой для каждого литературоведа, занимающегося исследованием эпохи Гоголя, назрела необходимость такого ее издания, которое соответствовало бы современным научным требованиям. Исходя из этого, редакция настоящего издания конструирует текст «Истории знакомства» следующим образом.

Первая часть печатается по рукописи С. Т. Аксакова. Это — хранящаяся в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина тетрадь со 125-ю заполненными листами. На обложке рукою С. Т. Аксакова заглавие: «История ⟨нашего⟩ моего знакомства с Гоголем, со включением всей переписки с 1832 г. по 1852»; ниже: «1854 года. Начата 9 января». Текст написан рукою К. С. Аксакова и дочерей писателя. По этой рукописи набирался текст «Истории знакомства» для «Русского архива»; она содержит типографские пометки и правку редактора П. И. Бартенева.

Количество документов, составляющих вторую часть «Истории знакомства», значительно увеличено по сравнению с предыдущими изданиями. Документы расположены в соответствии с их точной датировкой, установленной советским литературоведением. Некоторые несущественные материалы, приведенные Павловым, заменены более значительными.

В качестве связующего текста во второй части редакция использует написанные С. Т. Аксаковым для П. А. Кулиша «Краткие сведения и выписки из писем для биографии Гоголя», хранящиеся в Институте русской литературы АН СССР (частично они были напечатаны и Павловым). Так как текст «Кратких сведений» не объясняет всех приводимых документов, к некоторым из них редакция дает пояснения от себя (петитом).

Все приведенные в книге документы сверены с подлинниками в тех случаях, когда они сохранились. Впервые в советское время публикуются по автографам семь писем Гоголя, которые в Полном собрании его сочинений были напечатаны по тексту первых публикаций (от 7 июля 1840 г., 28 декабря 1840 г., 5 марта 1841 г., 13 марта 1841 г., 24 мая 1843 г., 16 мая 1844 г., 21 декабря 1844 г.).

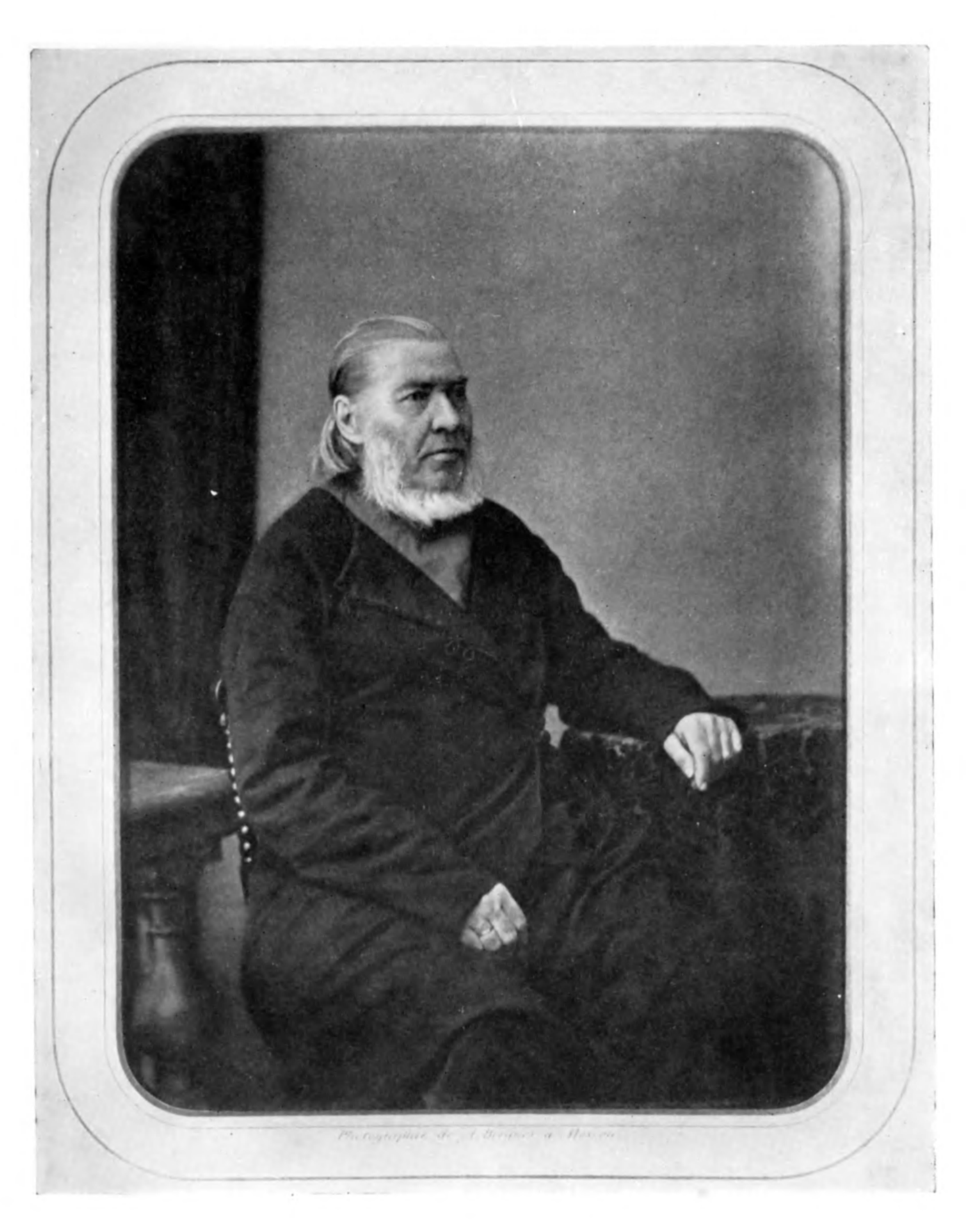
Тексты печатаются по современной орфографии. Особенности в написании слов, отражающие их произношение, отличное от современного (*паяс, пашпорт*) сохраняются. Сохраняется двоякое написание некоторых слов и собственных имен (*пьеса — пиеса, январь — генварь; Васильевка — Василевка, Шереметева — Шереметьева*).

Пунктуация подлинника сохраняется в тех случаях, где она не расходится резко с современными правилами. Поскольку текст Гоголя не всегда отчетливо расчленен на отдельные предложения (на месте подсказываемой смыслом точки стоит запятая и наоборот, а написание прописных и строчных букв не соответствует предшествующему знаку), редакция произвела в ряде случаев необходимую синтаксическую организацию текста.

ИСТОРИЯ МОЕГО ЗНАКОМСТВА С ГОГОЛЕМ

СО ВКЛЮЧЕНИЕМ ВСЕЙ ПЕРЕПИСКИ С 1832 ПО 1852 Г.





С. Т. Аксаков. Фотография Бергнера, 1856.

Музей «Абрамцево» АН СССР.



ИСТОРИЯ МОЕГО ЗНАКОМСТВА С ГОГОЛЕМ

1832—1843 гг.

ВСТУПЛЕНИЕ

«История знакомства моего с Гоголем», еще вполне не оконченная мною, писана была не для печати, или по крайней мере для печати по прошествии многих десятков лет, когда уже никого из выведенных в ней лиц давно не будет на свете, когда цензура сделается свободною или вовсе упразднится, когда русское общество привыкнет к этой свободе и отложит ту щекотливость, ту подозрительную раздражительность, которая теперь более всякой цензуры мешает говорить откровенно даже о давно прошедшем времени. Я печатно предлагал всем друзьям и людям, коротко знавшим Гоголя, написать вполне искренние рассказы своего знакомства с ним [1] и таким образом оставить будущим биографам достоверные материалы для составления полной и правдивой биографии великого писателя. Это была бы, по моему мнению, истинная услуга истории русской литературы и потомству. Не знаю, принято ли *кем-нибудь* мое предложение, но я почти исполнил свое намерение. Очевидно, возникают вопросы: как можно печатать сочинение, писанное не для печати? Какая причина заставила меня изменить цели, с которою писана книга? Первый вопрос разрешается легко: из «Истории моего знакомства с Гоголем» исключено все, чего нельзя еще напечатать в настоящее время. Причины же, почему я так поступил, почему нужна моя книга, состоят в следующем: четыре года прошло, как мы лишились Гоголя; кроме биографии и напечатанных в журналах многих статей, о нем продолжают писать и печатать; ошибочные мнения о Гоголе как о человеке нередко вкрадываются в сочинения всех пишущих о нем, потому что из них — даже сам биограф его [2] — лично Гоголя не знали или не находились с ним в близких сношениях. Я думаю, что мой искренний, никаким посторонним чувством не подкрашенный рассказ может бросить истинный свет не на великого писателя (для которого, говорят, это не важно), а на человека. Мне кажется, что дружба моя к Гоголю и долг к ⟨его⟩ памяти требуют от

меня такого поступка. Записки мои потеряют [3] не только большую половину своей занимательности, но и большую половину очевидности, то есть способности изъяснить предмет, о важности которого распространяться не нужно.

В 1832 году, кажется весною, когда мы жили в доме Слепцова на Сивцевом Вражке [4], Погодин привез ко мне, в первый раз и совершенно неожиданно, Николая Васильевича Гоголя [5]. «Вечера на хуторе близ Диканьки» были давно уже прочтены, и мы все восхищались ими. Я прочел, впрочем, «Диканьку» нечаянно: я получил ее из книжной лавки, вместе с другими книгами, для чтения вслух моей жене [6], по случаю ее нездоровья. Можно себе представить нашу радость при таком сюрпризе. Не вдруг узнали мы настоящее имя сочинителя; но Погодин ездил зачем-то в Петербург, узнал там, кто такой был «Рудый Панько», познакомился с ним и привез нам известие, что «Диканьку» написал Гоголь-Яновский. Итак, это имя было уже нам известно и драгоценно.

По субботам постоянно обедали у нас и проводили вечер короткие мои приятели. В один из таких вечеров, в кабинете моем, находившемся в мезонине, играл я в карты в четверной бостон, а человека три неигравших сидели около стола. В комнате было жарко, и некоторые, в том числе и я, сидели без фраков. Вдруг Погодин, без всякого предуведомления, вошел в комнату с не известным мне, очень молодым человеком, подошел прямо ко мне и сказал: «Вот вам Николай Васильевич Гоголь!» Эффект был сильный. Я очень сконфузился, бросился надевать сюртук, бормоча пустые слова пошлых рекомендаций. Во всякое другое время я не так бы встретил Гоголя. Все мои гости (тут были П. Г. Фролов, М. М. Пинский и П. С. Щепкин [7]— прочих не помню) тоже как-то озадачились и молчали. Прием был не то что холодный, но конфузный. Игра на время прекратилась; но Гоголь и Погодин упросили меня продолжать игру, потому что заменить меня было некому. Скоро, однако, прибежал Константин [8], бросился к Гоголю и заговорил с ним с большим чувством и пылкостью. Я очень обрадовался и рассеянно продолжал игру, прислушиваясь одним ухом к словам Гоголя, но он говорил тихо, и я ничего не слыхал.

Наружный вид Гоголя был тогда совершенно другой и не выгодный для него: хохол на голове, гладко подстриженные височки, выбритые усы и подбородок, большие и крепко накрахмаленные воротнички придавали совсем другую физиономию его лицу; нам показалось, что в нем было что-то хохлацкое и плутоватое. В платье Гого-

ля приметна была претензия на щегольство. У меня осталось в памяти, что на нем был пестрый светлый жилет с большой цепочкой. У нас остались портреты [9], изображающие его в тогдашнем виде, подаренные впоследствии Константину самим Гоголем.

К сожалению, я совершенно не помню моих разговоров с Гоголем в первое наше свидание; но помню, что я часто заговаривал с ним. Через час он ушел, сказав, что побывает у меня на днях, как-нибудь пораньше утром, и попросит сводить его к Загоскину [10], с которым ему очень хотелось познакомиться и который жил очень близко от меня. Константин тоже не помнит своих разговоров с ним, кроме того, что Гоголь сказал про себя, что он был прежде толстяк, а теперь болен; но помнит, что он держал себя неприветливо, небрежно и както свысока, чего, разумеется, не было, но могло так показаться. Ему не понравились манеры Гоголя, который произвел на всех без исключения невыгодное, несимпатичное впечатление. Отдать визит Гоголю не было возможности, потому что не знали, где он остановился: Гоголь не хотел этого сказать.

Через несколько дней, в продолжение которых я уже предупредил Загоскина, что Гоголь хочет с ним познакомиться и что я приведу его к нему, явился ко мне довольно рано Николай Васильевич. Я обратился к нему с искренними похвалами его «Диканьке», но, видно, слова мои показались ему обыкновенными комплиментами, и он принял их очень сухо. Вообще в нем было что-то отталкивающее, не допускавшее меня до искреннего увлечения и излияния, к которым я способен до излишества. По его просьбе мы скоро пошли пешком к Загоскину. Дорогой он удивил меня тем, что начал жаловаться на свои болезни (я не знал тогда, что он говорил об этом Константину) и сказал даже, что болен неизлечимо. Смотря на него изумленными и недоверчивыми глазами, потому что он казался здоровым, я спросил его: «Да чем же вы больны?» Он отвечал неопределенно и сказал, что причина болезни его находится в кишках. Дорогой разговор шел о Загоскине. Гоголь хвалил его за веселость, но сказал, что он не то пишет, что следует, особенно для театра. Я легкомысленно возразил, что у нас писать не о чем, что в свете все так однообразно, гладко, прилично и пусто, что

...даже глупости смешной [11]
В тебе не встретишь, свет пустой,—

но Гоголь посмотрел на меня как-то значительно и сказал, что «это неправда, что комизм кроется везде, что, живя посреди него, мы его не видим; но что если художник перенесет его в искусство, на сцену, то мы же сами над собой будем валяться со смеху и будем дивиться,

что прежде не замечали его». Может быть, он выразился не совсем такими словами, но мысль была точно та. Я был ею озадачен, особенно потому, что никак не ожидал ее услышать от Гоголя. Из последующих слов я заметил, что русская комедия его сильно занимала и что у него есть свой оригинальный взгляд на нее. Надобно сказать, что Загоскин, также давно прочитавший «Диканьку» и хваливший ее, в то же время не оценил вполне, а в описаниях украинской природы находил неестественность, напыщенность, восторженность молодого писателя; он находил везде неправильность языка, даже безграмотность. Последнее очень было забавно, потому что Загоскина нельзя было обвинить в большой грамотности. Он даже оскорблялся излишними, преувеличенными, по его мнению, нашими похвалами. Но по добродушию своему и по самолюбию человеческому ему приятно было, что превозносимый всеми Гоголь поспешил к нему приехать. Он принял его с отверстыми объятиями, с криком и похвалами; несколько раз принимался целовать Гоголя, потом кинулся обнимать меня, бил кулаком в спину, называл хомяком, сусликом и пр. и пр.; одним словом, был вполне любезен по-своему. Загоскин говорил без умолку о себе: о множестве своих занятий, о бесчисленном количестве прочитанных им книг, о своих археологических трудах, о пребывании в чужих краях (он не был далее Данцига), о том, что он изъездил вдоль и поперек всю Русь, и пр. и пр. Все знают, что это совершенный вздор и что ему искренно верил один Загоскин. Гоголь понял это сразу и говорил с хозяином, как будто век с ним жил, совершенно в пору и в меру. Он обратился к шкафам с книгами... Тут началась новая, а для меня уже старая история: Загоскин начал показывать и хвастаться книгами, потом табакерками и, наконец, шкатулками. Я сидел молча и забавлялся этой сценой. Но Гоголю она наскучила довольно скоро: он вдруг вынул часы и сказал, что ему пора идти, обещал еще забежать как-нибудь и ушел.

«Ну что,— спросил я Загоскина,— как понравился тебе Гоголь?» — «Ах, какой милый,— закричал Загоскин,— милый, скромный, да какой братец, умница!..» и пр. и пр.; а Гоголь ничего не сказал, кроме самых обиходных, пошлых слов.

В этот проезд Гоголя из Полтавы в Петербург наше знакомство не сделалось близким. Не помню, через сколько времени Гоголь опять был в Москве проездом [12], на самое короткое время; был у нас и опять попросил меня ехать вместе с ним к Загоскину, на что я охотно согласился. Мы были у Загоскина также поутру; он по-прежнему принял Гоголя очень радушно и любезничал по-своему; а Гоголь дер-

жал себя также по-своему, то есть говорил о совершенных пустяках и ни слова о литературе, хотя хозяин заговаривал о ней не один раз. Замечательного ничего не происходило, кроме того, что Загоскин, показывая Гоголю свои раскидные кресла, так прищемил мне обе руки пружинами, что я закричал; а Загоскин оторопел и не вдруг освободил меня из моего тяжкого положения, в котором я был похож на растянутого для пытки человека. От этой потехи руки у меня долго болели. Гоголь даже не улыбнулся, но впоследствии часто вспоминал этот случай и, не смеясь сам, так мастерски его рассказывал, что заставлял всех хохотать до слез. Вообще в его шутках было очень много оригинальных приемов, выражений, складу и того особенного юмора, который составляет исключительную собственность малороссов; передать их невозможно. Впоследствии бесчисленными опытами убедился я, что повторение гоголевых слов, от которых слушатели валялись со смеху, когда он сам их произносил,— не производило ни малейшего эффекта, когда говорил их я или кто-нибудь другой.

И в этот приезд знакомство наше с Гоголем не подвинулось вперед, но, кажется, он познакомился с Ольгой Семеновной и с Верой [13]. В 1835 году [14] мы жили на Сенном рынке, в доме Штюрмера. Гоголь, между тем, успел уже выдать «Миргород» и «Арабески». Великий талант его сказался в полной силе. Свежи, прелестны, благоуханны, художественны были рассказы в «Диканьке», но в «Старосветских помещиках», в «Тарасе Бульбе» уже являлся великий художник [15] с глубоким и важным значением. Мы с Константином, моя семья и все люди, способные чувствовать искусство, были в полном восторге от Гоголя. Надобно сказать правду, что, кроме просвещенных любителей литературы во всех слоях общества, молодые люди лучше и скорее оценили Гоголя. Московские студенты все пришли от него в восхищение и первые распространили в Москве громкую молву о новом великом таланте.

В один вечер сидели мы в ложе Большого театра; вдруг растворилась дверь, вошел Гоголь и с веселым, дружеским видом, какого мы никогда не видели, протянул мне руку с словами: «Здравствуйте!» Нечего говорить, как мы были изумлены и обрадованы. Константин, едва ли не более всех понимавший значение Гоголя, забыл, где он, и громко закричал, что обратило внимание соседних лож. Это было во время антракта. Вслед за Гоголем вошел к нам в ложу А⟨лександр⟩ Пав⟨лович⟩ Ефремов [16], и Конст⟨антин⟩ шепнул ему на ухо: «Знаешь ли, кто у нас? Это Гоголь». Ефремов, выпуча глаза также от изумления и радости, побежал в кресла и сообщил эту новость покой-

ному Станкевичу [17] и еще кому-то из наших знакомых. В одну минуту несколько трубок и биноклей обратились на нашу ложу, и слова «Гоголь, Гоголь» разнеслись по креслам. Не знаю, заметил ли он это движение, только, сказав несколько слов, что он опять в Москве на короткое время, Гоголь уехал.

Несмотря на краткость свидания, мы все заметили, что в отношении к нам Гоголь совершенно сделался другим человеком, между тем как не было никаких причин, которые во время его отсутствия могли бы нас сблизить. Самый приход его в ложу показывал уже уверенность, что мы ему обрадуемся. Мы радовались и удивлялись такой перемене. Впоследствии, из разговоров с Погодиным, я заключил (то же думаю и теперь), что его рассказы об нас, о нашем высоком мнении о таланте Гоголя, о нашей горячей любви к его произведениям, которыми мы встретили Гоголя при первом свидании, произвели это обращение. После таких разговоров с Погодиным Гоголь немедленно поехал к нам, не застал нас дома, узнал, что мы в театре, и явился в нашу ложу.

Гоголь вез с собою в Петербург комедию, всем известную теперь под именем «Женитьба»; тогда называлась она «Женихи». Он сам вызвался прочесть ее вслух [18] в доме у Погодина для всех знакомых хозяина. Погодин воспользовался этим позволением и назвал столько гостей, что довольно большая комната была буквально набита битком. И какая досада, я захворал и не мог слышать этого чудного, единственного чтения. К тому же это случилось в субботу, в мой день, а мои гости не были приглашены на чтение к Погодину. Разумеется, Константин мой был там. Гоголь до того мастерски читал, или, лучше сказать, играл свою пьесу, что многие понимающие это дело люди до сих пор говорят, что на сцене, несмотря на хорошую игру актеров, особенно господина Садовского в роли Подколесина, эта комедия не так полна, цельна и далеко не так смешна, как в чтении самого автора. Я совершенно разделяю это мнение, потому что впоследствии хорошо узнал неподражаемое искусство Гоголя в чтении всего комического. Слушатели до того смеялись, что некоторым сделалось почти дурно; но, увы: комедия не была понята! Большая часть говорила, что пьеса неестественный фарс, но что Гоголь ужасно смешно читает.

Гоголь сожалел, что меня не было у Погодина; назначил день, в который хотел приехать к нам обедать и прочесть комедию мне и всему моему семейству. В назначенный день я пригласил к себе именно тех гостей, которым не удалось слышать комедию Гоголя [19]. Между прочими гостями были Станкевич и Белинский [20]. Гоголь очень опоздал к обеду, что впоследствии нередко с ним случалось. Мне

было досадно, что гости мои так долго голодали, и в пять часов я велел подавать кушать; но в самое это время увидели мы Гоголя, который шел пешком через всю Сенную площадь к нашему дому. Но, увы, ожидания наши не сбылись: Гоголь сказал, что никак не может сегодня прочесть нам комедию, а потому и не принес ее с собой. Все это мне было неприятно, и, вероятно, вследствие того и в этот приезд Гоголя в Москву не последовало такого сближения между нами, какого я желал, а в последнее время и надеялся. Я виделся с ним еще один раз поутру у Погодина на самое короткое время и узнал, что Гоголь на другой день едет в Петербург.

В 1835 году дошли до нас слухи из Петербурга, что Гоголь написал комедию «Ревизор», что в этой пиесе явился талант его, как писателя драматического, в новом и глубоком значении. Говорили, что эту пиесу никакая бы цензура не пропустила, но что государь приказал ее напечатать и дать на театре. На сцене комедия имела огромный успех, но в то же время много наделала врагов Гоголю[21]. Самые злонамеренные толки раздавались в высшем чиновничьем круге и даже в ушах самого государя. Ни с чем нельзя сравнить нашего нетерпения прочесть «Ревизора», который как-то долго не присылался в Москву. Я прочел его в первый раз самым оригинальным образом. Однажды, поздно заигравшись в Английском клубе, я выходил из него вместе с Великопольским[22]. В это время швейцар подал мне записку из дому: меня уведомляли, что какой-то проезжий полковник привез Ф. Н. Глинке[23] печатный экземпляр «Ревизора» и оставил у него до шести часов утра; что Глинка прислал экземпляр нам и что все ожидают меня, чтобы слушать «Ревизора». Сгоряча я сказал об этом Великопольскому и не мог уже отказать ему в позволении услышать «Ревизора», и мы поскакали домой. Я жил тогда в Старой Басманной, в доме Куракина. Было уже около часу за полночь. Никто не спал, все сидели в ожидании меня, в моем кабинете, даже m-elle Potot, жившая у нас с матерью. Я не мог в первый раз верно прочесть «Ревизора»; но, конечно, никто никогда не читал его с таким увлечением, которое разделяли и слушатели.

«Ревизор» был продан петербургской дирекции самим Гоголем за две тысячи пятьсот рублей ассигнациями, а потому немедленно начали его ставить и в Москве. Гоголь был хорошо знаком с Мих⟨аилом⟩ Сем⟨еновичем⟩ Щепкиным[24] и поручил ему письменно постановку «Ревизора», снабдив притом многими, по большей части очень дельными, наставлениями. В то же время узнали мы, что сам Гоголь, сильно огорченный и расстроенный чем-то в Петербурге[25], распродал с уступкой все оставшиеся экземпляры «Ревизора»

и других своих сочинений и сбирается немедленно уехать за границу. Это огорчило меня и многих его почитателей. Вдруг приходит ко мне Щепкин и говорит, что ему очень неловко ставить «Ревизора», что товарищи этим как-то обижаются, не обращают никакого внимания на его замечания и что пиеса от этого будет поставлена плохо; что гораздо было бы лучше, если бы пиеса ставилась без всякого надзора, так, сама по себе, по общему произволу актеров; что если он пожалуется репертуарному члену или директору, то дело пойдет еще хуже: ибо директор и репертуарный член ничего не смыслят и никогда такими делами не занимаются; а господа артисты, назло ему, Щепкину, совсем уронят пиесу. Щепкин плакал от своего затруднительного положения и от мысли, что он так худо исполнит поручение Гоголя. Он прибавил, что единственное спасение состоит в том, чтоб я взял на себя постановку пиесы, потому что актеры меня уважают и любят [26] и вся дирекция состоит из моих коротких приятелей; что он напишет об этом Гоголю, который с радостью передаст это поручение мне. Я согласился и ту же минуту написал сам в Петербург к Гоголю горячее письмо, объяснив, почему Щепкину неудобно ставить пиесу и почему мне это будет удобно, прибавя, что, в сущности, всем будет распоряжаться Щепкин, только через меня. Это было первое мое письмо к Гоголю, и его ответ был его первым письмом ко мне. Вот оно:

«15 мая, СПб.

Я получил приятное для меня письмо ваше. Участие ваше меня тронуло. Приятно думать, что среди многолюдной неблаговолящей толпы скрывается тесный кружок избранных, поверяющий творения наши верным внутренним чувством и вкусом; еще более приятно, когда глаза его обращаются на творца их с тою любовью, какая дышит в письме вашем. Я не знаю, как благодарить за готовность вашу принять на себя обузу и хлопоты по моей пиесе. Я поручил ее уже Щепкину и писал об этом письмо к Загоскину. Если же ему точно нет возможности ладить самому с дирекцией и если он не отдавал еще письма, то известите меня,— я в ту же минуту приготовлю новое письмо к Загоскину.

Сам я никаким образом не могу приехать к вам, потому что занят приготовлениями к моему отъезду, который будет если не 30 мая, то 6 июня непременно. Но по возвращении из чужих краев я постоянный житель столицы древней.

Еще раз принося вам чувствительнейшую мою благодарность, остаюсь навсегда

Вашим покорнейшим слугою

Н. Гоголь.

Мая 15 1836»

На конверте:
«Его высокородию *
Милостивому государю
Сергею Тимофеевичу
Аксакову
от Гоголя».

Как это странно, что письмо такое простое, искреннее не понравилось всем и даже мне.

Отсюда начинается долговременная и тяжелая история неполного понимания Гоголя людьми самыми ему близкими, искренно и горячо его любившими, называвшимися его друзьями! Безграничной, безусловной доверенности в свою искренность Гоголь не имел до своей смерти. Нельзя предположить, чтоб все мы были виноваты в этом без всякого основания; оно заключалось в наружности обращения и в необъяснимых странностях его духа. Это материя длинная, и, чтобы бросить на нее некоторый свет, заранее скажу только, что впоследствии я часто говаривал для успокоения Шевырева [27] и особенно Погодина: «Господа! ну как мы можем судить Гоголя по себе? Может быть, у него все нервы вдесятеро тоньше наших и устроены как-нибудь вверх ногами!» На что Погодин со смехом отвечал: «Разве что так!»

Вследствие письма Гоголя ко мне Щепкин писал к нему, что письмо к Загоскину отдано давно, о чем он его уведомлял; но, кажется, Гоголь не получал этого письма, потому что не отвечал на него и уехал немедленно за границу.

Итак, «Ревизор» был поставлен [28] без моего участия. Впрочем, эта пиеса игралась и теперь играется в Москве довольно хорошо, кроме Хлестакова, роль которого труднее всех. Гоголь всегда мне жаловался, что не находит актера для этой роли, что оттого пиеса теряет смысл и скорее должна называться «Городничий», чем «Ревизор» **.

В 1837 году погиб Пушкин. Из писем самого Гоголя известно [30], каким громовым ударом была эта потеря. Гоголь сделался болен и духом и телом. Я прибавлю, что, по моему мнению, он уже никогда не выздоравливал совершенно и что смерть Пушкина была

* Я был тогда титулярным советником: но Гоголь, по фигуре моей, вообразил, что я непременно должен быть статским советником.

** Незадолго до своей смерти он передал эту роль г-ну Шумскому [29] и сам его ставил. Я тогда уже не ездил в театр, но все зрители восхищались Шумским, и сам Гоголь видел его из нашей ложи в продолжение двух действий и остался им доволен.

единственной причиной всех болезненных явлений его духа, вследствие которых он задавал себе неразрешимые вопросы, на которые великий талант его, изнеможенный борьбою с направлением отшельника, не мог дать сколько-нибудь удовлетворительных ответов.

В начале 1838 года распространились по Москве слухи, что Гоголь отчаянно болен в Италии и даже посажен за долги в тюрьму. Разумеется, последнее было совершенная ложь. Во всей Москве переписывался с ним один Погодин; он получил, наконец, письмо от Гоголя, уведомлявшее об его болезни и трудных денежных обстоятельствах. Это письмо было написано из Неаполя от 20 августа [31]. Между прочим, Гоголь писал в нем: «Мне не хотелось пользоваться твоею добротою. Теперь я доведен до того. Если ты богат, пришли вексель на две тысячи. Я тебе через год, много через полтора, их возвращу». Мы решились ему помочь, но под большим секретом. Я, Погодин, Баратынский и Павлов [32] сложились по двести пятьдесят рублей, и тысячу рублей предложил сам, по сердцу весьма добрый человек, И. Е. Великопольский, которому я только намекнул о положении Гоголя и о нашем намерении. Секрет был вполне сохранен. Погодин должен был написать к Гоголю письмо следующего содержания: «Видя, что ты находишься в нужде, на чужой стороне, я, имея свободные деньги, посылаю тебе две тысячи рублей ассигнациями. Ты отдашь их мне тогда, когда разбогатеешь, что, без сомнения, будет». Деньги были отосланы немедленно. С этими деньгами случилась странная история. Я удостоверен, что они были получены Гоголем, потому что в одном своем письме Погодин очень неделикатно напоминает об них Гоголю, тогда как он дал честное слово нам, что Гоголь никогда не узнает о нашей складчине; но вот что непостижимо: когда финансовые дела Гоголя поправились, когда он напечатал свои сочинения в четырех томах, тогда он поручил все расплаты Шевыреву и дал ему собственноручный регистр, в котором даже все мелкие долги были записаны с точностью; об этих же двух тысячах не упомянуто; этот регистр и теперь находится у Шевырева.

В 1838 году, кажется 8 июня, уехал Константин за границу, намереваясь долго прожить в чужих краях (он не мог прожить долее пяти месяцев). Перед возвращением своим в Россию он написал к Гоголю в Рим самое горячее письмо, убеждая его воротиться в Москву (Гоголь жил в Риме уже более двух лет) и назначая ему место съезда в Кельне, где Константин будет ждать его, чтоб ехать в обратный путь вместе. Гоголь еще не думал возвращаться, да и письмо получил двумя месяцами позднее, потому что куда-то уезжал из Рима. Письмо это, вероятно, дышавшее горячей любовью, произвело, однако, глубокое впечатление на Гоголя, и хотя он не отвечал на

него, но по возвращении в Россию, через год, говорил о нем с искренним чувством.

В 1839 году Погодин ездил за границу, имея намерение привезти с собою Гоголя. Он ни слова не писал нам о свидании с Гоголем, и хотя мы сначала надеялись, что они воротятся в Москву вместе, но потом уже потеряли эту надежду. Мы жили лето на даче в Аксиньине, в десяти верстах от Москвы. 29 сентября вдруг получаю я следующую записку от Мих⟨аила⟩ Сем⟨еновича⟩ Щепкина:

«Почтеннейший Сергей Тимофеевич. Спешу уведомить вас, что М. П. Погодин приехал, и не один, ожидания наши исполнились: с ним приехал Н. В. Гоголь [33]. Последний просил никому не сказывать, что он здесь; он очень похорошел, хотя сомнение о здоровье у него беспрестанно проглядывает; я до того обрадовался его приезду, что совершенно обезумел, даже до того, что едва ли не сухо его встретил; вчера просидел целой вечер у них и, кажется, путного слова не сказал — такое волнение его приезд во мне произвел, что я нынешнюю ночь почти не спал; не утерпел, чтобы не известить вас о таком для нас сюрпризе, ибо: помните, мы совсем уже не ожидали его. Прощайте, сегодня, к несчастию, играю и потому не увижу его.

Ваш покорнейший слуга
Михайло Щепкин.

от 28 сентября 1839 года».

Я помещаю эту записку для того, чтоб показать, что значил приезд Гоголя в Москву для его почитателей. Мы все обрадовались чрезвычайно. Константин, прочитавши записку прежде всех, поднял от радости такой крик, что всех перепугал, а с Машенькой [34] сделалось даже дурно. Он уехал в Москву в тот же день, а я с семейством переехал 1 октября. Константин уже виделся с Гоголем, который остановился у Погодина в его собственном доме на Девичьем поле. Гоголь встретился с Константином весело и ласково; говорил о письме, которое, очевидно, было для него приятно, и объяснял, почему он не мог приехать в назначенное Константином место, то есть в Кельн. Причина состояла в том, что он уезжал на то время из Рима, а воротясь, целый месяц не получал писем из России, хотя часто осведомлялся на почте; наконец, он решился пересмотреть сам все лежащие там письма и между ними нашел несколько адресованных к нему; в том числе находилось и письмо Константина. Бестолковый по-

чтовый чиновник принимал Гоголя за кого-то другого и потому не отдавал до сих пор ему писем.

Разговаривая очень приятно, Константин сделал Гоголю вопрос самый естественный, но, конечно, слишком часто повторяемый всеми при встрече с писателем: «Что вы нам привезли, Ник⟨олай⟩ Вас⟨ильевич⟩?» — и Гоголь вдруг очень сухо и с неудовольствием отвечал: «Ничего». Подобные вопросы были всегда ему очень неприятны; он особенно любил содержать в секрете то, чем занимался, и терпеть не мог, если хотели его нарушить.

Не помню, виделся ли я с Гоголем в первый день моего переезда в Москву; но 2 октября он приехал к нам обедать вместе с Щепкиным, когда мы уже сидели за столом, совсем его не ожидая. С искренними, радостными восклицаниями встретили его все, и он сам казался воротившимся к близким и давнишним друзьям, а не просто к знакомым, которые виделись несколько раз и то на короткое время. Я был восхищен до глубины сердца и в то же время удивлен. Казалось, как бы могло пятилетнее отсутствие, без письменных сношений, так сблизить нас с Гоголем? По чувствам нашим мы, конечно, имели полное право на его дружбу, и, без сомнения, Погодин, знавший нас очень коротко, передал ему подробно обо всем, и Гоголь почувствовал, что мы точно его настоящие друзья.

Наружность Гоголя так переменилась, что его можно было не узнать: следов не было прежнего, гладко выбритого и обстриженного, кроме хохла, франтика в модном фраке! Прекрасные белокурые густые волосы лежали у него почти по плечам; красивые усы, эспаньолка довершали перемену; все черты лица получили совсем другое значение; особенно в глазах, когда он говорил, выражалась доброта, веселость и любовь ко всем; когда же он молчал или задумывался, то сейчас изображалось в них серьезное устремление к чему-то высокому. Сюртук вроде пальто заменил фрак, который Гоголь надевал только в совершенной крайности; самая фигура Гоголя в сюртуке сделалась благообразнее. Шутки Гоголя, которых передать нет никакой возможности, были так оригинальны и забавны, что неудержимый смех одолевал всех, кто его слушал, сам же он всегда шутил не улыбаясь.

С этого собственно времени началась наша тесная дружба, вдруг развившаяся между нами. Гоголь бывал у нас почти каждый день и очень часто обедал. Зная, как он не любит, чтоб говорили с ним об его сочинениях, мы никогда об них не поминали, хотя слух о «Мертвых душах» обежал уже всю Россию и возбудил общее внимание и любопытство. Не помню, кто-то писал из чужих краев, что, выслушав перед отъездом из Рима первую главу «Мертвых душ», он

хохотал до самого Парижа. Другие были не так деликатны, как мы, и приступали к Гоголю с вопросами, но получали самые неудовлетворительные и даже неприятные ответы.

Гоголь сказал нам, что ему надобно скоро ехать в Петербург чтоб взять сестер[35] своих из Патриотического института, где они воспитывались на казенном содержании. Мать Гоголя должна была весною приехать за дочерьми в Москву. Я сам вместе с Верой сбирался ехать в Петербург, чтоб отвезть моего Мишу[36] в Пажеский корпус, где он был давно кандидатом. Я сейчас предложил Гоголю ехать вместе, и он очень был тому рад.

Не зная хорошенько времени, когда должен был последовать выпуск воспитанниц из Патриотического института, Гоголь сначала торопился отъездом. Это видно из записки Погодина ко мне, в которой он пишет, что Гоголь просит меня справиться об этом выпуске; но торопиться было не к чему: выпуск последовал в декабре. Во всяком случае замедление отъезда происходило от нас. Я писал Гоголю 20 октября, что, «желая непременно ехать вместе с вами, любезнейший Николай Васильевич, я обращаюсь к вам с вопросом, можете ли вы отложить свой отъезд до вторника? Если не можете, мы едем в воскресенье поутру». На той же записке Гоголь отвечал:

«Коли вам это непремено хочется и нужно и я могу сделать вам этим удовольствие, то готов отложить отъезд свой до вторника охотно».

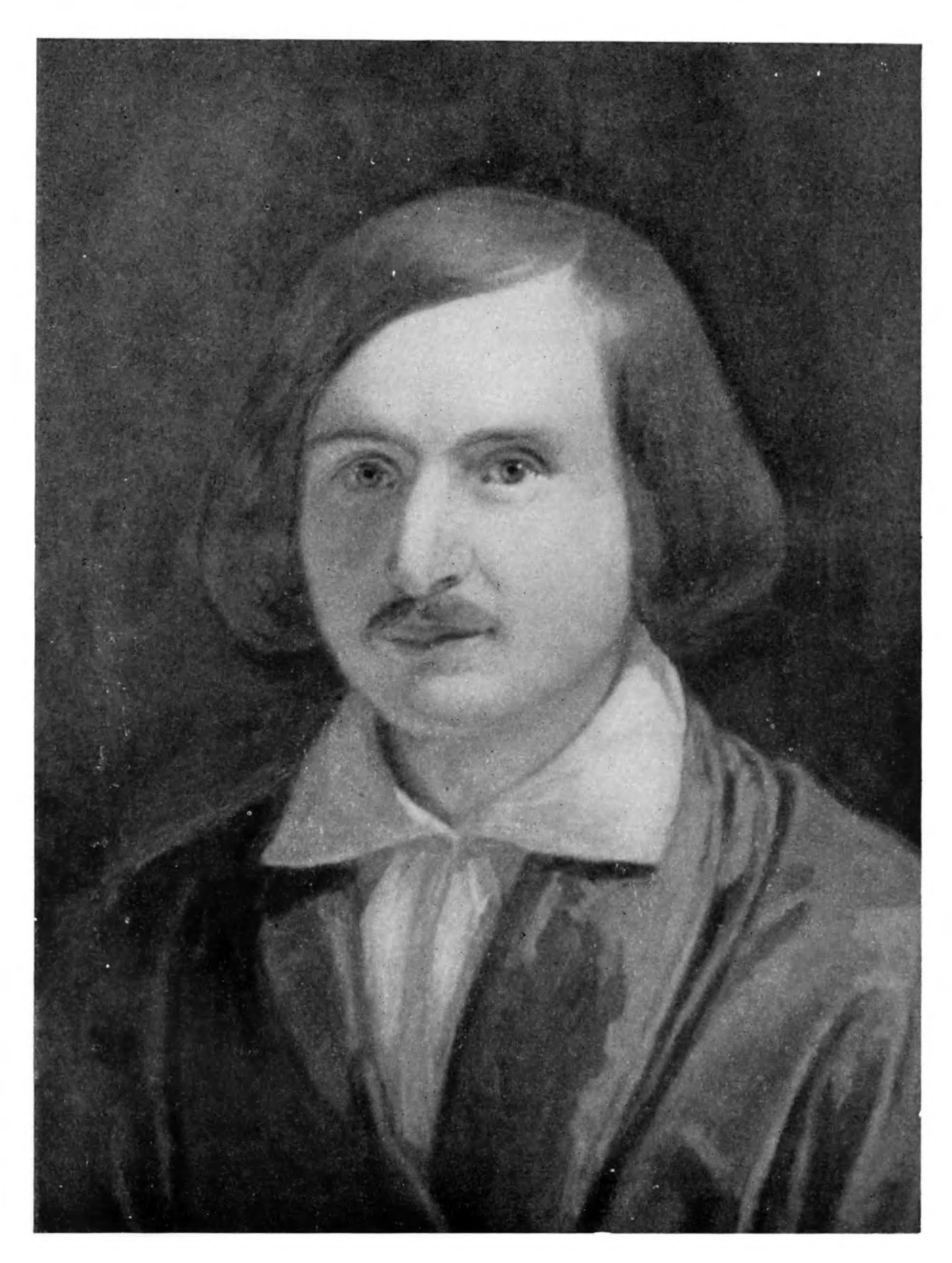
Но и во вторник отъезд был отложен, и мы выехали в четверг после обеда 26 октября (1839 г.). Я взял особый дилижанс, разделенный на два купе: в переднем сидел Миша и Гоголь, а в заднем — я с Верой. Оба купе сообщались двумя небольшими окнами, в которых деревянные рамки можно было поднимать и опускать: с нашей стороны в рамках были вставлены два зеркала. Это путешествие было для меня и для детей моих так приятно, так весело, что я и теперь вспоминаю о нем с удовольствием. Гоголь был так любезен, так постоянно шутлив, что мы помирали со смеху. Все эти шутки обыкновенно происходили на станциях или при разговорах с кондуктором и ямщиками. Самый обыкновенный вопрос или какое-нибудь требование Гоголь умел так сказать забавно, что мы сейчас начинали хохотать; иногда даже было нам совестно перед Гоголем, особенно когда мы бывали окружены толпою слушателей. В продолжение дороги, которая тянулась более четырех суток, Гоголь говорил иногда с увлечением о жизни в Италии, о живописи (которую очень любил и к которой имел решительный талант), об искусстве вообще, о комедии в особенности, о своем «Ревизоре», очень сожалея о том, что главная роль, Хлестакова, играется дурно в Петербурге и Москве, отчего пиеса теряла весь смысл

(хотя в Москве он не видал «Ревизора» на сцене[37]). Он предлагал мне, воротясь из Петербурга, разыграть «Ревизора» на домашнем театре; сам хотел взять роль Хлестакова, мне предлагал Городничего, Томашевскому (с которым я успел его познакомить), служившему цензором в почтамте, назначал роль почтмейстера[38], и так далее. Много высказывал Гоголь таких ясных и верных взглядов на искусство, таких тонких пониманий художества, что я был очарован им. Бóльшую же часть во время езды, закутавшись в шинель, подняв ее воротник выше головы, он читал какую-то книгу, которую прятал под себя или клал в мешок, который всегда выносил с собою на станциях. В этом огромном мешке находились принадлежности туалета: какое-то масло, которым он мазал свои волосы, усы и эспаньолку, несколько головных щеток, из которых одна была очень большая и кривая: ею Гоголь расчесывал свои длинные волосы. Тут же были ножницы, щипчики и щеточки для ногтей и, наконец, несколько книг. Сосед Гоголя, четырнадцатилетний наш Миша, живой и веселый, всегда показывал нам знаками, что делает Гоголь, читает или дремлет. Миша подсмотрел даже, какую книгу он читал: это был Шекспир на французском языке.

Гоголь чувствовал всегда, особенно в сидячем положении, необыкновенную зябкость; без сомнения, это было признаком болезненного состояния нерв, которые не пришли еще в свое нормальное положение после смерти Пушкина. Гоголь мог согревать ноги только ходьбою, и для того в дорогу он надел сверх сапогов длинные и толстые русские шерстяные чулки и сверх всего этого теплые медвежьи сапоги. Несмотря на то, он на каждой станции бегал по комнатам и даже улицам во все время, пока перекладывали лошадей, или просто ставил ноги в печку.

Гоголь был тогда еще немножко гастрономом; он взял на себя распоряжение нашим кофеем, чаем, завтраком и обедом. Ехали мы чрезвычайно медленно, потому что лошади, возившие дилижансы, едва таскали ноги, и Гоголь рассчитал, что на другой день, часов в пять пополудни, мы должны приехать в Торжок, следственно должны там обедать и полакомиться знаменитыми котлетами Пожарского, и ради таковых причин дал нам только позавтракать, обедать же не дал. Мы весело повиновались такому распоряжению. Вместо пяти часов вечера мы приехали в Торжок в три часа утра. Гоголь шутил так забавно над будущим нашим утренним обедом, что мы с громким смехом взошли на лестницу известной гостиницы, а Гоголь сейчас заказал нам дюжину котлет с тем, чтоб других блюд не спрашивать.

Через полчаса были готовы котлеты, и одна их наружность и запах возбудили сильный аппетит в проголодавшихся путешествен-



Н. Гоголь. Портрет работы Ф. А. Моллера начала 40-х годов XIX в. Масло.

Гос. Исторический музей.

никах. Котлеты были точно необыкновенно вкусны, но вдруг (кажется, первая Вера) мы все перестали жевать, а начали вытаскивать из своих ртов довольно длинные белокурые волосы. Картина была очень забавная, а шутки Гоголя придали столько комического этому приключению, что несколько минут мы только хохотали, как безумные. Успокоившись, принялись мы рассматривать свои котлеты, и что же оказалось? В каждой из них мы нашли по нескольку десятков таких же длинных белокурых волос! Как они туда попали, я и теперь не понимаю. Предположения Гоголя были одно другого смешнее. Между прочим, он говорил с своим неподражаемым малороссийским юмором, что, «верно, повар был пьян и не выспался, что его разбудили и что он с досады рвал на себе волосы, когда готовил котлеты; а может быть, он и не пьян и очень добрый человек, а был болен недавно лихорадкой, отчего у него лезли волосы, которые и падали на кушанье, когда он приготовлял его, потряхивая своими белокурыми кудрями». Мы послали для объяснения за половым, и Гоголь предупредил нас, какой ответ мы получим от полового: «Волосы-с? Какие же тут волосы-с? Откуда прийти волосам-с? Это так-с, ничего-с! Куриные перушки или пух, и проч. и проч.» В самую эту минуту вошел половой и на предложенный нами вопрос отвечал точно то же, что говорил Гоголь, многое даже теми же самыми словами. Хохот до того овладел нами, что половой и наш человек посмотрели на нас, выпуча глаза от удивления, и я боялся, чтобы Вере не сделалось дурно. Наконец, припадок смеха прошел. Вера попросила себе разогреть бульону, а мы трое, вытаскав предварительно все волосы, принялись мужественно за котлеты.

Так же весело продолжалась вся дорога. Не помню, где-то предлагали нам купить пряников. Гоголь, взявши один из них, начал с самым простодушным видом и серьезным голосом уверять продавца, что это не пряники, что он ошибся и захватил как-нибудь куски мыла вместо пряников, что и по белому их цвету это видно, да и пахнут они мылом, что пусть он сам отведает и что мыло стоит гораздо дороже, чем пряники. Продавец сначала очень серьезно и убедительно доказывал, что это точно пряники, а не мыло, и, наконец, рассердился. В моем рассказе ничего нет смешного, но, слушая Гоголя, не было возможности не смеяться.

Помню я также завтрак на станции в Померани, которая издавна славилась своим кофеем и вафлями и еще более была замечательна, тогда уже старым, своим слугою, двадцать лет ходившим, по-видимому, в одном и том же фраке, в одних и тех же чулках и башмаках с пряжками; это был лакей высшего разряда, с самой представительной наружностью и приличными манерами. Его знала вся Россия,

ездившая в Петербург. В какое бы время дня и ночи ни приехали порядочно одетые путешественники, особенно дамы, лакей-джентльмен являлся немедленно в полном своем костюме. Меня уверяли, что он всегда спал в нем, сидя на стуле. С этим-то интересным для Гоголя человеком умел он разговаривать так мастерски, впадая в его тон, что всегда хладнокровно-учтивый старик, оставляя вечно носимую маску, являлся другим лицом, так сказать с внутренними своими чертами. В этом разговоре было что-то умилительно-забавное и для меня даже трогательное.

30 октября [39] в восемь часов вечера приехали мы в Петербург. Не доезжая до Владимирской, где был дом Карташевских [40], Гоголь вышел из дилижанса, захватил свой мешок и простился с нами. Он не знал, где остановится: у Плетнева или у Жуковского [41]. Он обещал немедленно прислать за своими вещами и чемоданом и уведомить нас о своей квартире; хотел также скоро побывать и сам. Но обещания Гоголя в этом роде были весьма неверны; в тот же самый вечер, но так поздно, что все уже легли спать, Гоголь приезжал сам, взял свой мешок и еще кое-что и сказал человеку, что пришлет за остальными вещами; но где живет, не сказал.

На другой день я поехал его отыскивать, но не успел отыскать. По множеству моих разъездов я не успел побывать у Плетнева, а у Жуковского Гоголя не оказалось. Наконец, 3 ноября, я был у Гоголя. Он только что переехал к Жуковскому и обещал на другой день, то есть 4-го, приехать обедать к нам. Он очень мне обрадовался, но казался чем-то смущенным и уже не походил на прежнего, *дорожного* Гоголя. Он развеселился несколько, говоря, что возьмет своих сестер и опять вместе с нами поедет в Москву; хотел немедленно, как только можно будет переехать через Неву, повезти нас в Патриотический институт, чтоб познакомить с своими сестрами. Он не остался у нас обедать, потому что за ним прислал Жуковский. Я познакомил его с моими хозяевами. Гоголь всем не очень понравился, даже Машеньке; вообще должно сказать, что, кроме Машеньки, никто не понимал и не ценил Гоголя как писателя. Гр⟨игорий⟩ Ив⟨анович⟩ Карташевский даже и не читал его; но я надеялся, что он может и должен вполне оценить Гоголя, потому что в молодости, когда он был еще моим воспитателем, он страстно любил «Дон Кихота», обожал Шекспира и Гомера и первый развил в моей душе любовь к искусству. Ожидания мои не оправдались, что увидим впоследствии.

Пятого ноября, я еще не сходил сверху, потому что до половины второго просидел у меня Кавелин [42], только что успели прибежать ко мне Вера и Машенька, чтоб послушать «Арабески» Гоголя, кото-

рые я накануне купил для Машеньки, как вбежал сам Гоголь, до того замерзший, что даже жалко и смешно было смотреть на него (в то время стояла в Петербурге страшная стужа, по 23 градуса при сильном ветре); но потом, посогревшись, был очень весел и забавен с обеими девицами. Сидел очень долго и просидел бы еще дольше, но пришел Ив⟨ан⟩ Ив⟨анович⟩ Панаев [43]: это напомнило Гоголю, что ему пора идти. Несмотря на то, что Гоголь показался всем очень веселым, внутренно он был чрезвычайно расстроен.

5-го же ноября он был у меня опять и открыл мне свое затруднительное положение: он был обнадежен Жуковским, что сестры его получат вспоможение при выходе из института от щедрот государыни; но теперь никто не берется доложить ей о том, ибо по случаю нездоровья она не занимается делами и беспокоить ее докладами считают неприличным. Гоголь сказал, что насчет его уже начались сплетни и что он горит нетерпением поскорее отсюда уехать. Очень просил, чтоб я с Верой и с ним съездил к его сестрам, и поручил мне в каждом письме писать к моей жене и Константину по пяти поклонов. Я был взволнован его положением и предложил ему все, что тогда у меня было, разумеется безделицу; он сказал что-то весьма растроганным голосом и убежал. В тот же день я описал все подробно Ольге Сем⟨еновне⟩, заметив, что, вероятно, Гоголю надобно много денег, что все это, как я надеюсь, поправится, а в противном случае — я поправлю.

Во всем круге моих старых товарищей и друзей, во всем круге моих знакомых я не встретил ни одного человека, кому бы нравился Гоголь и кто бы ценил его вполне! Даже никого, кто бы всего его прочел! О, Петербург, о, пошло-деловой, всегда равно отвратительный Петербург! Вот, например, Влад⟨имир⟩ Ив⟨анович⟩ Панаев [44], тоже старый мой товарищ, литератор и член Российской академии, с которым, разумеется, я никогда о Гоголе не рассуждал, вдруг спрашивает меня при многих свидетелях: «А что Гоголь? Опять написал что-нибудь смешное и неестественное?» Не помню, что я отвечал ему; но, вероятно, присутствие других спасло его от такого ответа, от которого не поздоровилось бы ему.

В продолжение нескольких дней Гоголь еще надеялся на какие-то благоприятные обстоятельства; мы виделись с ним несколько раз, но на короткое время. Всякий раз уславливались, когда ехать к его сестрам, и всякий раз что-нибудь мешало.

Наконец, 13 ноября обедал у нас Гоголь. Гр⟨игорий⟩ Ив⟨анович⟩, который успел прочесть кое-что из него и всю ночь хохотал от «Вия»... увы, также не мог вполне понять художественное достоинство Гоголя; он почувствовал только один комизм его. Это не помешало ему быть

вполне любезным по-своему с своим земляком. Гоголь за обедом вдруг спросил меня потихоньку: «Откуда этот превосходный портрет?» — и указал на портрет Кирилловны, написанный Машенькой К⟨арташевской⟩. Я, разумеется, сейчас объяснил дело, и Машенька, которой по нездоровью не было за столом, также и Веры, была сердечно утешена отзывом Гоголя. После обеда он смотрел портрет Веры, начатый Машенькой, и портрет нашей Марихен [45], сделанный Верой, и чрезвычайно хвалил, особенно портрет Марихен, и в заключение сказал, что им нужно коротко познакомиться с Вандиком [46], чтоб усовершенствоваться; оба друга были в восхищении. Я объяснил ему, какое прекрасное существо Машенька К⟨арташевская⟩.

После обеда Гоголь долго говорил с Гр⟨игорием⟩ Ив⟨ановичем⟩ об искусстве вообще: о музыке, живописи, о театре и характере малороссийской поэзии; говорил удивительно хорошо! Все было так ново, свежо и истинно! И какой же вышел результат? Гр⟨игорий⟩ Ив⟨анович⟩, этот умный, высоконравственный, просвещенный и доступный пониманию некоторых сторон искусства человек, сказал нам с Верой: что малороссийский народ пустой, что и Гоголь сам точно такой же хохол, каких он представляет в своих повестях, что ему мало одного, что он хочет быть и музыкантом и живописцем, и начал бранить его за то, что он предался Италии. Это меня сердечно огорчило, и Вера печально сказала мне: «Что после этого и говорить, если Григорий Иванович не может понять, какое глубокое и великое значение имеет для Гоголя вообще искусство, в каких бы оно формах ни проявлялось!»

Тринадцатое ноября этого года осталось для меня незабвенным днем на всю мою жизнь. После обеда, часов в семь, мы ушли с Гоголем наверх, чтоб поговорить наедине. Когда я позвал Гоголя, обнял его одной рукою и повел таким образом наверх, то на лице его изобразилось такое волнение и смущение... Нет, оба эти слова не выражают того, что выражалось на его лице! Я почувствовал, что Гоголь, предвидя, о чем я буду говорить с ним, терзался внутренно, что ему это было больно, неприятно, унизительно. Мне вдруг сделалось так совестно, так стыдно, что я привожу в неприятное смущение, даже какую-то робость этого гениального человека,— и я на минуту поколебался: говорить ли мне с ним об его положении? Но, взойдя наверх, Гоголь преодолел себя и начал говорить сам.

Его обстоятельства были следующие: Жуковский уверил его через письмо еше в Москве, что императрица пожалует его сестрам при выходе из института по крайней мере по тысяче рублей (что, впрочем, я уже отчасти знал). С этой верной надеждой он приехал в Петербург, но она не сбылась по нездоровью государыни и неизвестно, ког-

да сбудется. К довершению всего Гоголь потерял свой бумажник с деньгами. да еще записками, для него очень важными. Об этом было публиковано в полицейской газете; но, разумеется, бумажник не нашелся именно потому, что в нем были деньги. Кроме того, что ему надобно было одеть сестер и довезти до Москвы, он должен заплатить за какие-то уроки... Что делать? К кому обратиться? Все кругом холодно, как лед, а денег ни гроша! У людей близких, то есть у Жуков⟨ского⟩ и Плетн⟨ева⟩, он почему-то денег просить не мог (вероятно, он им был должен). Просить у других, не имея на то никакого права, считал он унизительным, бесчестным и даже бесполезным.

Хотя я живо помню, но пересказать не умею, как вскипела моя душа. Прерывающимся от внутреннего чувства, но в то же время твердым голосом я сказал ему, что я могу без малейшего стеснения, совершенно свободно располагать двумя тысячами рублей; что ему будет грех, если он хотя на одну минуту усумнится, что не он будет должен мне, а я ему; что помочь ему в затруднительном положении я считаю самою счастливою минутой моей жизни; что я имею право на это счастье по моей дружбе к нему; имею право даже на то, чтобы он взял эту помощь без малейшего смущения и не только без неприятного чувства, но с удовольствием, которое чувствует человек, доставляя удовольствие другому человеку.— Видно, в словах моих и на лице моем выражалось столько чувства правды, что лицо Гоголя не только прояснилось, но сделалось лучезарным. Вместо ответа он благодарил бога за эту минуту, за встречу на земле со мной и моим семейством, протянул мне обе свои руки, крепко сжал мои и посмотрел на меня такими глазами, какими смотрел, за несколько месяцев до своей смерти, уезжая из нашего Абрамцева в Москву и прощаясь со мной ненадолго. Я верю, что в нем это было предчувствие вечной разлуки...

Гоголь не скрыл от меня, что знал наперед, как поступлю я; но что в то же время знал через Погодина и Шевырева о моем нередко затруднительном положении, знал, что я иногда сам нуждаюсь в деньгах, и что мысль быть причиною какого-нибудь лишения целого огромного семейства его терзала, и потому-то было так ему тяжело признаваться мне в своей бедности, в своей крайности; что, успокоив его на мой счет, я свалил камень, его давивший, что ему теперь легко и свободно.

Он с любовью и радостью начал говорить о том, что́ у него уже готово в мыслях и что́ он сделает по возвращении в Москву; что, кроме труда, завещанного ему Пушкиным [47], совершение которого он считает задачею своей жизни, то есть «Мертвые души», у него составлена в голове трагедия из истории Запорожья [48], в которой все гото-

во, до последней нитки, даже в одежде действующих лиц; что это его давнишнее, любимое дитя, что он считает, что эта пиеса будет лучшим его произведением и что ему будет с лишком достаточно двух месяцев, чтобы переписать ее на бумагу. Он говорил о моем семействе, которое вполне понимал и ценил; особенно о моем Константине, которого нетерпеливо желал перенести из отвлеченного мира мысли в мир искусства, куда, несмотря на философское направление, влекло его призвание. Сердца наши были переполнены чувством; я видел, что каждому из нас нужно было остаться наедине. Я обнял Гоголя, сказал ему, что мне необходимо надобно ехать, и просил, чтобы завтра, после обеда, он зашел ко мне или назначил мне час, когда я могу приехать к нему с деньгами, которые спрятаны у моей сестры; что никто, кроме Константина и моей жены, знать об этом не должен. Гоголь, спокойный и веселый, ушел от меня.

Я, конечно, был вполне счастлив; но денег у меня не было. Надобно было их достать, что не составляло трудности, и я сейчас написал записку — и попросил на две недели две тысячи рублей *— к известному богачу, очень замечательному человеку по своему уму и душевным свойствам, разумеется, весьма односторонним,— откупщику Бенардаки, с которым был хорошо знаком [49]. Он отвечал мне, что завтра поутру приедет сам для исполнения моего «приказания». Эта любезность была исполнена в точности. В тот же вечер я не вытерпел и нарушил обещание, добровольно данное Гоголю; я не мог скрыть моего восторженного состояния от Веры и друга ее Машеньки Карташевской, которую любил, как дочь: впрочем, они были единственным исключением. Обе мои девицы пришли в восхищение.

14 ноября Гоголь ко мне не приходил; 15-го я писал ему записку и звал за *нужным*. Гоголь не приходил. 16-го я поехал к нему сам, но не застал его дома. Зная от Бенардаки, который 14-го числа сам привез мне поутру две тысячи рублей, что именно 16-го Гоголь обещал у него обедать, я написал записку к Гоголю и велел человеку дожидаться его у Бенардаки; но Гоголь обманул и не приходил обедать. На меня напало беспокойство и сомнение, что Гоголь раздумал взять у меня деньги. Замечательно, что этот грек Бенардаки, очень умный, но без образования, был единственным человеком в Петербурге, который назвал Гоголя гениальным писателем и знакомство с ним ставил себе за большую честь!

В этот же день, 16 ноября, обедали у Карташевских два тайных советника: весьма известный и любимый прежде литератор Хмель-

* Для уплаты этих денег я написал в Москву к должнику своему Великопольскому, который сейчас выслал мне две тысячи семьсот рублей, то есть весь долг.

ницкий и другой, тоже литератор, мало известный, но не без дарования, Марков [50]. Несколько раз разговор обращался на Гоголя. Боже мой, что они говорили, как они понимали его — этому трудно поверить! Я тогда же написал об них в письме к моей жене, что это были калибаны в понимании искусства [51], и это совершенная правда. Зная свою горячность, резкость и неумеренность в своих выражениях, я молил только бога, чтоб он дал мне терпение и положил хранение устам моим. Я ходил по зале с В⟨ерой⟩ и М⟨ашенькой⟩, где, однако, были слышны все разговоры, и удивлялся вместе с ними крайнему тупоумию и невежеству высшей петербургской публики, как служебной, так и литературной. Брату Н⟨иколаю⟩ Т⟨имофеевичу⟩ [52] было даже совестно за старинного его приятеля Хмельницкого, а Г⟨ригорию⟩ И⟨вановичу⟩ — за Маркова. Наконец, терпение мое лопнуло; я подошел к ним и с убийственным выражением сказал: «Ваши превосходительства! Сядемте-ка лучше в карты!»

Только что мы кончили игру, в которую я с злобным удовольствием обыграл всех трех тайн⟨ых⟩ советников, как пришел ко мне Гоголь. Я выбежал к нему навстречу и увел его наверх. Слава богу, все исполнилось по моему желанию: Гоголь взял деньги и был спокоен, даже весел. Он не приходил ко мне потому, что переезжал от Плетнева к Жуковскому во дворец. Впрочем, я не вполне поверил его словам, потому что на его переезд достаточно было одного часа, и у меня осталось сомнение, что Гоголь колебался взять у меня деньги и, может быть, даже пробовал достать их у кого-нибудь другого. На другой день мы назначили ехать с ним в Патриотический институт.

Должно упомянуть, что в это время вышли из печати вторые «Три повести» Павлова, что, сравнивая их с прежними, многие нападали на них, а Гоголь постоянно защищал, доказывая, что они имеют свое неотъемлемое достоинство: наблюдательный ум сочинителя и прекрасный язык, и что они нисколько не хуже первых.

Наконец, 17-го ездили мы с Верой и с Гоголем к его сестрам. Гоголь был нежный брат; он боялся, что сестры его произведут на нас невыгодное впечатление; он во всю дорогу приготовлял нас, рассказывая об их неловкости и застенчивости и неумении говорить. Мы нашли их точно такими, как ожидали, то есть совершенными монастырками. Вера старалась обласкать их как можно больше; они были уверены, что в следующий четверг, 23 ноября, едут вместе с нами в Москву. Гоголь просил нас обмануть их, кажется, для того, чтобы заранее взять их из института, с которым они не хотели расстаться задолго до отъезда. Меньшая, Лиза, веселая и живая, была любимицей брата; может быть, и сам Гоголь этого не знал, но мы заметили. Из института мы завезли Гоголя на его квартиру у Жуковского, кото-

рый жил во дворце, потому что Гоголь, давши слово обедать с нами у Карташевских, сказал нам, что ему нужно чем-то дома распорядиться. Мы дожидались его с четверть часа и не вдруг заметили, что он бегал на квартиру для того, чтобы надеть фрак. Гоголь сказал нам что на другой день он перевозит сестер своих к княгине Репниной [53] (бывшей Балабиной), у которой они останутся до отъезда. Гоголю совестно было оставлять их там слишком долго, и потому Гоголь просил меня ускорить наш отъезд из Петербурга. Это приводило меня в большое затруднение, потому что судьба моего Миши не была устроена и отъезд мой мог быть отложен очень надолго; я не вдруг даже решился сказать об этом Гоголю, потому что такое известие было бы для него ударом. Ему казалось невозможным ехать одному с сестрами, которые семь лет не выезжали из института, ничего не знали и всего боялись. Впоследствии мы испытали на деле, что опасения Гоголя были справедливы.

Последующие дни Гоголь не так часто виделся с нами, потому что очень занимался своими сестрами; сам покупал все нужное для их костюма, нередко терял записки нужных покупок, которые они ему давали, и покупал совсем не то, что было нужно; а между тем у него была маленькая претензия, что он во всем знает толк и умеет купить хорошо и дешево. Когда же Гоголь сидел у меня, то любимый его разговор был о том, как он весною увезет с собою Константина в Италию и как благотворно подействует на него эта классическая страна искусства. Я предупредил его, что мы не можем скоро ехать и чтоб он нас не дожидался; Гоголь с тяжелым вздохом признался мне, что без нас никак не может ехать и потому будет ждать нашего отъезда, как бы он поздно ни последовал. Очень жаловался на юродство институтского воспитания и говорил, что его сестры не умеют даже ходить по-человечески; он хотел на днях привезти их к нам, чтоб познакомить с сестрой Надиной и ее дочерьми. Гоголь опять читал повести Павлова, опять многое хвалил и говорил, что они имеют свое неотъемлемое достоинство.

24 ноября Гоголь сидел у меня целое утро. Он сказал мне, между прочим, что здешние мерзости не так уже его оскорбляют, что он впадает в апатию и что ему скоро будет все равно, как бы о нем ни думали и как бы с ним ни поступали. Совестно было мне оставлять его долго в этом положении и отнимать у него время, которое, может быть, было бы творчески плодотворно в Москве. К тому же сестры его грустили по институту, и дальнейшее пребывание их у княгини Репниной было для него тягостно. Но что же было мне делать? Нельзя же было мне пожертвовать для этого существенно важными обстоятельствами для собственного моего семейства.

26 ноября давали «Ревизора»; у нас было два бельэтажа; но я никак не мог уговорить Гоголя ехать с нами. Он верно рассчитал, до чего должно было дойти его представление в течение четырех лет: «Ревизора» нельзя было видеть без отвращения, все актеры впали в отвратительную карикатуру. Сосницкий сначала был недурен [54]; много было естественности и правды в его игре; слышно было, что Гоголь сам два раза читал ему «Ревизора», он перенял кое-что и еще не забыл; но как скоро дошло до волнений духа, до *страсти,* говоря по-театральному,— Сосницкий сделался невыносимым ломакой, балаганным паясом.

На другой день поутру я поехал к Гоголю. Мне сказали, что его нет дома, и я зашел к его хозяину, к Жуковскому [55]. Я не был с ним коротко знаком, но по Кавелину и Гоголю он хорошо меня знал. Я засиделся у него часа два. Говорили о Гоголе. Я не могу умолчать, несмотря на все мое уважение к знаменитому писателю и еще большее уважение к его высоким нравственным достоинствам, что Жуковский не вполне ценил талант Гоголя. Я подозреваю в этом даже Пушкина [56], особенно потому, что Пушкин погиб, зная только наброски первых глав «Мертвых душ». Оба они восхищались талантом Гоголя в изображении пошлости человеческой, его неподражаемым искусством схватывать вовсе незаметные черты и придавать им такую выпуклость, такую жизнь, такое внутреннее значение, что каждый образ становился живым лицом, совершенно понятным и незабвенным для читателя, восхищались его юмором, комизмом — и только *. Серьезного значения, мне так кажется, они не придавали ему. Впрочем, должно предположить по письмам и отзывам Жуковского, что ⟨впоследствии⟩ он уже понимал Гоголя вполне. Жуковский также много говорил со мной о Милькееве [58], принимая теплое участие в его судьбе. Он читал мне многие его письма, которые несравненно лучше его стихов, имеющих также достоинство, хотя одностороннее. Письма Милькеева очень меня разогрели, и я разделял надежды Жуковского, не оправдавшиеся впоследствии. Наконец, я простился с ласковым хозяином и сказал, что зайду узнать, не воротился ли Гоголь, которого мне нужно видеть. «Гоголь никуда не уходил,— сказал Жуковский,— он дома и пишет. Но теперь пора уже ему гулять. Пойдемте». И он провел меня через внутренние комнаты к кабинету Гоголя, тихо отпер и отворил дверь — я едва не закричал от удивления: передо мной стоял Гоголь в следующем фантастическом костюме: вместо сапог длинные шерстяные русские чулки выше колен; вместо сюртука, сверх фланелевого камзола, бархатный

* Здесь в рукописи вставка: «Неприятно звучало у него имя Теньера рядом с Гоголем» [57].— *Ред.*

спензер; шея обмотана большим разноцветным шарфом, а на голове — бархатный малиновый, шитый золотом кокошник, весьма похожий на головной убор мордовок. Гоголь писал и был углублен в свое дело, и мы, очевидно, ему помешали; он долго, *не зря, смотрел* на нас, по выражению Жуковского, но костюмом своим нисколько не стеснялся. Жуковский сейчас ушел, и я, скрепя сердце, сказал Гоголю, что мы поедем из Петербурга после 6 декабря; он был очень огорчен, но отвечал, что делать нечего и что он покоряется своей участи. Я звал его гулять, но он возразил, что еще рано. Я, увидев, что ему надобно было что-то кончить, сейчас с ним простился.

29 ноября, перед обедом, Гоголь привозил к нам своих сестер; их разласкали донельзя, даже больная моя сестра встала с постели, чтоб принять их; но это были такие дикарки, каких и вообразить нельзя; они стали несравненно хуже, чем были в институте; в новых длинных платьях совершенно не умели себя держать, путались в них, беспрестанно спотыкались и падали, от чего приходили в такую конфузию, что ни на один вопрос ни слова не отвечали. Жалко было смотреть на бедного Гоголя.

Мы условились с ним послезавтра в одно время приехать в Эрмитаж: мы с Панаевым, который доставил нам вечный билет для входа, а Гоголь с сестрами и с Балабиной [59]. Гоголь предлагал Верочке и Машеньке осмотреть картины Жуковского, между которыми были очень замечательные, и также его чудесный альбом, стоивший, как говорили, тысяч сорок; разумеется, это надо было сделать в отсутствие хозяина, что мои девицы находили не совсем удобным. В Эрмитаже мы были 1 декабря с Панаевым до двух часов, а потом с каким-то чичероне вплоть до сумерек; уже в последних комнатах, перед самым выходом, встретили мы сестер Гоголя с старухой Балабиной [60] и ее дочерью; но сам Гоголь не приезжал. Сестры его сказали нам, что они сейчас от Жуковского; они, вероятно, осматривали картины и знаменитый альбом.

2 декабря был у нас Гоголь, и мы вновь опечалили его известием, что и после 6 декабря отъезд наш на несколько дней отлагается. 3 декабря я читал «Арабески» Григорию Ивановичу, Машеньке и Верочке. Я прочел «Жизнь», «Невский проспект», с некоторыми выпусками, и «Записки сумасшедшего». Григ⟨орий⟩ Ив⟨анович⟩ очень хвалил, а Машенька и Вера были в восхищении и тронуты до слез. До 6 декабря мы виделись с Гоголем один раз на короткое время. 6 декабря я ездил в Царское село, и надежда на помещение Миши в лицей разрушилась; я решился поместить его или в экстерны Пажеского корпуса, или в Юнкерскую школу. 7 декабря я написал к Гоголю обо всем случившемся со мной и также о том, что теперь

я сам не знаю, когда поеду, и чтоб он не ждал меня. Я получил ответ самый нежный и грустный *. Гоголь обвинял в моей неудаче свою несчастную судьбу, не хотел без меня ехать и жалел только о том, что я огорчен [62]. Жестокие морозы повергли его в уныние, и вдобавок он отморозил ухо. Он хотел приехать ко мне на другой день; но я намеревался предупредить его, потому что он очень легко одет. Гоголь не стал дожидаться следующего дня; он приехал ко мне в тот же день после обеда, сильно расстроенный моею неудачей, и утешал меня, сколько мог, даже вызвался разведать об учителях Юнкерской школы. Он так страдал от стужи, что у нас сердце переболело, глядя на него.

До 11 декабря мы не видали Гоголя; морозы сделались сноснее, и он, узнав от меня, что я не могу ничего положительного сказать о своем отъезде, решался через неделю уехать один с сестрами. 13-го Гоголь был у нас, и так как мы решились через несколько дней непременно ехать, то, разумеется, условились ехать вместе. Фед⟨ор⟩ Ив⟨анович⟩ Васьков также вызвался ехать с нами [63]. 15-го Гоголь вторично привозил своих сестер; они стали гораздо развязнее, много говорили и были очень забавны. Они нетерпеливо желали уехать поскорее в Москву. Много раз уже назначался день нашего отъезда и много раз отменялся по самым неожиданным причинам, и Гоголь полагал, что именно ему что-то постороннее мешает выехать из Петербурга.

Наконец, дня через два (настоящего числа не знаю) выехали мы из Петербурга. Я взял два особых дилижанса: один четвероместный, называющийся фамильным, в котором села Вера, две сестры Гоголя и я; другой двуместный, в котором сидели Гоголь и Фед⟨ор⟩ Ив⟨анович⟩ Васьков. Впрочем, в продолжение дня Гоголь станции на две садился к сестрам, а я — на его место к Васькову.

Несмотря на то, что Гоголь нетерпеливо желал уехать из Петербурга, возвратный наш путь совсем не был так весел, как путь из Москвы в Петербург. Во-первых, потому, что Васьков, хотя был самое милое и доброе существо, был мало знаком с Гоголем, и, во-вторых, потому, что последнего сильно озабочивали и смущали сестры. Уродливость физического и нравственного институтского воспитания высказывалась тут выпукло и ярко. Ничего не зная и не понимая, они всего боялись, от всего кричали и плакали, особенно по ночам. Принужденность положения в дороге, шубы, платки и теплая обувь наводили на них тоску, так что им делалось и тошно и дурно.

* Он потерян [61], но слова гоголевой записки сохранились в письме моем к жене, писанном в тот же день.

К тому же, как совершенные дети, беспрестанно ссорились между собою. Все это приводило Гоголя в отчаяние и за настоящее и за будущее их положение; надобно сказать правду, что бедной Верочке много было хлопот и забот, и я удивлялся ее терпению. Я не знаю, что стал бы с ними делать Гоголь без нее: они бы свели его с ума. Жалко и смешно было смотреть на Гоголя; он ничего не разумел в этом деле, и все его приемы и наставления были некстати, не у места, не вовремя и совершенно бесполезны, и гениальный поэт был в этом случае нелепее всякого пошлого человека. Один Васьков смешил меня всю дорогу своими жалобами. Мы пленили его описанием веселого нашего путешествия с Гоголем в Петербург; он ожидал того же на возвратном пути; но вышло совсем напротив. Когда Гоголь садился вместе с Васьковым, то сейчас притворялся спящим и в четверо суток не сказал ни одного слова; а Васьков, любивший спать днем, любил поговорить вечером и ночью.

Он заговаривал с своим соседом, но мнимоспящий Гоголь не отвечал ни слова. Всякое утро Васьков прекомически благодарил меня за приятного соседа, которого он досыта наслушался и нахохотался. На станциях, во время обедов и завтраков, чая и кофе, не слыхали мы ни одной шутки от Гоголя. Он и Вера постоянно были заняты около капризных *патриоток*, на которых угодить не было никакой возможности, которым все не нравилось, потому что не было похоже на их институт, и которые буквально почти ничего не ели, потому что кушанья были не так приготовлены, как у них в институте. Можно себе представить, что точно такая же история была в Петербурге у к⟨нягини⟩ Репниной! Каково было смотреть на все это бедному Гоголю? Он просто был мученик. Наконец, на пятые сутки притащились мы в Москву. Натурально, сначала все приехали к нам. Гоголь познакомил своих сестер с моей женой и с моим семейством и перевез их к Погодину, у которого и сам поместился. Они занимали мезонин: на одной стороне жил Гоголь, а на другой его сестры.

Тут начались наши почти ежедневные свидания. 2 января Ол⟨ьга⟩ Сем⟨еновна⟩ с Верой уехала в Курск. Третьего числа, часа за два до обеда, вдруг прибегает к нам Гоголь (меня не было дома), вытаскивает из карманов макароны, сыр пармезан и даже сливочное масло и просит, чтоб призвали повара и растолковали ему, как сварить макароны. В обыкновенное время обеда Гоголь приехал к нам с Щепкиным, но меня опять не было дома: я поехал выручать свою шубу, которою обменялся с кем-то в Опекунском совете. По необыкновенному счастью, я нашел свою прекрасную шубу, висящую на той же вешалке; хозяин дрянной шубы, которую я надел вместо своей, видно,

еще не кончил своих дел и оставался почти уже в опустевшей зале Опекунского совета. Чрезвычайно обрадованный, я возвратился весел домой, где Гоголь и Щепкин уже давно меня ожидали. Гоголь встретил меня следующими словами: «Вы теперь сироты, и я привез макарон, сыру и масла, чтоб вас утешить. Я же слышал, что вы такой славный мех подцепили, что в нем есть не только звери, но и птицы и черт знает что такое». Когда подали макароны, которые, по приказанию Гоголя, не были доварены, он сам принялся стряпать; стоя на ногах перед миской, он засучил обшлага и с торопливостью, и в то же время с аккуратностью, он положил сначала множество масла и двумя соусными ложками принялся мешать макароны, потом положил соли, потом перцу и, наконец, сыр и продолжал долго мешать. Нельзя было без смеха и удивления смотреть на Гоголя; он так от всей души занимался этим делом, как будто оно было его любимое ремесло, и я подумал, что если б судьба не сделала Гоголя великим поэтом, то он был бы непременно артистом-поваром. Как скоро оказался признак, что макароны готовы, то есть когда распустившийся сыр начал тянуться нитками, Гоголь с великою торопливостью заставил нас положить себе на тарелки макарон и кушать. Макароны точно были очень вкусны, но многим показались не доварены и слишком посыпаны перцем; но Гоголь находил их очень удачными, ел много и не чувствовал потом никакой тягости, на которую некоторые потом жаловались. В этот день бедный Константин должен был встать изза стола и, не дообедавши, уехать, потому что он дал слово обедать у Горчаковых, да забыл. Особенно было это ему тяжело, потому что мы не переставали надеяться, что Гоголь что-нибудь нам прочтет; но это случилось еще не скоро. Во все время пребывания Гоголя в Москве макароны появлялись у нас довольно часто.

На другой день получил я письмо от Ив⟨ана⟩ Ив⟨ановича⟩ Панаева, в котором он от имени Одоевского, Плетнева, Враского, Краевского[64] и от себя умолял, чтоб Гоголь не продавал своих прежних сочинений Смирдину[65] за пять тысяч (и новой комедии в том числе), особенно потому, что *новая комедия* будет напечатана в «Сыне отечества» или «Библиотеке для чтения»; а Враский предлагает шесть тысяч с правом напечатать новую комедию в «Отечеств⟨енных⟩ записках». Я очень хорошо понял благородную причину, которая заставляла Гоголя торопиться продажею своих сочинений, для чего он поручил все это дело Жуковскому; но о новой комедии мы не слыхали. Я немедленно поехал к Гоголю, и, разумеется, ни той, ни другой продажи не состоялось. Под *новой комедией*, вероятно, разумелись разные отрывки из недописанной Гоголем комедии, которую он хотел назвать «Владимир третьей степени». Я не могу утвердительно

сказать, почему Гоголь не дописал этой комедии [66]; может быть, он признал ее в полном составе неудобною в цензурном отношении, а может быть, был недоволен ею как взыскательный художник.

Через несколько дней, а именно в субботу, обедал у нас Гоголь с другими гостями; в том числе был Самарин и Григорий Толстой [67], давнишний мой знакомый и товарищ по театру, который жил в Симбирске и приехал в Москву на короткое время и которому очень хотелось увидать и познакомиться с Гоголем. Гоголь приехал к обеду несколькими минутами ранее обыкновенного и сказал, что он пригласил ко мне обедать незнакомого мне гостя, гр⟨афа⟩ Вл⟨адимира⟩ Соллогуба [68]. Если б это сделал кто-нибудь другой из моих приятелей, то я бы был этим недоволен, но все приятное для Гоголя было и для меня приятно. Дело состояло в том, что Соллогуб был в Москве проездом, давно не видался с Гоголем, в этот же вечер уезжал в Петерб⟨ург⟩ и желал пробыть с ним несколько времени вместе. Гоголь, не понимавший неприличия этого поступка и не знавший, может быть, что Соллогуб как человек мне не нравился, пригласил его отобедать у нас. Через несколько минут вошел Толстой и сказал, что Соллогуб стоит в лакейской и что ему совестно войти. Я вышел к нему и принял его ласково и нецеремонно. Гоголь опять делал макароны и был очень весел и забавен. Соллогуб держал себя очень скромно, ел за троих и не позволял себе никаких выходок, которые могли бы назваться неучтивостью по нашим понятиям и которыми он очень известен в так называемом большом кругу. С этого дня Гоголь уже обыкновенно по субботам приготовлял макароны. Он приходил к нам почти всякий день и обедал раза три в неделю, но всегда являлся неожиданно.

В это время мы узнали, что Гоголь очень много работал, но сам он ничего о том не говорил. Он приходил к нам отдыхать от своих творческих трудов, поговорить вздор, пошутить, поиграть на бильярде, на котором, разумеется, играть совершенно не умел; но Константину удавалось иногда затягивать его в серьезные разговоры об искусстве вообще. Я мало помню таких разговоров, но заключаю о них по письмам Константина, которые он писал около 20 января к Вере в Курск и к Мише в Петербург. Вот что он говорит в одном своем письме: «Чем более я смотрю на него, тем более удивляюсь и чувствую всю важность этого человека и всю мелкость людей, его не понимающих. Что это за художник! Как полезно с ним проводить время! Как уясняет он взгляд в мир искусства! Недавно я написал письмо об этом к Мише, серьезное и важное, которое вылилось у меня из души». В это время приехал Панов [69] из деревни; он вполне понимал и ценил Гоголя; разумеется, мы сейчас их познакомили, и Панов

привязался всею своею любящею душою к великому художнику. Он скоро доказал свою привязанность убедительным образом.

Так шло время до возвращения О⟨льги⟩ С⟨еменовны⟩ с Верой и с Сонечкой Самб⟨урской⟩ [70] из Обояни. Они воротились, кажется, 2-го — 3 февраля, вероятно, в субботу, потому что у нас обедал Гоголь и много гостей. Достоверно, что во время их отсутствия, продолжавшегося ровно месяц, Гоголь нам ничего не читал; но когда начал он читать нам «Мерт⟨вые⟩ души», то есть которого именно числа, письменных доказательств нет. Легко может быть, что он читал один или два раза по возвращении нашем из Петербурга, от 23 декабря до 2 января [71], потому что в письмах Веры к Маш⟨еньке⟩ К⟨арташевской⟩ есть известие, от 14 февр⟨аля⟩, что мы слушали уже итальянскую его повесть («Анунциату») и что 6 марта Гоголь прочел нам уже четвертую главу «М⟨ертвых⟩ д⟨уш⟩».

Восьмого марта, при многих гостях, совершенно неожиданно для нас, объявил Гоголь, что хочет читать. Разумеется, все пришли в восхищение от такого известия, и все соединились в гостиной. Гоголь сел за боковой круглый стол, вынул какую-то тетрадку, вдруг икнул и, опустив бумагу, сказал, *как он объелся грибков*. Это было начало комической сцены [72], которую он нам и прочел. Он начал чтение до такой степени натурально, что ни один из присутствующих не догадался, что слышит сочинение. Впрочем, не только начало, но и вся сцена была точно так же читана естественно и превосходно. После этого, в одну из суббот, он прочел пятую главу, а 13 * апреля, тоже в субботу, он прочел нам, перед самой заутреней светлого воскресенья, в маленьком моем кабинете, шестую главу, в которой создание Плюшкина привело меня и всех нас в великий восторг [73]. При этом чтении был Армфельд [74], приехавший просто поиграть со мной в пикет до заутрени, и Панов, который приехал в то время, когда уже Гоголь читал, и, чтоб не помешать этому чтению, он сидел у двери другого моего кабинетца. Панов пришел в упоение и тут же решился пожертвовать всеми своими расчетами и ехать вместе с Гоголем в Италию. Я уже говорил о том, как нужен был товарищ Гоголю и что он напрасно искал его. После чтения мы все отправились в Кремль, чтоб услышать на площади первый удар колокола Ивана Великого. Похристосовавшись после заутрени с Гоголем, Панов сказал ему, что едет с ним в Италию, чему Гоголь чрезвычайно обрадовался.

Перед святой неделей приехала мать Гоголя с его меньшой сестрой [75]. Взглянув на Марью Ивановну,— так зовут мать Гоголя,— и поговоря с ней несколько минут от души, можно было понять, что у такой женщины мог родиться такой сын. Это было доброе, неж-

* В рукописи ошибочно: «17».— *Ред.*

ное, любящее существо, полное эстетического чувства, с легким оттенком самого кроткого юмора. Он была так моложава, так хороша собой, что ее решительно можно было назвать только старшею сестрою Гоголя. Натурально, М⟨ария⟩ И⟨вановна⟩ жила вместе с своими дочерьми также у Погодина.

В это пребывание свое в Москве Гоголь играл иногда в домино с Конст⟨антином⟩ и Верой, и она проиграла ему дорожный мешок (sac de voyage). Гоголь взял обещание с Веры, что она напишет ему масляными красками мой портрет, на что Вера согласилась с тем, чтобы он прислал нам свой, и он обещал.

Я не говорил о том, какое впечатление произвело на меня, на все мое семейство, а равно и на весь почти наш круг знакомых, когда мы услышали первое чтение первой главы «Мертвых душ». Это был восторг упоения, полное счастье, которому завидовали все, кому не удалось быть у нас во время чтения, потому что Гоголь не вдруг стал читать у других своих знакомых.

Приблизился день именин Гоголя, 9 мая, и он захотел угостить обедом всех своих приятелей и знакомых в саду у Погодина. Можно себе представить, как было мне досадно, что я не мог участвовать в этом обеде: у меня сделался жестокий флюс от зубной боли, с сильной опухолью. Несмотря на то, я приехал в карете, закутав совершенно свою голову, чтобы обнять и поздравить Гоголя; но обедать на открытом воздухе, в довольно прохладную погоду, не было никакой возможности. Разумеется, Константин там обедал и упросил именинника позвать Самарина, с которым Гоголь был знаком еще мало. На этом обеде, кроме круга близких приятелей и знакомых, были [76]: А. И. Тургенев, князь П. А. Вяземский, Лермонтов, М. Ф. Орлов, М. А. Дмитриев, Загоскин, профессора Армфельд и Редкин и многие другие. Обед был веселый и шумный, но Гоголь хотя был также весел, но как-то озабочен, что, впрочем, всегда с ним бывало в подобных случаях. После обеда все разбрелись по саду маленькими кружками. Лермонтов читал наизусть Гоголю и другим, кто тут случились, отрывок из новой своей поэмы «Мцыри» [77], и читал, говорят, прекрасно. Константин не слыхал чтения, потому что в это время находился в другом конце обширного сада с кем-то из своих приятелей. Потом все собрались в беседку, где Гоголь собственноручно, с особенным старанием, приготовлял жженку. Он любил брать на себя приготовление этого напитка, причем говаривал много очень забавных шуток. Вечером приехали к имениннику пить чай, уже в доме, несколько дам: А. П. Елагина, К. А. Свербеева, К. М. Хомякова и Черткова. На вечер многие из гостей отправились к Павловым, куда Константин, будучи за что-то сердит на Павлова, не поехал.

Последнюю неделю своего пребывания в Москве Гоголь был у нас всякий день и пять раз обедал, по большей части с своей матерью и сестрами. Отъезд его с Пановым был назначен 17 мая [78]. Гоголь с сестрой своей Лизой был с моими детьми в театре — играла m-me Allan [79], приехавшая из Петербурга; после спектакля он хотел ехать; но, за большим разгоном, лошадей не достали, и Гоголь с сестрою ночевали у нас. На другой день, 18 числа, после завтрака, в 12 часов, Гоголь, простившись очень дружески и нежно с нами и с сестрой, которая очень плакала, сел с Пановым в тарантас, я с Констант⟨ином⟩ и Щепкин с сыном Дмитрием поместились в коляске, а Погодин с зятем своим Мессингом [80] — на дрожках, и выехали из Москвы. В таком порядке ехали мы с Поклонной горы по Смоленской дороге, потому что путешественники наши отправлялись через Варшаву. На Поклонной горе мы вышли все из экипажей, полюбовались на Москву, Гоголь и Панов, уезжая на чужбину, простились с ней и низко поклонились. Я, Гоголь, Погодин и Щепкин сели в коляску, а молодежь поместилась в тарантасе и на дрожках. Так доехали мы до Перхушкова, то есть до первой станции. Дорогой был Гоголь весел и разговорчив. Он повторил свое обещание, сделанное им у меня в доме за завтраком и еще накануне за обедом, что через год воротится в Москву и привезет первый том «Мертвых душ», совершенно готовый для печати. Это обещание он сдержал, но тогда мы ему не совсем верили. Нам очень не нравился его отъезд в чужие края, в Италию, которую, как нам казалось, он любил слишком много. Нам казалось непонятным уверение Гоголя, что ему надобно удалиться в Рим, чтоб писать об России; нам казалось, что Гоголь не довольно любит Россию, что итальянское небо, свободная жизнь посреди художников всякого рода, роскошь климата, поэтические развалины славного прошедшего,— все это вместе бросало невыгодную тень на природу нашу и нашу жизнь. В Перхушкове мы обедали, выпили здоровье отъезжающих; Гоголь сделал жженку, не потому, чтоб мы любили выпить, а так, ради воспоминания подобных оказий. Вскоре после обеда мы сели, по русскому обычаю, потом помолились. Гоголь прощался с нами нежно, особенно со мной и Константином, был очень растроган, но не хотел этого показать. Он сел в тарантас с нашим добрым Пановым, и мы стояли на улице до тех пор, пока экипаж не пропал из глаз. Погодин был искренно расстроен, а Щепкин заливался слезами. Я, Щепкин, Погодин и Константин сели в коляску, а Митя Щепкин и Мессинг на дрожки.

На половине дороги, вдруг откуда ни взялись, потянулись с северо-востока черные, страшные тучи и очень быстро и густо заволокли половину неба и весь край западного горизонта; сделалось

очень темно, и какое-то зловещее чувство налегло на нас. Мы грустно разговаривали, применяя к будущей судьбе Гоголя мрачные тучи, потемнившие солнце; но не более как через полчаса мы были поражены внезапною переменою горизонта: сильный северо-западный ветер рвал на клочки и разгонял черные тучи; в четверть часа небо совершенно прояснилось, солнце явилось во всем блеске своих лучей и великолепно склонялось к западу. Радостное чувство наполнило наши сердца. Нетрудно было составить благоприятное толкование небесного знаменья! Каких блистательных надежд, каких великих созданий и какого полного торжества его славы мы не могли ожидать в будущем! Это явление произвело на нас с Константином, особенно на меня, такое сильное впечатление, что я во всю остальную жизнь Гоголя никогда не смущался черными тучами, которые не только затемняли его путь, но даже грозили пресечь его существование, не дав ему кончить великого труда. До самого последнего страшного известия я был убежден, что Гоголь не может умереть, не совершив дела, свыше ему предназначенного.

Обращаюсь назад. По возвращении из Петербурга, прожив несколько времени вместе с матерью и сестрами в доме Погодина, Гоголь уверил себя, что его сестры, *патриотки* (как их называют), которые по-ребячьи были очень несогласны между собой, не могут ехать вместе с матерью в деревню, потому что они будут постоянно огорчать мать своими ссорами; итак, он решился пристроить как-нибудь в Москве меньшую сестру Лизу, которая была умнее, живее и более расположена к жизни в обществе. Приведение в исполнение этой мысли стоило много хлопот и огорчений Гоголю. Черткова, с которой он был очень дружен, не взяла его сестры к себе, хотя очень могла это сделать; у других знакомых поместить было невозможно. Наконец, через Надежду Николаевну Шереметеву, почтенную и благодетельную старушку, которая впоследствии любила Гоголя, как сына, поместил он сестру свою Лизу к г-же Раевской [81], женщине благочестивой, богатой, не имевшей своих детей, у которой жили и воспитывались какие-то родственницы. Мать Гоголя уехала из Москвы прежде него.

Гоголь читал первые главы «Мертвых душ» у Ив⟨ана⟩ Вас⟨ильевича⟩ Киреевского [82] и еще у кого-то: все слушатели приходили в совершенный восторг. Но были люди, которые возненавидели Гоголя с самого появления «Ревизора». «Мертвые души» только усилили эту ненависть. Так, например, я сам слышал, как известный граф Толстой-Американец говорил при многолюдном собрании в доме Перфильевых, которые были горячими поклонниками Гоголя, что он «враг России и что его следует в кандалах отправить в Сибирь» [83].



С. Т. Аксаков. Акварель неизвестного художника 30-х годов XIX в.
Музей «Абрамцево» АН СССР.

В Петербурге было гораздо более таких особ, которые разделяли мнение графа Толстого.

Во второй половине июня получил я первое письмо от Гоголя из Варшавы. Вот оно:

«Варшава, 10 июня.

Здравствуйте, мой добрый и близкий сердцу моему друг, Сергей Тимофеевич. Грешно бы было, если бы я не отозвался к вам с дороги. Но что я за вздор несу: грешно. Я бы не посмотрел на то, грешно или нет, прилично ли или неприлично, и, верно, бы не написал вам ни слова, особливо теперь, если бы здесь не действовало побуждение душевное. Обнимаю вас и целую несколько раз. Мне не кажется, что я с вами расстался. Я вас вижу возле себя ежеминутно и даже так как будто бы вы только что сказали мне несколько слов и мне следует на них отвечать. У меня не существует разлуки, и вот почему я легче расстаюсь, чем другой. И никто из моих друзей по этой же причине не может умереть, потому что он вечно живет со мною. Мы доехали до Варшавы благополучно — вот покамест все, что вас может интересовать. Нигде, ни на одной станции, не было никакой задержки, словом, лучше доехать невозможно. Даже погода была хороша: у места дождь, у места солнце. Здесь я нашел кое-каких знакомых, через два дни мы выезжаем в Краков и оттуда, коли успеем, того же дни в Вену. Целую и обнимаю несколько раз Константина Сергеевича и снабжаю следующими довольно скучными поручениями: привезти с собою кое-какие для меня книжки, а именно миниатюрное издание «Онегина», «Горя от ума» и басней Дмитриева [84], и если только вышло компактное издание «Русских песней» Сахарова [85], то привезти и его. Еще: если вы достали и если вам случится достать для меня каких-нибудь докладных записок и дел, то привезти и их также. Михаил Семенович, которого также при сей верной оказии целую и обнимаю, обещался, с своей стороны, достать. Хорошо бы присообщить и их также. Уведомите меня, когда едете в деревню. Корь, я полагаю, у вас уже совершенно окончилась. Перецелуйте за меня все милое семейство ваше, а Ольге Семеновне вместе с самою искреннейшею благодарностью передайте очень приятное известие, именно, что запасов, данных нам, стало не только на всю дорогу, но даже и на станционных смотрителей, и даже в Варшаве мы наделили прислуживавших нам плутов остатками пирогов, балыков, лепешек и прочего.

Прощайте, мой бесценный друг. Обнимаю вас множество раз».

Поручения Константину привезть с собою кнгии и деловые бумаги показывают, что Гоголь вполне был уверен в скором приезде Константина в Италию. У нас точно было это намерение, хотя не так твердое и непреложное, как это казалось Гоголю *. Впрочем, если б оно и было точно таково, то, конечно, не могло бы исполниться, потому что в 1840 году, 12 августа, умер муж у сестры Над⟨ежды⟩ Тим⟨офеевны⟩, и мы с Верой прожили четыре месяца в Петербурге, а в 1841 году, 5 марта, мы потеряли Мишу. Потому разлучаться было не время. Деловые бумаги и разные акты, которых Гоголь добивался постоянно, вероятно, были ему нужны для того, чтоб поверить написанные им в «Мерт⟨вых⟩ душ⟨ах⟩» разные судебные сделки Чичикова, которые так и остались неверными с действительностью.

Вскоре по получении этого первого письма я уехал с Гришей за Волгу в свои деревни [86], и об этом-то отъезде спрашивает меня Гоголь. Вот мое письмо к Гоголю.

«Да, мой милый, мой бесценный друг, Н⟨иколай⟩ В⟨асильевич⟩! Между друзьями нет разлуки! Вы так прекрасно высказали мне мои собственные чувства! Письмо ваше из Варшавы от 10 июня нов. ст. обрадовало все наше семейство. Меня не было дома, и не я его получил; зато слова: *письмо от Гоголя* радостно и шумно встретили меня, когда я воротился. Не нужно говорить, как драгоценно мне это *душевное побуждение*, которое заставило вас написать его... По непонятной для меня самого какой-то недогадке я не спросил вас: куда писать к вам? Мне так это досадно! Мне так хотелось писать, так было необходимо высказать вам все, что теснилось в душе... но от глупой мысли, что письмо мое нигде не может вас поймать и пролежит где-нибудь известное время, воротится опять в Москву, опускались у меня руки... Теперь я столько пропустил времени, что, вероятно, это в самом деле случится... но нужды нет. Если письмо не застанет вас в Вене, то, может быть, если вы оставили свой адрес, настигнет вас на водах или где-нибудь в Германии.

Я и все семейство мое здоровы. Корь миновалась благополучно. Все обнимаем вас, а Константин особенно и так крепко, что только заочно могут быть безвредны такие объятия. Все ваши поручения он выполнит с радостию. Он все еще готовится писать диссертацию. Лиза ваша здорова, начинает привыкать к новому своему житью-бытью и хорошо улаживается. Мы видимся нередко. Она гостит у нас другой день: вчера было воскресенье, а сегодня Раевской нет дома. Лиза сама пишет. Погодин, верно, написал вам, что у него

* Но в доказательство, что оно было, прилагаю ответ мой на это первое письмо Гоголя.

родился сын в день рождения Петра Великого и назван Петром и что я крестил его с Лизаветой Григорьевной: это мне было очень приятно, потому что она ваша добрая приятельница. Едва ли я поеду в свои деревни за Волгу... Кажется, мы проведем лето в Москве: к этому есть много побудительных причин и не весьма приятных. Не такой год, чтоб расставаться.

Я прочел Лермонтова «Герой нашего времени» в связи и нахожу в нем большое достоинство. Живо помню слова ваши, что Лермонтов-прозаик будет выше Лермонтова-стихотворца. Письмо мое написано очень беспорядочно,.. нужды нет, не хочу пропустить почты. Михаил Семеныч очень было прихворнул, но теперь выезжает и поправляется. Пожалейте: он на строжайшей диэте... Он обнимает вас и обещает достать много *записок из дел,* к которым я присоединю свои: все это привезет вам Константин, если не встретится оказии прежде».

Из этого письма очевидно, что мы действительно имели твердое намерение послать Константина в Италию к Гоголю. Оно, вероятно, писано вскоре по получении письма Гоголя от числа 1841 года *.

Почти через месяц получил я от Гоголя второе письмо, уже из Вены.

*«Июля 7 **. Вена.*

Я получил третьего дни письмо ваше, друг души моей Сергей Тимофеевич! Оно ко мне дошло очень исправно, и дойдет, без сомнения, и другое так же исправно, если только вам придет желание написать его, потому что я в Вене еще надеюсь пробыть месяца полтора, попить вод и отдохнуть. Здесь покойнее, чем на водах, куда съезжается слишком скучный для меня свет. Тут все ближе, под рукой, и свобода во всем. Нужно знать, что последняя давно убежала из деревень и маленьких городов Европы, где существуют воды и съезды. Парадно — мочи нет! К тому же у меня такая скверная натура, что при взгляде на эту толпу, приехавшую со всех сторон лечиться,— уже несколько тошнит, а на водах это не идет: нужно, напротив, чтобы слабило. Как вспомню Мариенбад и лица, из которых каждое насильно и нахально влезло в память, попадаясь раз по сорока на день, и несносных русских с вечным и непреложным вопросом: «А который стакан вы пьете?» — вопрос, от которого я улепетывал по проселочным дорожкам; этот вопрос мне показался на ту пору родным братцем другого известного вопроса: «Чем вы подарите нас новеньким?» Ибо всякое слово, само по себе невинное, но повторенное двадцать раз, делается

* В рукописи дата пропущена, С. Т. Аксаков имеет в виду предыдущее письмо Гоголя, ошибочно определяя его 1841 годом.— *Ред.*

** В рукописи «Истории знакомства» ошибочно: «7 июня».— *Ред.*

пошлее добродетельного Цинского или романов Булгарина[87], что все одно и то же... Я замечаю, что я, кажется, не кончил периода. Но вон его! Был ли когда-нибудь какой толк в периодах? Я только вижу и слышу толк в чувствах и душе. Итак, я на водах в Вене: и дешевле, и покойней, и веселее. Я здесь один; меня не смущает никто. На немцев я гляжу как на необходимых насекомых во всякой русской избе. Они вокруг меня бегают, лазят, но мне не мешают, а если который из них взлезет мне на нос, то щелчок — и был таков.

Я совершенно покоен после вашего письма. Первое и главное: вы здоровы. Но мне жаль, если вы проведете лето в Москве. Перемена необходимо нужна вам, как и всякому человеку, проведшему зиму в Москве. Мне жаль, если у вас не будет дачи, пруда с рыбами, леса и дорог, которые бы заманили ходить.

Ради бога, сделайте так, чтоб ваше лето не было похоже на зиму. Иначе это значит — гневить бога и выпускать на него эпиграммы.

Вена приняла меня царским образом: только теперь всего два дня прекратилась опера. Чудная, невиданная. В продолжение целых двух недель первые певцы Италии мощно возмущали, двигали и производили благодетельные потрясения в моих чувствах. Велики милости бога! Я оживу еще.

Обнимаю от души Константина Сергеевича, хотя, без сомнения, не так крепко, как он меня, но это не без выгоды: бокам несколько легче. И, между прочим, прошу его к наданным от меня комиссиям прибавить еще несколько, а именно: спросить у Погодина, не нашелся ли мой Шекспир, второй том, который взять ему с собою, и прибавить к этому оба издания песней Максимовича[88], а может быть, и третье, коли вышло. А главное, купить, или поручить Михаилу Семеновичу купить у лучшего сапожника петербургской выделанной кожи, самой мягкой, для сапог, то есть одни передки. Они так уж вырезанные находятся, места не занимают и удобны к взятию. Пары две, или три. Случилась беда: все сапоги, сделанные мне *Таке*, оказались короткими. Упрямый немец! Я толковал ему, что будут коротки — не хотел, сапожная колодка, согласиться! И широки так, что у меня ноги распухли. Хорошо бы было, если бы мне были доставлены эти кожи, а делают сапоги здесь недурно.

Товарищ мой немного было прихворнул, но теперь здоров, заглядывается на Вену и с грустью собирается ее оставить послезавтра для дальнейшего пути. Он теперь сидит за письмом к вам.

Целую ручки Ольги Семеновны и посылаю мое душевное объятие всему вашему семейству. Прощайте, мой друг! Будьте здоровы и берегите свое здоровье!»

К этому письму не нужно прибавлять никаких объяснений. Но следует заметить, что здесь продолжается в душе Гоголя то же самое настроение, с каким он уехал из Москвы. Его же увидим мы и в следующем письме в Москву к Ольге Семеновне, ибо я известил Гоголя, что уезжаю с Конст⟨антином⟩ за Волгу, куда я и уехал, кажется, 27 июня. Из этого письма также видно, какое значение имели для Гоголя все искусства и как благодетельно было их влияние на его душу. О сильном стремлении его к живописи я уже имел случай говорить; но здесь видно, как действовала на него музыка и как дороги были ему родные малороссийские песни. Даже третье издание Максимовича, почти одних и тех же песен, просит он К⟨онстантина⟩ привезть ему в Рим. Итак, очень ошибочно это мнение, что будто Гоголь только в последние два года своей жизни вновь обратился к своей прекрасной родине и к ее прелестным песням. Вот его письмо к О⟨льге⟩ С⟨еменовне⟩ из Венеции.

«Венеция, август, 10. ⟨Вена?⟩

Так как Сергея Тимофеевича теперь, вероятно, нет в Москве, Констан⟨тин⟩ Сергеев⟨ич⟩, без сомнения, тоже с ним, то решаюсь, Ольга Семеновна, осадить вас моими двумя усерднейшими просьбами. Но прежде чем просьбы, позвольте поблагодарить вас, вы знаете за что:. за все. Позвольте поблагодарить также вас и все ваше семейство за память обо мне. Впрочем, в последнем случае благодарить мне незачем, потому что здесь плата тою же монетою с моей стороны, что вам, без сомнения, известно. А просьбы мои следующие. Отправьте прилагаемое при сем письмо к Лизе и вручите Михаилу Семеновичу прилагаемое при сем действие переведенной для него комедии[89]. Еще одна просьба, о которой напоминать мне немножко бессовестно, но нечего делать. Просьба эта относится прямо к Вере Сергеевне, а в чем * она заключается — это ей известно. Исполнению ее, конечно, теперь мешает отъезд Сергея Тимоф⟨еевича⟩. Но по приезде... Вера Сергеевна простит меня за мой докучливый характер. Прощайте. Веселитесь веселее, сколь можно, и отведайте лета более, сколь можно. Я вас вижу очень живо и также вижу всех вас, все ваше семейство.

К Сергею Тимофеевичу я буду писать из Рима, не знаю только. куда адресовать. Впрочем, отправите вы.

Целую ваши ручки».

Первое действие комедии, о которой пишет Гоголь, принадлежит к той самой пиесе, которую Щепкин, под названием «Дядька в хлопо-

* В рукописи ошибочно: «впрочем».— *Ред.*

тах», давал себе в бенефис в прошедшую зиму, через год после кончины Гоголя. Просьба к Верочке относится до моего портрета, который она обещала написать для Гоголя, исполнению которой, без сомнения, мешало мое отсутствие. Я воротился из-за Волги в исходе августа. Меня ожидало уже печальное известие, что Гр⟨игория⟩ Ив⟨ановича⟩ Карташевского нет на свете. Через сутки мы уже уехали с Верой в Петербург. Писем от Гоголя долго не было. Наконец, пришло известие, что он был отчаянно болен, и вот письмо, которое я получил от него уже в генваре 1841 года.

«Рим, декабря 28.

Я много перед вами виноват, друг души моей Сергей Тимофеевич, что не писал к вам тотчас после вашего мне так всегда приятного письма. Я был тогда болен. О моей болезни мне не хотелось писать к вам, потому что это бы вас огорчало. Вы же в это время и без того, как я узнал, узнали великую утрату; лгать мне тоже не хотелось, и потому я решился обождать. Теперь я пишу к вам, потому что здоров, благодаря чудесной силе бога, воскресившего меня от болезни, от которой, признаюсь, я не думал уже встать. Много чудного совершилось в моих мыслях и жизни. Вы в вашем письме сказали, что верите в то, что мы увидимся опять. Как угодно будет всевышней силе. Может быть, это желание, желание сердец наших, сильное обоюдно, исполнится. По крайней мере обстоятельства идут как будто бы к тому.

Я, кажется, не получу места [90], о котором, помните, мы хлопотали и которое могло бы обеспечить мое пребывание в Риме. Я почти, признаюсь, это предвидел, потому что Кривцова, который надул всех, я разгадал почти с первого взгляда. Это * человек, который слишком любит только одного себя и прикинулся любящим и то и се потому только, чтобы посредством этого более удовлетворить, своей страсти, т. е. любви к самому себе. Он мною дорожит столько же, как тряпкой. Ему нужно иметь при себе непременно какую-нибудь европейскую знаменитость в художественном мире, в достоинство внутреннее которого он хоть, может быть, и сам не верит, но верит в разнесшуюся его знаменитость; ибо ему, что весьма естественно, хочется разыграть со всем блеском ту роль, которую он не очень смыслит. Но бог с ним, я рад всему, всему, что ни случается со мною в жизни, и как погляжу я только, к каким чудным пользам и благу вело меня то, что называют в свете неудачами, то растроганная душа моя не находит слов благодарить невидимую руку, ведущую меня.

Другое обстоятельство, которое может дать надежду на возврат

* В оригинале: «Этот».— *Ред.*

мой,— мои занятия. Я теперь приготовляю к совершенной очистке первый том «Мерт⟨вых⟩ душ». Переменяю, перечищаю, многое перерабатываю вовсе и вижу, что печатание их не может обойтись без моего присутствия. Между тем дальнейшее продолжение его выясняется в голове моей чище, величественней, и теперь я вижу, что может быть со временем кое-что колоссальное, если только позволят слабые мои силы. По крайней мере, верно, немногие знают, на какие сильные мысли и глубокие явления может навести незначащий сюжет, которого первые невинные и скромные главы вы уже знаете. Болезнь моя много отняла у меня времени, но теперь, слава богу, я чувствую даже по временам свежесть, мне очень нужную. Я это приписываю отчасти холодной воде, которую я стал пить по совету доктора, которого за это благослови бог и который думает, что мне холодное лечение должно помочь. Воздух теперь чудный в Риме, свежий. Но лето, лето, это я уже испытал, мне непременно нужно провести в дороге. Я повредил себе много, что зажился в душной Вене. Но что ж было делать, признаюсь — у меня не было средств тогда предпринять путешествие, у меня слишком было все рассчитано. О, если бы я имел возможность всякое лето сделать какую-нибудь дальнюю, дальнюю дорогу: дорога удивительно спасительна для меня...

Но обратимся к началу. В моем приезде к вам, которого значения я даже не понимал вначале, заключилось много, много для меня. Да, чувство любви к России, слышу, во мне сильно. Многое, что казалось мне прежде неприятно и невыносимо, теперь мне кажется опустившимся в свою ничтожность и незначительность, и я дивлюсь, ровный и спокойный, как я мог их когда-либо принимать близко к сердцу.

И то, что я приобрел в теперешний приезд мой в Москву — вы знаете, что я разумею, вам за этим незачем далеко ходить, чтобы узнать, какие это приобретения. Да, я не знаю, как и чем благодарить мне бога... но уже когда я мыслю о вас и об этом юноше, так полном сил и всякой благодати, который так привязался ко мне,— я чувствую в этом что-то такое сладкое... но довольно. Сокровенные чувства както становятся пошлыми, когда облекаются в слова.

Я хотел было обождать этим письмом и послать вместе с ним перемененные страницы в «Ревизоре» и просить вас о напечатании его вторым изданием и не успел. Никак не хочется заниматься тем, что нужно к спеху, а все бы хотелось заняться тем, что не к спеху [91]. А между тем оно было бы очень нужно скорее. У меня почти дыбом волос, как вспомню, в какие я вошел долги. Я знаю, что вам подчас и весьма нужны деньги. Но я надеюсь через неделю выслать вам переправки и приложения к «Ревизору», которые, может быть, заставят лучше покупать его. Хорошо бы, если бы он выручил прежде должные

вам, а потом тысячу, взятую мною у Панова, которую я пообещал ему уплатить было в феврале.

Панов —молодец во всех отношениях, и Италия ему много принесла пользы, какой бы он никогда не приобрел в Германии, в чем он совершенно убедился. Это не мешает довести, между прочим, до сведения кое-кого. А впрочем, если рассудить по правде, то я не знаю, почему вообще молодым людям не развернуться в полноте сил и в русской земле. Но почему — может увлечь в длинные рассуждения. Покамест прощайте. Обнимаю и целую вас несколько раз и все ваше семейство также» *.

Письмо это написано уже совсем в другом тоне, чем все предыдущие. Этот тон сохранился уже навсегда. Должно поверить, что много чудного совершилось с Гоголем, потому что он с этих пор изменился в нравственном существе своем. Это не значит, что он сделался другим человеком, чем был прежде; внутренняя основа всегда лежала в нем, даже в самых молодых годах; но она скрывалась, так сказать, наружностью внешнего человека. Отсюда начинается постоянное стремление Гоголя к улучшению в себе духовного человека и преобладание религиозного направления, достигшего впоследствии, по моему мнению, такого высокого настроения, которое уже несовместимо с телесным организмом человека. Я не спрашивал Гоголя в подробности, что с ним случилось: частью из деликатности, не желая насиловать его природной скрытности, а частью потому, что боялся дотрагиваться до таких предметов и явлений, которым я не верил и теперь не верю, считая их порождением болезненного состояния духа и тела. Но я слышал, что Гоголь во время болезни имел какие-то видения, о которых он тогда же рассказал ходившему за ним с братскою нежностью и заботою купцу Н. П. Боткину [92], который случился на то время в Риме.

Что касается до места, которое мы все желали доставить Гоголю, то оно, кажется, вовсе не состоялось. Кривцов был назначен в Риме вроде какого-то попечителя и официального ходатая всех русских художников, там живущих; Гоголь хотел быть его помощником, которому предполагали определить жалованья с лишком две тысячи рублей ассигнац⟨иями⟩; получив такое место, Гоголь был бы обеспечен в своем существовании.

Что же собственно разумел Гоголь под словами: «к каким чудным пользам и благу вело меня то, что называют в свете неудачами», то это обстоятельство осталось для меня неизвестным. Слова самого

---

* В рукописи Аксакова последняя фраза письма опущена.— *Ред.*

Гоголя утверждают меня в том мнении, что он начал писать «Мертвые души» как любопытный и забавный анекдот; что только впоследствии он узнал, говоря его словами, «на какие сильные мысли и глубокие явления может навести незначащий сюжет»; что впоследствии, мало-помалу, составилось это колоссальное здание, наполнившееся болезненными явлениями нашей общественной жизни; что впоследствии почувствовал он необходимость исхода из этого страшного сборища человеческих уродов, необходимость — примирения... Возможно ли было исполнение такой задачи и мог ли ее исполнить Гоголь — это вопрос другой, к которому я обращусь в конце этих записок. В словах Гоголя, что он слышит в себе *сильное чувство к России*, заключается, очевидно, указание, подтверждаемое последующими словами, что этого чувства у него прежде не было или было слишком мало. Без сомнения, пребывание в Москве, в ее русской атмосфере, дружба с нами и особенно влияние Константина, который постоянно объяснял Гоголю, со всею пылкостью своих глубоких, святых убеждений, все значение, весь смысл русского народа, были единственные тому причины. Я сам замечал много раз, какое впечатление производил он на Гоголя, хотя последний старательно скрывал свое внутреннее движение. Единственно в этом письме, в первый и последний раз, высказался откровенно Гоголь. И прежде и после этого письма он по большей части подшучивал над русским человеком. Есть еще доказательства этого русского движения, образовавшегося в Москве именно в 1840 году: в первом томе «Мертв⟨ых⟩ д⟨уш⟩» многие места в этом духе очевидно вставлены [93] и даже не совсем гармонируют с прежними речами. Под словами: *и то, что я приобрел в теперешний приезд мой в Москву* Гоголь разумеет дружбу со мной и моим семейством; а под словами *юноша, полный всякой благодати*,— Константина.

Я не получал писем от Гоголя около двух месяцев. Прилагаемое письмо от 5 марта 1841 года получено мною уже тогда, когда богу было угодно поразить нас ужасным и неожиданным ударом: именно 5 марта потеряли мы сына, полного крепости телесных сил и всяких блистательных надежд [94]; а потому все поручения Гоголя передал я к исполнению Погодину.

«Марта 5. Рим.

Мне грустно так долго не получать от вас вести, Сергей Тимофеевич. Но, может быть, я сам виноват. Может быть, вы ожидали высылки мною обещанных изменений и приложений, следуемых ко второму изданию «Ревизора». Но я не мог найти нигде их. Теперь только случаем нашел их там, где не думал. Если б вы знали, как мне

скучно теперь заниматься тем, что нужно на скорую руку, как мне тягостно на миг оторваться от труда, наполняющего ныне всю мою душу. Но вот вам, наконец, эти приложения. Здесь письмо, писанное мною к Пушкину *[95], по его собственному желанию. Он был тогда в деревне. Пиеса игралась без него. Он хотел писать полный разбор ее для своего журнала и меня просил уведомить, как она была выполнена на сцене. Письмо осталось у меня неотправленным, потому что он скоро приехал сам. Из этого письма я выключил то, что собственно могло быть интересно для меня и для него, и оставил только то, что может быть интересно для будущей постановки «Ревизора», если она когда-нибудь состоится. Мне кажется, что прилагаемый отрывок будет не лишним для умного актера, которому случится исполнять роль Хлестакова. Это письмо ** под таким названием, какое на нем выставлено, нужно отнесть на конец пиесы, а за ним непосредственно следуют две прилагаемые, выключенные из пиесы, сцены. Небольшую характеристику ролей, которая находится в начале книги первого издания, нужно исключить. Она вовсе не нужна. У Погодина возьмите приложенное в его письме изменение четвертого акта, которое совершенно необходимо. Хорошо бы издать «Ревизора» в миниатюрном формате, а впрочем, как найдете лучшим.

Теперь я должен с вами поговорить о деле важном. Но об этом сообщит вам Погодин. Вы вместе с ним сделаете совещание, как устроиться лучше. Я теперь прямо и открыто прошу помощи, ибо имею право и чувствую это в душе. Да, друг мой! Я глубоко счастлив. Несмотря на мое болезненное состояние, которое опять немного увеличилось, я слышу и знаю дивные минуты. Создание чудное творится и совершается в душе моей, и благодарными слезами не раз теперь полны глаза мои. Здесь явно видна мне святая воля бога: подобное внушенье не приходит от человека; никогда не выдумать ему такого сюжета. О, если бы еще три года с такими свежими минутами! Столько жизни прошу, сколько нужно для окончания труда моего, больше ни часу мне не нужно. Теперь мне нужн⟨ы⟩ необходим⟨о⟩ дорога и путешествие. Они одни, как я уже заметил, восстановляют меня. У меня все средства истощились уже несколько месяцев. Для меня нужно сделать заем. Погодин вам скажет. В начале же 42 года выплатится мною все, потому что одно то, которое уже у меня готово и которое, если даст бог, напечатаю в конце текущего года, уже достаточно для уплаты.

---

* Дальше зачеркнуто: «вслед за первым предст⟨авлением⟩ Ревизора».— *Ред.*

** Зачеркнуто: «Этот отрывок».— *Ред.*

Теперь я ваш; Москва моя родина. В начале осени я прижму вас к моей русской груди. Все было дивно и мудро расположено высшею волею. И мой приезд в Москву, и мое нынешнее путешествие в Рим — все было благо. Никому не говорите ничего ни о том, что я буду к вам, ни о том, что я тружусь, словом, ничего.

Но я чувствую какую-то робость возвращаться одному. Мне тягостно и почти совершенно невозможно теперь заняться дорожными мелочами и хлопотами. Мне нужно спокойствие и самое счастливое, самое веселое, сколько можно, расположение души, меня теперь нужно беречь и лелеять. Я придумал вот что: пусть за мною приедут Михал Семенович и Константин Сергеевич; им же нужно — Михалу Семеновичу для здоровья, Констан⟨тину⟩ Сергеевичу для жатвы, за которую уж пора ему приняться, а милее душе моей этих двух, которые бы могли за мною приехать, не могло бы для меня найтиться никого. Я бы ехал тогда с тем же молодым чувством, как школьник в каникулярное время едет из надоевшей школы домой под родную крышу и вольный воздух. Меня теперь нужно лелеять не для меня, нет. Они сделают небесполезное дело. Они привезут с собой глиняную вазу; конечно, эта ваза теперь вся в трещинах, довольно стара и еле держится, но в этой вазе теперь заключено сокровище, стало быть, ее нужно беречь. Жду вашего ответа, чем скорее, тем лучше. Если бы вы знали, как я теперь жажду обнять вас. До свиданья! Как прекрасно это слово!

Перецелуйте моим поцелуем всех ваших: Ольгу Семеновну, Веру Сергеев⟨ну⟩, Ольгу Сер⟨геевну⟩, всех! всех! Письма мне адресуйте на имя банкира Валентини; это будет вернее, чем Poste restante *. Адрес его: Piazza Apostoli, Palazzo Valentini».

Это письмо привело в восхищение всех друзей Гоголя, а также меня и мое семейство настолько, насколько наши убитые горестью сердца могли принять в этом участие. Письмо это утверждает обращение Гоголя к России; слова «к русской груди моей» это доказывают. Можно также заключить, что Гоголь переезжал в Москву навсегда, с тем чтобы уже не ездить более в чужие края, о чем он и сам мне говорил сначала, по возвращении из Рима. Как слышна искренность убеждений Гоголя в этом письме в великость своего труда как в благую, свыше назначенную цель всей своей жизни! Поехать к Гоголю, так сказать, навстречу, чтоб привезть его в Москву, никто не мог: Константину невозможно было разлучиться с нами в это печальное время; Щепкин не имел никаких средств ехать, да и получить

* До востребования.— *Ред.*

заграничный отпуск было бы для него очень затруднительно. Что же касается до займа денег для Гоголя и вообще до его письма об этом предмете, то его не вдруг показали мне, потому что мне было не до того. Общее это письмо было написано ко мне, к Погодину и Шевыреву.

Второе и последнее письмо ко мне в этом году от Гоголя из Рима не имеет числа [96]; но по содержанию его можно догадаться, что оно написано довольно скоро после письма от 5 марта, когда Гоголь еще не знал о нашем несчастье. Вот оно:

⟨13 марта ст. ст. Рим.⟩

«Едва только я успел отправить письмо мое к вам, с приложеньями к «Ревизору», как получил вслед за тем ваше. Оно было для меня тем приятнее, что мне казалось уже, будто я от вас бог знает когда не получал вести. Целую вас несколько раз в задаток поцелуев личных. «Ревизора», я полагаю, не отложить ли до осени. Время близится к лету; в это время книги сбываются плохо и вообще торговля не движется. Отпечатать можно теперь, а выпуском повременить до осени. По крайней мере так говорит благоразумие и опытность.

Вы пишете, чтобы я прислал что-нибудь в журнал Погодину. Боже! Если бы вы знали, как тягостно, как разрушительно для меня это требование, какую вдруг нагнало оно на меня тоску и мучительное состояние. Теперь на один миг оторваться мыслью от святого своего труда для меня уже беда. Никогда бы не предложил мне в другой раз подобной просьбы тот, кто бы мог узнать на самом деле, чего он лишает меня. Если бы я имел деньги, клянусь, я бы отдал все деньги, сколько бы у меня их ни было, вместо отдачи своей статьи. Но, так и быть, я отыщу какой-нибудь старый лоскуток и просижу над пер⟨еп⟩равкой и окончательной отделкой его, боже! может быть, две-три недели. Ибо теперь для меня всякая малая вещь почти такого же требует обдумыванья, как великая, и, может быть, еще большего и тягостно-томительнейшего труда, ибо он будет почти насильственный, и всякую минуту я буду помнить бесплодную великость своей жертвы, преступную свою жертву. Нет, клянусь! грех, сильный грех, тяжкий грех отвлекать меня.— Только одн⟨ом⟩у не верующему словам моим и недоступному мыслям высоким позволительно это сделать. Труд мой велик, мой подвиг спасителен, я умер теперь для всего мелочного. И для презренного ли журнального пошлого занятья * ежедневным дрязгом я должен совершать непрощаемые преступления? И что поможет журналу моя статья? Но статья

* В оригинале описка: «занятого».— *Ред.*

будет готова и недели через три выслана. Жаль только, если она усилить мое болезненное расположение, но, я думаю, нет. Бог милостив. Дорога, дорога! Я сильно надеюсь на дорогу. Она же так теперь будет для меня вдвойне прекрасна. Я увижу моих друзей, моих родных друзей. Не говорите о моем приезде никому, и Погодину скажите, чтоб он также не говорил, если же прежде об этом проговорились, то теперь говорите, что это неверно еще. Ничего тоже не сказывайте о моем труде. Обнимите Погодина и скажите ему, что я плачу, что не могу быть полезным ему со стороны журнала, но что он, если у него бьется русское чувство любви к отечеству, он должен требовать, чтобы я не давал ему ничего.

Вы, может быть, дивитесь, что я вызываю Константи⟨на⟩ Серг⟨еевича⟩ и Михаила Семенов⟨ича⟩, но я делал это в том предположении, что Конст⟨антину⟩ Серг⟨еевичу⟩ нужно было и без того ехать, а Мих⟨аил⟩ Семен⟨ович⟩ тоже хотел ехать к водам, что ему принесло бы значительную пользу. Я бы их ожидал хоть в самом первом за нашею границею немецком городке. Вы знаете этому причины из письма моего, которое вы уже получили. Насчет денег нужно будет распорядиться скорее. В мае м⟨еся⟩це я полагаю выехать из Рима, месяцы жаркие провесть где-нибудь в холодных углах Европы, может быть, в Швейцарии, и к началу сентября в Москву — обнять и прижать вас сильно. Прощайте! жду с нетерпеньем ваших писем.

Обнимаю крепко все ваше семейство».

Желание Гоголя не исполнилось: «Ревизор» был напечатан Погодиным со всеми приложениями, которые предварительно были помещены в «Москвитянине», что, разумеется, было Гоголю неприятно. Хотя я был тогда в таком положении, что не могу обвинять строго себя, но я должен признаться, что финансовые расчеты журналиста не казались мне тогда так противными, как теперь [97], и что вообще я не умел понимать во всей полноте страдальческого положения Гоголя; очевидным доказательством тому служит мое письмо к Гоголю, в котором я просил, чтоб он прислал что-нибудь в журнал Погодину.

Теперь для меня это очень прискорбно, но прошедшего не воротишь. Я особенно должен обвинять себя потому, что только моя просьба (как мне кажется) могла заставить Гоголя оторваться от своего святого труда, пожертвовать своею чудною итальянскою повестью «Анунциата», которой начало он нам читал, и сделать из нее отдельную статью под названием «Рим», которая впоследствии была напечатана в «Москвитянине». Впрочем, у Гоголя недостало сил исполнить свое обещание так скоро; он точно оставил было «Мертвые души» и принялся за переделку «Анунциаты». Но он

был так занят, так погружен в мир своей поэмы, что работа не спорилась и сделалась для него невыносимою. Он бросил ее и докончил уже в Москве.

Между тем Гоголь получил известие о нашем несчастии. Не помню, писал ли я сам к нему об этом, но знаю, что он написал ко мне утешительное письмо, которое до меня не дошло и осталось для меня неизвестным. Письмо было послано через Погодина; вероятно, оно заключало в себе такого рода утешения ⟨подкрепляемые выраженьем из священных книг⟩ *, до которых я был большой неохотник и мог скорее рассердиться за них, чем утешиться ими. Погодин знал это очень хорошо и не отдал письма, а впоследствии или затерял, или обманул меня, сказав, что письма не нашел.

Гоголя мы уже давно ждали, но, наконец, и ждать перестали, а потому внезапное появление его у нас в доме 18 октября произвело такой же радостный шум, как в 39-м году письмо Щепкина, извещавшее о приезде Гоголя в Москву: крик Константина точно так же всех напугал.

В этот год последовала новая, сильная перемена в Гоголе не в отношении к наружности, а в отношении к его нраву и свойствам; впрочем, и по наружности он стал худ, бледен, и тихая покорность воле божией слышна была в каждом его слове; гастрономического направления и прежней проказливости как будто никогда не бывало. Иногда, очевидно без намерения, слышался юмор и природный его комизм; но смех слушателей, прежде не противный ему или не замечаемый им, в настоящее время сейчас заставлял его переменить тон разговора.

Проявление последней его проказливости случилось во время переезда Гоголя из Петербурга в Москву. Он приехал в одной почтовой карете с Пет⟨ром⟩ Ив⟨ановичем⟩ Пейкером [98] и сидел с ним в одном купе. Заметя, что товарищ очень обрадовался соседству знаменитого писателя, он уверил его, что он не *Гоголь*, а *Гогель*, прикинулся смиренным простячком, круглым сиротой и рассказал о себе преплачевную историю. Притом на все вопросы отвечал: «Нет, не знаю». Пейкер оставил в покое своего неразговорчивого соседа. Приехав в Москву, Пейкер немедленно посетил нас. Речь зашла о Гоголе, и петербургский гость изъявил горячее желание его видеть. Я сказал, что это очень не мудрено, потому что Гоголь бывает у меня почти всякий день. Через несколько минут входит Гоголь своей тогда еще живою и бодрою походкой. Я познакомил его с моим гостем, и что же? Он

* Слова, заключенные в скобки, в рукописи были зачеркнуты, несомненно, из цензурных соображений.— *Ред.*

узнает в Гоголе несносного своего соседа Гогеля. Мы не могли удержаться от смеха, но Пейкер осердился. Он был прав; за что Гоголь дурачил его трое суток? Между тем Гоголь сделал это единственно для того, чтоб избавиться от докучливых вопросов, предлагаемых обыкновенно писателю: «Что вы теперь пишете? Когда подарите нас новым произведением? Для чего вы не напишете того-то?» и пр. и пр. Можно ли строго осудить за это Гоголя, который так любил уединение дороги? Невинная выдумка возвращала ему полную свободу, и он, подняв воротник шинели выше своей головы (это была его любимая поза), всю дорогу читал потихоньку Шекспира или предавался своим творческим фантазиям. Между тем многие его за это обвиняли. Мы успокоили Пейкера, объяснив ему, что подобные мистификации Гоголь делал со всеми. Впоследствии они обедали у нас вместе, и Гоголь был очень любезен с своим прежним дорожным соседом.

Гоголь точно привез с собой первый том «Мертвых душ», совершенно конченный и отчасти отделанный. Он требовал от нас, чтоб мы никому об этом не говорили, а всем бы отвечали, что ничего готового нет. Начались хлопоты с перепискою набело «Мертвых душ». Я доставил было Гоголю отличного переписчика, бывшего при мне воспитанником в Межевом институте, Крузе; но не знаю, или лучше сказать, не помню, почему Гоголь взял другого переписчика. Прилагаемая записка служит тому доказательством.

«Я к вам приходил, между прочим, с просьбою, которую совершенно позабыл. А именно, нельзя ли послать к Крузе взять у него десть или две чистой бумаги, которая ему теперь не нужна, а будет нужна моему переписчику. Из-за нее остановилось дело.

Гоголь».

Покуда переписывались первые шесть глав, Гоголь прочел мне, Константину и Погодину остальные пять глав. Он читал их у себя на квартире, то есть в доме Погодина, и ни за что не соглашался, чтоб кто-нибудь слышал их, кроме нас троих. Он требовал от нас критических замечаний не столько на частности, как на общий состав и ход происшествия в целом томе. Я решительно не был тогда способен к такого рода замечаниям; частности, мелочи бросались мне в глаза во время чтения, но и об них я забывал после. Итак, я молчал, но Погодин заговорил. Что он говорил, я хорошенько не помню; помню только, что он, между прочим, утверждал, что в первом томе содержание поэмы не двигается вперед; что Гоголь выстроил длинный коридор, по которому ведет своего читателя вместе с Чичиковым и,

отворяя двери направо и налево, показывает сидящего в каждой комнате урода. Я принялся спорить с Погодиным, доказывая, что тут никакого коридора и никаких уродов нет, что содержание поэмы идет вперед, потому что Чичиков ездит по добрым людям и скупает мертвые души... но Гоголь был недоволен моим заступлением и, сказав мне: «Сами вы ничего заметить не хотите или не замечаете, а другому замечать мешаете...», просил Погодина продолжать и очень внимательно его слушал, не возражая ни одним словом.

Я говорил Гоголю после, что, слушая «Мертвые души» в первый раз, да хоть бы и не в первый, и увлекаясь красотами его художественного создания, никакой в свете критик, если только он способен принимать поэтические впечатления, не в состоянии будет замечать какие-нибудь недостатки; что если он хочет моих замечаний, то пусть даст мне чисто переписанную рукопись в руки, чтоб я на свободе прочел ее и, может быть, не один раз. Тогда дело другое. Но Гоголь не хотел и не мог этого сделать: рукопись поспешно переписывалась и немедленно была отослана в цензуру в Петербург.

Тут случилось что-то такое, чего я и теперь объяснить не умею. Гоголь хотел послать первый том «Мертвых душ» в Петербург к Жуковскому или к графу Вьельгорскому [99] для того, чтоб найти возможность представить его прямо к государю, ибо все мы думали, что обыкновенная цензура его не пропустит. Вдруг Гоголь переменил свое намерение и послал рукопись в Петербург прямо к цензору Никитенко [100] и, кажется, послал с Белинским, по крайней мере не сказал нам с кем. У нас возникло подозрение, что Гоголь имел сношение с Белинским, который приезжал на короткое время в Москву, секретно от нас, потому что в это время мы все уже терпеть не могли Белинского, переехавшего в Петербург для сотрудничества в издании «Отечественных записок» и обнаружившего гнусную враждебность к Москве, к русскому человеку и ко всему нашему русскому направлению [101].

В это время, то есть в конце 1841 и в начале 1842 года, начали возникать неудовольствия между Гоголем и Погодиным. Гоголь молчал, но казался расстроенным, а Погодин начал сильно жаловаться на Гоголя: на его капризность, скрытность, неискренность, даже ложь, холодность и невнимание к хозяевам, то есть к нему, к его жене, к матери и к теще, которые будто бы ничем не могли ему угодить. Я должен признаться, к сожалению, что жалобы и обвинения Погодина казались так правдоподобными, что сильно смущали мое семейство и отчасти меня самого, а также и Шевырева.

Я, однако, объясняя себе поступки Гоголя его природною скрытностью и замкнутостью, его правилами, принятыми сыздетства, что

иногда должно не только не говорить настоящей правды людям, но и выдумывать всякий вздор для скрытия истины, я старался успокоить других моими объяснениями. Я приписывал скрытность и даже какую-нибудь пустую ложь, которую употреблял иногда Гоголь, когда его уличали в неискренности, единственно странности его характера и его рассеянности. Будучи погружен в совсем другие мысли, разбуженный как будто от сна, он иногда сам не знал, что отвечает и что говорит, лишь бы только отделаться от докучного вопроса; данный таким образом ответ невпопад надобно было впоследствии поддержать или оправдать, из чего иногда выходило целое сплетение разных мелких неправд. Впрочем, я должен сказать, что странности Гоголя иногда были необъяснимы и остались навсегда для меня загадками. Мне нередко приходилось объяснять самому себе поступки Гоголя точно так, как я объяснял их другим, то есть что мы не можем судить Гоголя по себе, даже не можем понимать его впечатлений, потому что, вероятно, весь организм его устроен как-нибудь иначе, чем у нас; что нервы его, может быть, во сто раз тоньше наших, слышат то, чего мы не слышим, и содрогаются от причин, для нас неизвестных. На такое объяснение Погодин с злобным смехом отвечал: «Разве что так».

Я тогда еще не вполне понимал Погодина и потому не догадывался, что главнейшею причиною его неудовольствия было то, что Гоголь ничего не давал ему в журнал, чего он постоянно и грубо требовал, несмотря на все, уже приведенные мною, письма Гоголя. После объяснилось, что Погодин пилил, мучил Гоголя не только словами, но даже записками, требуя статей себе в журнал и укоряя его в неблагодарности, которые посылал ежедневно к нему снизу наверх. Такая жизнь сделалась мученьем для Гоголя и была единственною причиною скорого его отъезда за границу. Теперь для меня ясно, что грубая, черствая, топорная натура Погодина, лишенная от природы или от воспитания всех нерв, передающих чувства деликатности, разборчивости, нежности — не могла иначе поступать с натурою Гоголя, самою поэтическою, восприимчивою и по преимуществу нежною. Погодин сделал много добра Гоголю, хлопотал за него горячо всегда и везде, передавал ему много денег (не имея почти никакого состояния и имея на руках большое семейство), содержал его с сестрами и с матерью у себя в доме и по всему этому считал, что он имеет полное право распоряжаться в свою пользу талантом Гоголя и заставлять его писать в издаваемый им журнал. Погодин всегда имел добрые порывы и был способен сделать добро даже и такому человеку, который не мог заплатить ему тем же; но как скоро ему казалось, что одолженный им человек может его отбла-

годарить, то он уже приступал к нему без всяких церемоний, брал его за ворот и говорил: «Я тебе помог в нужде, а теперь ты на меня работай».

Я сказал, что были случаи, в которых я никак не умел объяснить себе поступков Гоголя; именно, в течение первых четырех месяцев 1842 года было два таких случая. Приехал в Москву старый мой, еще по гимназии, товарищ и друг, Дмитрий Максимович Княжевич [102]; он был прекраснейший человек во всех отношениях: умный, образованный, живой, добрый, любящий и одаренный сильным эстетическим чувством. Кроме того, что он, по крайней мере до издания «Мертвых душ», понимал и ценил Гоголя, он был с ним очень дружески знаком в Риме и, как гостеприимный славянин, не один раз угощал у себя Гоголя. Княжевич очень обрадовался, узнав, что мы с Гоголем друзья и что он бывает у нас всякий день. Я думал, что и Гоголь этому обрадуется. Что же вышло? В первый раз, когда Княжевич приехал к нам при Гоголе и стал здороваться с кем-то за дверьми маленькой гостиной, в которой мы все сидели, Гоголь неприметно юркнул в мой кабинет, и когда мы хватились его, то узнали, что он поспешно убежал из дому. Такой поступок поразил всех нас, особенно удивил Княжевича. На другой день продолжалась такая же история, только с тою разницею, что Гоголь не убежал из дому, когда приехал Княжевич, а спрятался в дальний кабинетец, схватил книгу, уселся в большие кресла и притворился спящим. Он оставался в таком положении более двух часов и так же потихоньку уехал. На вопросы, что с ним сделалось, он отвечал самыми детскими отговорками: в первый приезд Княжевича он будто вспомнил какое-то необходимое дело, по которому надобно было ему сейчас уехать, а в другой раз — будто ему так захотелось спать, что он не мог тому противиться, а проснувшись, почувствовал головную боль и необходимость поскорее освежиться на чистом воздухе. Мы все были не только поражены изумлением, но даже оскорблены. Я хотел даже заставить Гоголя объясниться с Княжевичем, но последний упросил меня этого не делать и даже взял с меня честное слово, что я и наедине не стану говорить об этом с Гоголем. Он думал, что, вероятно, Гоголю что-нибудь насказали и что он имеет на него неудовольствие. Княжевич так любил горячо и меня и Гоголя, что буквально счел бы за несчастье быть причиною размолвки между нами. Несмотря на то, наше обращение с Гоголем изменилось и стало холоднее. Гоголь притворился, что не примечает того. На третий день опять приехал Княжевич с дочерью, тогда как мы с Гоголем сидели все в моем кабинете. Мы все сейчас встали, пошли навстречу своему гостю и, затворив Гоголя

в кабинете, расположились в гостиной. Через полчаса вдруг двери отворились, вбежал Гоголь и с словами: «Ах, здравствуйте, Дмитрий Максимович...» — протянул ему обе руки, кажется даже обнял его и началась самая дружеская беседа приятелей, не видавшихся давно друг с другом!.. Точно он встретился с ним в первый раз после разлуки и точно прошедших двух дней не бывало. Покорно прошу объяснить такую странность! Всякое объяснение казалось мне так невыгодным для Гоголя, что я уже никогда не говорил с ним об этом — в чем раскаиваюсь теперь.

Таких недоразумений, оставшихся без объяснений, было много, и, вероятно, они были причиной тому, что Гоголь никогда не бывал со мною вполне откровенен. Другое происшествие состояло в следующем (домашние мои утверждают, что оно случилось в 1840 году [103], но это все равно). Гоголь еще не видал на московской сцене «Ревизора»; актеры даже обижались этим, и мы уговорили Гоголя посмотреть свою комедию; Гоголь выбрал день, и «Ревизора» назначили. Слух об этом распространился по Москве, и лучшая публика заняла бельэтаж и первые ряды кресел. Гоголь приехал в бенуар к Чертковой, первый с левой стороны, и сел или почти лег так, чтоб в креслах было не видно. Через два бенуара сидел я с семейством; пьеса шла отлично хорошо; публика принимала ее (может быть, в сотый раз) с восхищением. По окончании третьего акта вдруг все встали, обратились к бенуару Чертковой и начали вызывать автора. Вероятно, кому-нибудь пришла мысль, что Гоголь может уехать, не дослушав пиесы. Несколько времени он выдерживал вызовы и гром рукоплесканий; потом выбежал из бенуара. Я бросился за ним, чтобы провести его в ложу директора, предполагая, что он хочет показаться публике; но вдруг вижу, что он спешит вон из театра; я догнал его у наружных дверей и упрашивал выйти в директорскую ложу. Гоголь не согласился, сказал, что он никак не может этого сделать, и убежал. Публика была очень недовольна, сочла такой поступок оскорбительным и приписала его безмерному самолюбию и гордости автора. На другой день Гоголь одумался, написал извинительное письмо к Загоскину (директору театра), прося его сделать письмо известным публике, благодарил, извинялся и наклепал на себя небывалые обстоятельства. Погодин прислал это письмо на другой день мне, спрашивая, что делать. Я отсоветовал посылать, с чем и Погодин был согласен. Гоголь не послал письма и на мои вопросы отвечал мне точно то же, на что намекал только в письме, то есть что он перед самым спектаклем получил огорчительное письмо от матери, которое его так расстроило, что принимать в эту минуту изъявление восторга зрителей было

для него не только совестно, но даже невозможно. Нам казалось тогда, и теперь еще почти всем кажется, такое объяснение неискренним и несправедливым. Мать Гоголя вскоре приехала в Москву, и мы узнали, что ничего особенно огорчительного с нею в это время не случилось. Отговорка Гоголя признана была нами за чистую выдумку; но теперь я отступаюсь от этой мысли, признаю вполне возможным, что обыкновенное письмо о затруднении в уплате процентов по имению, заложенному в Приказе общественного призрения, могло так расстроить Гоголя, что всякое торжество, приятное самолюбию человеческому, могло показаться ему грешным и противным. Объяснение же с публикой о таких щекотливых семейных обстоятельствах, которое мы сейчас готовы назвать трусостью и подлостью или, из милости, крайним неприличием, обличает только чистую, прямую, простую душу Гоголя, полную любви к людям и уверенную в их сочувствии.

Гоголь продолжал бывать у нас очень часто, почти всякий день, и охотно слушал рассказы Константина о том, как он держал себя и действовал в так называемом большом свете, который он начал посещать тогда и в котором искали его знакомства. Константин увлекался мыслью, что истины, которые он проповедовал там, согласно с своим задушевным и глубоким убеждением, произведут благотворное действие. Он ошибался. Свет с любопытством и удовольствием слушал его, как диковинное явление, и только. Это сделалось модою. Правда, некоторые полюбили его за теплоту убеждений, но самые убеждения считали прекрасными мечтами. Гоголь хорошо понимал настоящее значение этого явления и очень им забавлялся.

Докуки Погодина увенчались, однако, успехом. Он ⟨Гоголь⟩ дал ему в журнал большую статью под названием «Рим», которая была напечатана в 3-м номере «Москвитянина». Он прочел ее в начале февраля предварительно у нас, а потом на литературном вечере у князя Дм⟨итрия⟩ Вл⟨адимировича⟩ Голицына [104]; у Гоголя не было фрака, и он надел фрак Константина. Несмотря на высокое достоинство этой пиесы, слишком длинной для чтения на рауте у какого бы то ни было генерал-губернатора, чтение почти усыпило половину зрителей; но когда к концу пиесы дело дошло до комических разговоров итальянских женщин между собою и с своими мужьями, все общество точно проснулось и пришло в неописанный восторг, который и остался надолго в благодарной памяти слушателей.

Многие дамы, незнакомые лично с Гоголем, но знакомые с нами, желали его видеть; но Гоголя трудно было уговорить прийти в го-

стиную, когда там сидела незнакомая ему дама. Одна из них, именно Кошелева [105], желала особенно познакомиться с Гоголем, а потому Вера и Константин так пристали с просьбами к Гоголю, что каким-то чудом уговорили его войти в гостиную. Это точно стоило больших трудов Константину и Вере. Они приставали к нему всячески, убеждали его; он отделывался разными уловками, то заговаривал о другом, то начинал им читать вслух что-нибудь из «Московских ведомостей» и т. д. Наконец, видя, что он уступает, Константин громко возвестил его в гостиной, так что ему уже нельзя было не войти, и он вошел; но К⟨ошелева⟩ не сумела сказать ему ни слова, и он, оставшись несколько минут, ушел. Константин проводил его и благодарил, но он был не совсем доволен, и на вопрос Константина, как он нашел Кош⟨елеву⟩, он сказал, что не может судить о ней, потому что не слыхал от нее ни слова, «а вы мне сказали, что она желает со мною познакомиться».

Еще в генваре 1842 года дошли до нас слухи, что первый том «Мертвых душ» в рукописи ходит по рукам в Петербурге. Гоголь не знал, что и делать: он писал туда к своим приятелям, даже хотел сам ехать на выручку его; но, наконец, нетерпеливо ожидаемая рукопись, вся без исключения пропущенная цензором, была получена [106]. Я не могу утвердительно сказать, дознались ли мы тогда настоящим образом, где и по чьей милости прогуливался целый месяц первый том «Мертвых душ». У нас составилось подозрение, что тот господин, которому поручено было его отправить на почту, или почтамтский чиновник, принявший посылку, вздумали наперед прочесть любопытную новость и дать почитать своим приятелям; дело только в том, что рукопись ехала из Петербурга до Москвы целый месяц. Я уверен, что Никитенко не смел пропустить ее сам и что она была показана какому-нибудь высшему цензору, если не государю. Мы не верили глазам своим, не видя ни одного замаранного слова; но Гоголь не видел в этом ничего необыкновенного и считал, что так тому и следовало быть. Вначале напечатали * две тысячи пятьсот экземпляров. Обертка была нарисована самим Гоголем. Денег у Гоголя не было, потому «Мертвые души» печатались в типографии в долг, а бумагу взял на себя в кредит Погодин. Печатание продолжалось два месяца.

Несмотря на то, что Гоголь был сильно занят этим делом, очевидно было, что он час от часу более расстраивался духом и даже телом: он чувствовал головокружение и один раз имел такой сильный обморок, что долго лежал без чувств и без всякой помощи, по-

* В рукописи описка: «за печатанье».— *Ред.*

тому что это случилось наверху, в мезонине, где у него никогда никого не было. Вдруг дошли до Константина слухи стороной, что Гоголь сбирается уехать за границу и очень скоро; он не поверил и спросил сам Гоголя, который сначала отвечал неопределенно: «Может быть», но потом сказал решительно, что он едет; что он не может долее оставаться, потому что не может писать и потому что такое положение разрушает его здоровье. Константин был очень огорчен и с горячностью убеждал Гоголя не ездить, а испытать все средства, чтоб приучить себя писать в Москве. Гоголь отвечал ему, что он именно то и делает и проживет в Москве донельзя. Вера, при которой происходил этот разговор, сказала Гоголю, что никак не должно доводить донельзя, а лучше уехать немедленно.

Я с огорчением и неудовольствием узнал об этом. Все делалось как-то неясно, неоткровенно, непонятно для меня, и моя дружба к Гоголю тем оскорблялась. Теперь я вижу, что в этом виноват был я более всех, что я невнимательно смотрел на положение Гоголя, легкомысленно осуждал его, недостаточно показывал к нему участия, а потому и не пользовался его полной откровенностью. У меня всегда было правило — не навязываться с своим участием, не домогаться ничьей откровенности. Такое правило решительно иногда бывает ложно, а с Гоголем более ложно, чем с кем-нибудь. Будучи сам плохим христианином, я с неудовольствием и недоверчивостью смотрел на религиозное направление Гоголя. Вероятно, это было главною причиною, почему он не открывался мне в своих намерениях. Если б я с любовью и горячностью приставал к Гоголю с расспросами, если б я заставлял его быть с собою откровенным с самого приезда в Москву, то, вероятно, я мог бы не допустить до огромного размера его неудовольствий с Погодиным, и тогда, может быть, Гоголь не уехал бы из России, по крайней мере так скоро.

Через несколько дней, перед вечером, уезжал я в клуб, и все меня провожали до передней; вдруг входит Гоголь с образом спасителя в руках и сияющим, просветленным лицом. Такого выражения в глазах у него я никогда не видывал. Гоголь сказал: «Я все ждал, что кто-нибудь благословит меня образом, и никто не сделал этого; наконец, Иннокентий благословил меня [107], теперь я могу объявить, куда я еду: ко гробу господню». Он провожал Иннокентия, и тот, прощаясь с ним, благословил его образом. Иннокентию, как архиерею, весьма естественно было благословить Гоголя образом; но Гоголь давно желал, чтоб его благословила Ольга Семеновна, а прямо сказать не хотел. Он все ожидал, что она почувствует к этому влечение, и даже сам подговаривался; но Ольга Семеновна не догадывалась, да и как было догадаться. Признаюсь, я не был доволен ни



Обложка первого издания «Мертвых душ», рисованная Н. В. Гоголем.

просветленным лицом Гоголя, ни намерением его ехать ко святым местам. Все это казалось мне напряженным, нервным состоянием и особенно страшным в Гоголе как в художнике,— и я уехал в клуб. Без меня было много разговоров об этом предмете, и особенно Вера приставала к Гоголю со многими вопросами, которые, как мне кажется, не совсем были ему приятны. Например, на вопрос: «С каким намерением он приезжал в Россию: с тем ли, чтоб остаться в ней навсегда, или с тем, чтоб так скоро уехать?» — Гоголь отвечал: «С тем, чтоб проститься». Всем известно, что и письменно и словесно Гоголь высказывал совсем другое намерение. На вопрос, надолго ли едет он, Гоголь отвечал различно. Сначала сказал, что уезжает на два года, потом, что на десять, и, наконец, что он едет на пять лет. Ольга Семеновна сказала ему, что теперь она ожидает от него описания Палестины, на что Гоголь отвечал: «Да, я опишу вам ее, но для того мне надобно очиститься и быть достойну». Через несколько времени он ушел *, оставя образ у нас, и взял его уже на другой день.

В первых числах мая приехала мать Гоголя с его сестрой Анютой, чтоб взять с собой Лизу, которая целый год жила у Раевской, и чтоб проститься с сыном, который, вероятно, уведомил ее, что уезжает надолго. Она остановилась также у Погодина.

1 мая вот что случилось: Гоголь у нас обедал, после обеда часа два сидел у меня в кабинете и занимался поправкою корректур, в которых он не столько исправлял типографические ошибки, сколько занимался переменою слов, а иногда и целых фраз. Корректур был огромный сверток. Гоголь не успел их кончить, потому что условился ехать вместе с Шевыревым на гулянье, а Константин уехал ранее с Боборыкиным [108]. В шесть часов мы дали Гоголю лошадь, и он отправился к Шевыреву, поручив мне спрятать и запереть корректуры так, чтоб их никто не видал. Зная, что Гоголь должен воротиться очень поздно и что в этот вечер никто нам не помешает, мы расположились в моем кабинете, и я начал читать вслух именно те главы «Мертвых душ», которых мое семейство еще не знало. Только что мы расчитались, как вдруг Гоголь въехал на двор... Сделалась страшная суматоха, и мы едва успели скрыть наше преступление. Мы переконфузились не на шутку, потому что очень боялись

* В этот день вечером он хотел было идти к Дмитриеву, у которого очень давноне бывал по пятницам; но он был так расстроен, или, лучше сказать, так проникнут высоким настроением, что не имел силы идти на скучный вечер, где собирались нестерпимо скучные люди. Дмитриев, несмотря на свой замечательный ум, никогда вполне не понимал Гоголя.

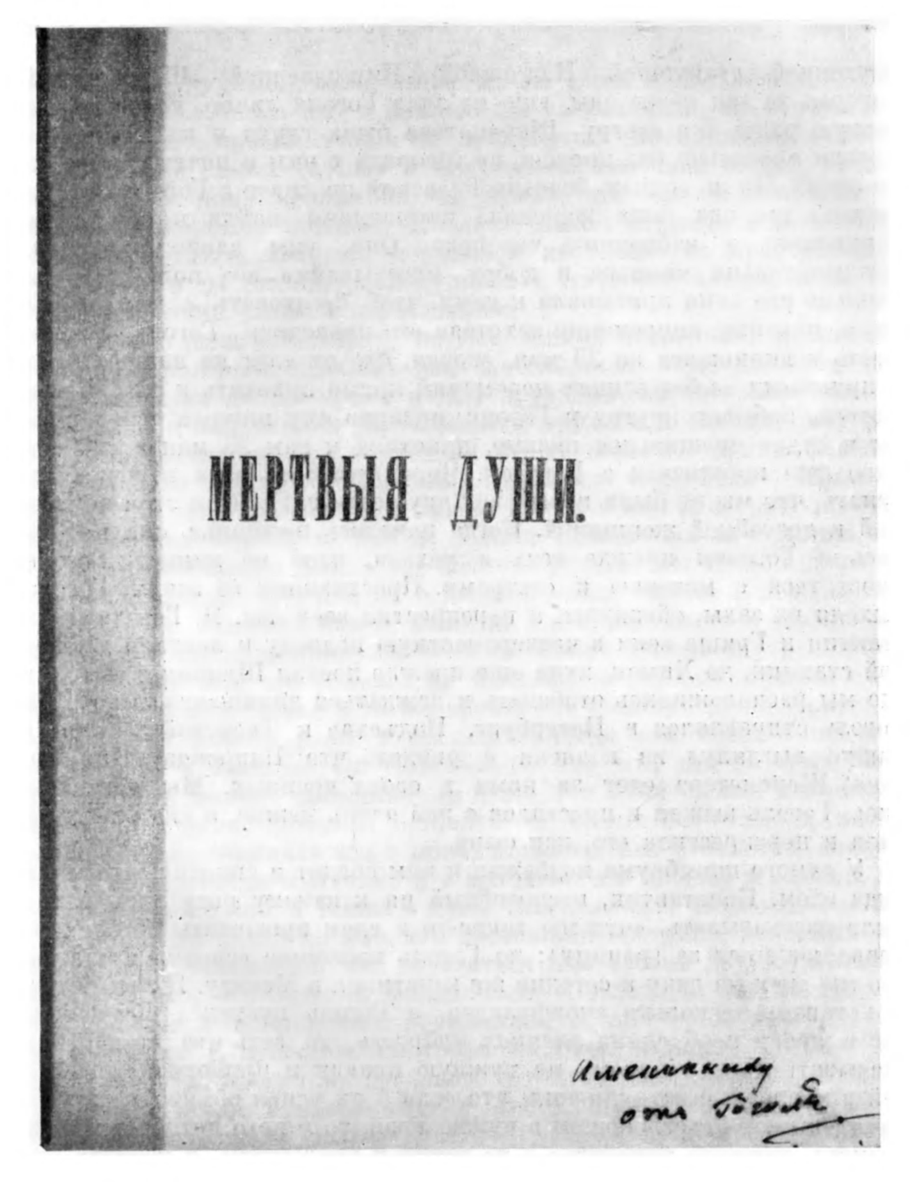
рассердить или, лучше сказать, огорчить Гоголя; по счастью, он ничего не заметил. Он приехал в большой досаде на Шевырева, который не подождал его пяти минут и уехал один, ровно в шесть часов. Поболтав кой о чем с нами и продолжая жаловаться на немецкую аккуратность Шевырева, Гоголь хотел было уже опять засесть за свои корректуры, как вдруг приехала карета четверкой в ряд, которую из Сокольников прислала Кат⟨ерина⟩ Алекс⟨андровна⟩ Свербеева и приказала убедительно просить Гоголя к ним в палатку. Она узнала от Шевырева, что он не подождал Гоголя и что Гоголь у нас. Гоголю не очень хотелось ехать, ему казалось уже поздно, но мы его уговорили, и он уехал.

Перед своими именинами, по случаю прекрасной погоды, еще до приезда матери, Гоголь пригласил к себе в сад некоторых дам и особенно просил, чтоб приехала Ольга Семеновна с Верой. В шесть часов вечера Ольга Семеновна с Верой и Лизой отправились к Гоголю; он встретил их на террасе и изъявил сожаление, «что они не приехали раньше, что так было хорошо, а теперь уже солнце садится». Они сошли в сад и гуляли вместе. Вскоре приехали Катер⟨ина⟩ Алекс⟨андровна⟩ Свербеева и Авд⟨отья⟩ Петр⟨овна⟩ Елагина. Гоголь был очень смешон в роли хозяина, и даже жалко было на него смотреть, как он употреблял всевозможные усилия, чтоб занимать приехавших дам. Ол⟨ьга⟩ Сем⟨еновна⟩, Авд⟨отья⟩ Петр⟨овна⟩ и жена Погодина[109] сели в саду у чайного стола, а Гоголь с Кат⟨ериной⟩ Алекс⟨андровной⟩ и за ними Лиза с Верой пошли гулять. Гоголь употреблял все усилия, чтоб занимать свою спутницу, которую можно было занимать только светской болтовней, как он думал. Две девушки шли за ними и посмеивались. Истощив, наконец, как видно, весь свой запас, Гоголь прибегал, например, к следующим разговорам: «Хорошо, если б вдруг из этого дерева выскочил хор песельников и вдруг бы запел», и тому подобным в этом роде. Все было вяло, принужденно и некстати; но спутница его считала долгом находить все очень любезным и забавным и очень привлекательно улыбалась; я слышал потом, как Сверб⟨еева⟩ говорила, что Гоголь был чрезвычайно любезен и остроумен. Наконец, пошли пить чай; сделалось холоднее. Гоголь подавал всем дамам салопы и услуживал как умел. После чаю воротились в комнату; тут Гоголь, для той же цели, принялся рассказывать всякий вздор и пустяки об водяном лечении Присница[110], чему дамы очень смеялись, хотя, правду сказать, тут ничего не было смешного, потому что слышалось тяжелое принуждение, которое делал себе Гоголь. Ол⟨ьга⟩ Сем⟨еновна⟩ и Вера не могли не заметить, что он был очень доволен, когда уехали Елагина и Свербеева. Проводя их, он сел в угол дивана, как человек,

исполнивший свой долг и довольный, что может отдохнуть. Тут он был совершенно свободен, расспрашивал их про недавно бывший вечер у Хомякова, именно о том, что там делалось после его ухода, про Одоевского, про Боборыкина, которые всегда его забавляли. Наконец, когда сделалось уже совершенно темно, Ол⟨ьга⟩ Сем⟨еновна⟩ и Вера уехали. 9 мая сделал Гоголь такой же обед для своих друзей в саду у Погодина, как и в 1840 году. Погода стояла прекрасная: я был здоров, а потому присутствовал вместе со всеми на этом обеде. На нем были профессора: Григорьев (проездом случившийся в Москве), Армфельд, Редкин и Грановский [111]. Был Ст⟨епан⟩ Вас⟨ильевич⟩ Перфильев (особенный почитатель Гоголя), Свербеев, Хомяков, Киреевский, Елагины, Нащокин [112] (известный друг Пушкина, любивший в нем не поэта, а человека, чем очень дорожил Пушкин), Загоскин, Павлов, Самарин, Константин, Гриша и многие другие из общих наших знакомых. Обед был шумный и веселый, хотя Погодин с Гоголем были в самых дурных отношениях и даже не говорили, чего, впрочем, нельзя было заметить в такой толпе. Гоголь шутил и смешил своих соседей. После обеда Гоголь в беседке сам приготовлял жженку, и когда голубоватое пламя горящего рома и шампанского обхватило и растопляло куски сахара, лежащего на решетке, Гоголь говорил, что «это Бенкендорф [113], который должен привесть в порядок сытые желудки». Разумеется, голубое пламя и голубой жандармский мундир своей аналогией подали повод к такой шутке, которая *после обеда* показалась всем очень забавною и возбудила общий громкий смех. Не помню, тут ли был Перфильев.

Печатанье «Мертвых душ» приходило к концу, и к отъезду Гоголя успели переплесть десятка два экземпляров, которые ему нужно было раздарить и взять с собой. Первые совсем готовые экземпляры были получены 21 мая, в день именин Константина, прямо к нам в дом, и тут же Гоголь подарил и подписал один экземпляр имениннику [114], а другой нам с надписью: «Друзьям моим, целой семье Аксаковых». У нас было довольно гостей, и все обедали в саду. Были Погодин и Шевырев. Это был в то же время прощальный обед с Гоголем. Здесь он в третий раз обещал, что через два года будет готов второй том «Мертвых душ», но приехать для его напечатанья уже не обещал. Семейство Гоголя бывало у нас очень часто, почти всякий день. Мать его также собиралась ехать и брала с собой вторую свою дочь Лизу, которая во время пребывания своего у Раевской много переменилась к лучшему, чем Гоголь был очень доволен.

Во время еще пребывания своей сестры у Раевской, месяца за два до отъезда, у нее в доме Гоголь познакомился короче с одной


МЕРТВЫЯ ДУШИ.

Имениннику

отъ Гоголя.

Шмуцтитул первого издания «Мертвых душ» с дарственной надписью Н. В. Гоголя К. С. Аксакову.

Музей «Абрамцево» АН СССР

почтенной старушкой, Над⟨еждой⟩ Ник⟨олаевной⟩ Шереметевой, которая за год перед сим, еще не зная Гоголя лично, упросила Раевскую взять его сестру. Шереметева была глуха и потому, видев Гоголя несколько раз прежде, не говорила с ним и почти совсем его не знала. Но по случаю болезни Раевской просидев с Гоголем наедине часа два, она была поражена изумлением, найдя в нем горячо верующего и набожного человека. Она, уже давно преданная исключительно молитве и добру, чрезвычайно его полюбила, несколько раз сама приезжала к нему, чтоб беседовать с ним наедине, и, наконец, непременно захотела его проводить. Гоголь, взявши место в дилижансе на 23 мая, сказал, что он едет из нашего дома, и пригласил ее без всяких церемоний прямо приехать к нам. Шереметева, побывав поутру у Гоголя, подарив ему шнурок своей работы и отдав прощальное письмо, приехала к нам 23 мая в субботу, чтоб еще проститься с Гоголем. Через четверть часа нельзя было узнать, что мы не были целый век дружески знакомы с этой почтенной и достойной женщиной. Когда началось прощанье, она простилась с Гоголем прежде всех и уехала, чтоб не мешать Гоголю проститься с матерью и сестрами. Простившись со всеми, Гоголь, выходя из залы, обернулся и перекрестил всех нас. Я, Гоголь, Константин и Гриша сели в четвероместную коляску и поехали до первой станции, до Химок, куда еще прежде поехал Щепкин с сыном и где мы расположились отобедать и дождаться дилижанса, в котором Гоголь отправлялся в Петербург. Подъехав к Тверской заставе, я как-то выглянул из коляски и увидел, что Над⟨ежда⟩ Ник⟨олаевна⟩ Шереметева едет за нами в своих дрожках. Мы остановились, Гоголь вышел и простился с ней очень нежно, а она благословила и перекрестила его, как сына.

У самого шлагбаума подбежал к нам солдат и спросил: кто мы и куда едем. Константин, неспособный ни к какому роду лжи, начал было рассказывать, «что мы такие-то и едем провожать Гоголя, отправляющегося за границу»; но Гоголь поспешно вскочил и сказал, что мы едем на дачу и сегодня же воротимся в Москву. Я засмеялся, Константин несколько сконфузился, а Гоголь пустился объяснять, что в жизни необходима *змеиная мудрость,* то есть что не надобно сказывать иногда никому не нужную правду и приводить тем людей в хлопоты и затруднения; что если б он успел объявить о путешественнике, отъезжающем в чужие края, то у него потребовали бы паспорт, который находился в то время у кондуктора, в конторе дилижансов, и путешественника бы не пропустили.

Потом Гоголь обратился ко мне с просьбами старательно вслушиваться во все суждения и отзывы о «Мертвых душах», пред-

почтительно дурные, записывать их из слова в слово и все без исключения сообщать ему в Италию. Он уверял меня, что это для него необходимо, просил, чтоб я не пренебрегал мнениями и замечаниями людей самых глупых и ничтожных, особенно людей, расположенных к нему враждебно; он думал, что злость, напрягая и изощряя ум самого пошлого человека, может открыть в сочинении такие недостатки, которые ускользали не только от пристрастных друзей, но и от людей, равнодушных к личности автора, хотя бы они были очень умны и образованны.

В такого рода разговорах, но без всяких искренних, дружеских излияний, которым, казалось бы, невозможно было не быть при расставанье на долгое время между друзьями, из которых один отправлялся с намерением предпринять трудное и опасное путешествие ко святым местам,— доехали мы до первой станции (Химки, в тринадцати верстах от Москвы). Мих⟨аил⟩ Сем⟨енович⟩ Щепкин, приехавши туда прежде нас с сыном, пошел к нам навстречу и точно встретил нас версты за две до Химок. Приехавши на станцию, мы заказали себе обед и пошли все шестеро гулять. Мы ходили вверх по маленькой речке, бродили по березовой роще, сидели и лежали под тенью дерев, говорили как-то мало, не живо, не связно и вообще находились в каком-то принужденном состоянии. Гоголь внутренно был чрезвычайно рад, что уезжает из Москвы, но глубоко скрывал свою радость. Он чувствовал в то же время, что обманул наши ожидания и уезжает слишком рано и поспешно, тогда как обещал навсегда оставаться в Москве. Он чувствовал, что мы, для которых было закрыто внутреннее состояние его души, его мучительное положение в доме Погодина, которого оставить он не мог без огласки, имели полное право обвинять его в причудливости, непостоянстве, капризности, пристрастии к Италии и в холодности к Москве и России. Он читал в моей душе, а также в душе Константина, что после тех писем, какие он писал ко мне, его настоящий поступок, делаемый без искренних объяснений, мог показаться мне весьма двусмысленным, а сам Гоголь — человеком фальшивым. Последнего мы не думали, но, конечно, с неприятным изумлением и некоторою холодностью, в сравнении с прежним, смотрели на отъезжающего Гоголя. Мы воротились с прогулки, довольно скучной, сели обедать, выпили здоровье Гоголя привезенным с собой шампанским и, сидя за столом, продолжали разговаривать о разных пустяках до приезда дилижанса, который явился очень скоро. Увидав дилижанс, Гоголь торопливо встал, начал собираться и простился с нами, равно как и мы с ним, не с таким сильным чувством, какого можно было ожидать. Товарищем Гоголя в купе опять случился военный, с иностранной

фамилией, кажется немецкой, но человек необыкновенной толщины. Гоголь и тут, для предупреждения разных объяснений и любопытства, назвал себя *Гонолем* и даже записался так, предполагая, что не будут справляться с его паспортом.

Хотя я давно начинал быть иногда недоволен поступками Гоголя, но в эту минуту я все забыл и чувствовал только горесть, что великий художник покидает отечество и нас. Горькое чувство овладело мною, когда захлопнулись дверцы дилижанса; образ Гоголя исчез в нем, и дилижанс покатился по Петербургскому шоссе. В то же время, как мы отправились провожать Гоголя, его мать с дочерьми и Ольга Семеновна, также с дочерьми, отправились в двух экипажах к Троице помолиться богу. Марья Ивановна была очень огорчена: сердце матери предчувствовало долгую разлуку.

Из всего рассказанного мною очевидно, что в этот приезд Гоголя я не был доволен им так, как в первый приезд, хотя по его письмам должно было ожидать, что взаимная дружба наша сделается гораздо сильнее. Повторяю, что, несмотря на некоторые необъяснимые поступки Гоголя, я обвиняю в этом себя. Мне должно было вмешаться в его неудовольствия с Погодиным, стать между ними посредником и судьей. Не надобно было смотреть на то, что Гоголь скрывал их; по рассказам Погодина я должен был понять, как страдал Гоголь. Если б нельзя было уладить их неприятности, то надобно было так устроить, чтоб Гоголь не жил с ним вместе. Здесь кстати сказать, что, возвращаясь в Россию если не навсегда, то надолго, Гоголь не имел намерения жить у Погодина: он хотел жить вместе с Н. М. Языковым [115], который по болезни не мог тогда еще воротиться в Россию. Впрочем, и то надо сказать, что впоследствии Гоголь жил вместе с Языковым в чужих краях, но не ужился, и, конечно, в этом должно обвинять не Языкова, у которого был характер очень уживчивый. Причиною неудовольствия был крепостной лакей Ник⟨олая⟩ Мих⟨айловича⟩, который ходил за ним во все время болезни усердно, пользовался полной доверенностью своего господина и, по его болезни, полновластно распоряжался домашним хозяйством; Гоголь же захотел сам распоряжаться и вздумал нарушать разные привычки и образ жизни больного. Так по крайней мере говорили братья Языкова, к которым будто он писал сам, а также и его доверенный лакей. Когда приехал Языков на житье в Москву, я спрашивал его об этом, но он отвечал мне решительно, что это совершенный вздор и что никаких неудовольствий между ним и Гоголем не бывало. Нельзя предположить, чтоб братья Языкова выдумали эту историю, но, вероятно, преувеличили, основываясь не на письмах брата, а на письмах его камердинера. Ник⟨олай⟩ Мих⟨айлович⟩ Языков до

кончины своей показывал искреннюю и горячую привязанность к Гоголю. Как бы то ни было, успел ли бы я или нет в своих действиях,— вина состоит в том, что я их не начинал, что все это пришло мне в голову гораздо позже.

Вскоре после отъезда Гоголя «Мертвые души» быстро разлетелись по Москве и потом по всей России. Книга была раскуплена нарасхват. Впечатления были различны, но равносильны. Публику можно было разделить на три части. Первая, в которой заключалась вся образованная молодежь и все люди, способные понять высокое достоинство Гоголя, приняла его с восторгом. Вторая часть состояла, так сказать, из людей озадаченных, которые, привыкнув тешиться сочинениями Гоголя, не могли вдруг понять глубокого и серьезного значения его поэмы; они находили в ней много карикатуры и, основываясь на мелочных промахах, считали многое неверным и неправдоподобным. Должно сказать, что некоторые из этих людей, прочитав «Мертвые души» во второй и даже в третий раз, совершенно отказались от первого своего неприятного впечатления и вполне почувствовали правду и художественную красоту творения. Третья часть читателей обозлилась на Гоголя. Она узнала себя в разных лицах поэмы и с остервенением вступилась за оскорбление целой России. К сожалению, должно сказать, что некоторые добрые и хорошие люди принадлежали к этой категории и остались в ней навсегда.

Распродажей «Мертвых душ» заведовал Шевырев и по мере выручки денег расплачивался с долгами.

Мы довольно скоро переехали на дачу. Там перечел я «Мертвые души» вслух своему семейству, прочитывал каждый день по одной главе, и тут только я понял всю великость этого творения. Я открыл в нем много красот, которые ускользнули от меня во время чтения Гоголя и даже моего собственного, всегда отрывочного и не вполне внимательного в суете городской жизни. Мать Гоголя с дочерьми уехала в свою Васильевку, или Яновщину, уже после нашего переезда на дачу. Марья Ивановна с дочерьми провожала нас, когда мы уезжали из Москвы, и простилась с нами очень грустно; особенно плакала Лиза, которую сестра Анюта напугала рассказами о жизни в глуши Малороссии.

Марья Ивановна — женщина необыкновенная. Она так моложава и хороша собой, что дочери кажутся при ней уродами; она вся исполнена самоотвержения и тихой любви к своим детям; она отдала им свое сердце и сама не только не имеет воли, но даже своих желаний, по крайней мере не показывает их. Сына любит она более всего на свете и между тем должна от него почти отказаться, видеть изред-

ка, и то на короткое время. Лицо ее постоянно грустно, особенно после отъезда Николая Васильевича; она плачет мало, но видно, как глубоко огорчена; и между тем говорит, что не надобно грустить: ибо у них есть поверье, что тот человек, о котором грустят, будет оттого грустить больше. Вера очень справедливо пишет в письме к М. Карташевской, что как-то странно видеть мать Гоголя и слышать, как она говорит о нем. Например: *Когда Николенька писал «Мертвые души», он желал только добра людям* и т. п. выражения в этом роде. В самом деле, соединение подчеркнутых мною слов очень странно отзывается в ушах и в уме слушателя. Она, конечно, не может смотреть на него иначе, как на сына, и во всех словах о нем слышится материнское чувство, даже тогда, когда она говорит о нем как о великом писателе. Как она боится того впечатления, которое произведет на целую Россию его новая книга! Она боится неприязненного впечатления только потому, что это может его расстроить и повредить его здоровью. Как интересны все те мелочные подробности, которые она рассказывает про детство своего Николеньки! Например: как он написал один раз какое-то сочинение и поднес ей, а потом сам же тихонько утащил его и, вероятно, истребил, как она подозревает, и пр. и пр. Как она смотрит на портрет сына [116], который он оставил ей и который в самом деле похож чрезвычайно! Как она объясняет то, что выражается на лице его: «Он улыбается,— говорит она,— но вместе с тем он думает грустное; как будто хочет сказать людям: вы ошибаетесь во мне, моя душа чиста и ясна, и много любви в ней». Вера прибавляет, что я советовал М⟨арье⟩ И⟨вановне⟩ записывать все воспоминания о детстве сына (кажется, всего было бы благонадежнее записывать их самим нам), и продолжает так: как любит М⟨арья⟩ И⟨вановна⟩ всех тех, кто принимает участие в ее сыне! Она все старается уверить себя, что он воротится скоро, хотя он сам сказал ей, что это может быть не прежде пяти лет (чего он мне собственно никогда не говорил). Она увидала один раз только что вышедший том «Мертвых душ», лежавший на столе у нас в гостиной; она развернула и прочла: «О моя юность, о моя свежесть...» и залилась слезами. Поразительно было видеть, как по наружности молодая, прекрасная и свежая женщина оплакивала увядшую юность и свежесть своего сына.

10 июня, живя на даче в деревне Гаврилкове, я только что кончил вслух чтение «Мертвых душ», как получил первое письмо от Гоголя из Петербурга.

«СПб. Июня 4.

Я получил ваше письмо еще в начале моего приезда в Петербург, милый друг мой Сергей Тимофеевич. Теперь пишу к вам несколько строк перед выездом. Хлопот было у меня довольно. Никак нельзя было на здешнем бестолковье сделать всего вдруг, кое-что я оканчивать оставил Прокоповичу [117]. Он уже занялся печатаньем. Дело, кажется, пойдет живо. Типографии здешние в день набирают до шести листов, все четыре тома к октябрю выйдут непременно. Экземпляр «Мерт⟨вых⟩ душ» еще не поднесен царю. Все это будет сделано уже по моем отъезде. Обнимаю вас несколько раз. Крепки и сильны будьте душой! ибо крепость и сила почиет в душе пишущего сии строки, а между любящими душами все передается и сообщается от одной к другому, и потому сила отделится от меня, несомненно, в вашу душу. Верующие в светлое увидят светлое, темное существует только для неверующих.

Прощайте, обнимите Константина Сергеевича и передайте мое сердечное рукопожатье Ольге Семеновне, а с ним вместе и всему вашему семейству. Обнимите также всех моих знакомых, всех, кого я видел и с кем был в Москве. Прощайте. Пишите в Гастейн».

Первое мое письмо в Петербург, о котором говорит Гоголь, не нашлось в его бумагах. Печатанье всех его сочинений в четырех частях в числе пяти тысяч экземпляров было поручено школьному товарищу и другу Гоголя, г-ну Прокоповичу. Я его совсем не знаю и никогда не видывал; но дело это он исполнил не совсем хорошо. Во-первых, издание стоило неимоверно дорого, а во-вторых, типография сделала значительную контрфакцию. Когда Шевырев впоследствии, с разрешения Гоголя, вытребовал все остальные экземпляры к себе в Москву, оказалось, что у книгопродавцев в Петербурге, и частью в Москве, находился большой запас «Мертвых душ», не соответствующий числу распроданных экземпляров, так что в течение полутора года ни один книгопродавец не взял у Шевырева ни одного экземпляра, а все получали их из Петербурга с выгодною уступкою. По прошествии же полутора года экземпляры начали быстро расходиться и пересылаться в Петербург.

Теперь следует мое письмо с дачи.

«1842. Июля 3-го, Гаврилково.

Вот уже другой месяц живем мы в прелестной деревушке, милый друг Николай Васильевич! Другой месяц или читаем вас, или говорим о вас! Никому не поверю, чтоб нашелся человек, который мог бы с первого раза вполне понять ваши бессмертные «Мертвые души»!

Я восхищался ими вместе с другими, а может быть, и больше других или по крайней мере многих; но восхищение мое было одностороннее. Некоторые, более выдающиеся (по натуре своей) части закрывали от меня остальное. Это мир божий... Можно ли одним взглядом его рассмотреть? — Какое надобно внимание и разумение, чтоб открыть в нем совершенство творчества в малейших подробностях, по-видимому и не стоящих большого внимания. Признаю торжественно превосходство эстетического чувства в моем Константине! Он понял вас более меня и более всех, сколько мне известно, из прежних ваших творений. Что казалось восторженностью, доходившею до смешного излишества, то стало теперь истиною, понятою еще немногими, но тем не менее непреложной истиной! Конечно, молодое поколение образованных юношей, все без исключения почти, кроме несчастных, лишенных всякого чувства изящного, более и полнее вас поймет, чем сорокалетние и пятидесятилетние люди. Все мы, с некоторыми изменениями, успели засорить свой ум, притупить чувство и не можем вдруг стряхнуть с себя сего ложного воззрения и направления. Константин написал статью, которая печатается в «Москвитянине»: в ней верно и ясно указаны причины, отчего порядочные люди, понимавшие и чувствовавшие других поэтов, не могут вдруг и вполне понять и почувствовать «Мертвые души». Я прочел их два раза про себя и третий раз вслух для всего моего семейства; надобно некоторым образом остыть, чтоб не пропустить красот творения, естественно ускользающих от пылающей головы и сильно бьющегося сердца. Теперь мы с жадностью бросились перечитывать все, написанное вами прежде, по порядку, как оно выходило. Расстояние велико, но элементы уже те! Главное: свежесть, ароматность, так сказать, жизни непостижимые!.. Прочту ли я остальные части «Чичикова»? Доживу ли я до этого счастья? Кроме моего семейства, у меня нет другого, столь высокого интереса в остальном течении моей жизни, как желанье и надежда прочесть два тома «Мертвых душ». А трагедия? [118] Помните ли, что вы говорили мне о ней в Петербурге?.. Вы сами тогда считали ее совершеннейшим своим произведением, хотя она не была написана. Неужели толпа новых лиц, живущая в похождениях Чичикова, вероятно после вами созданная, сгладит образы и характеры лиц драмы, которые тогда (как вы сами выразились) предстояли пред вами живые и одетые в полные костюмы *до последней нитки?* Но да будет, что угодно богу. Да сохранит он только вас здрава и невредима.

Я получил ваше письмецо из Петербурга от 4 июня. Вы намеревались выехать из него ранее, чем предполагали; по крайней мере я помню, что поднесение экземпляров назначаемо было при вас; мы

еще не имеем точного известия, когда именно выехали вы из этого северного Вавилона. Сердечно вас благодарю, милый друг, за то, что вы побывали у Карташевских; особенно благодарит вас Вера: вы доставили ей истинное удовольствие, давши взглянуть на себя ее другу, Машеньке Карташевской. Эта необыкновенная девушка превзошла все мои ожидания! Как ни высоко я ценил ее эстетическое чувство, но не мог предполагать, чтоб она могла так понять и почувствовать «Мертвые души». Она удивила и восхитила меня своим письмом. Не много таких прекрасных существ можно встретить не только в Петербурге, но и в Москве и в целой православной Руси.

Я обещал вам записывать разные толки о Чичикове; я сделал это, сколько мог успеть, ибо через неделю мы уехали из Москвы. Вот они: выписываю их с дипломатическою точностью. С. В. П⟨ерфилье⟩в сказал мне: «Не смею говорить утвердительно, но признаюсь: «Мертвые души» мне не так нравятся, как я ожидал. Даже както скучно читать; все одно и то же; натянуто; видно желание перейти в русские писатели; употребление руссицизмов вставочное, не выливается из характера лица, которое их говорит». Он прочел залпом в один день. Я просил его через несколько времени прочесть в другой раз и не искать анекдота. Он хотел прочесть три раза. Уходя, он прибавил, что сальности в прежних сочинениях, даже в «Ревизоре», его не оскорбляли; но что здесь они оскорбительны, потому что как будто нарочно вставляются автором.

Н. И. В — в * говорил, «что состав губерского общества неверен (как и в «Ревизоре», где пропущены: стряпчий, казначей и исправник); что председателей двое, полицмейстер лицо ничтожное в губернском городе; что, представив сначала все в дрянном и смешном виде, странно сделать такое горячее обращение к России; что часто шутки автора плоски, неблагопристойны и что порядочной женщине нельзя читать всю книгу». Наконец, нашелся один, который обиделся следующими словами: *Посмотрим, что делает наш приятель?* «И кто же этот приятель?.. Селифан или половой!.. Что же они мне за приятели?..» Не сочтите за выдумку последнего выражения — все правда до последней буквы. Есть, впрочем, обвинения и справедливые. Я очень браню себя, что одно просмотрел, а на другом мало настаивал: крестьяне на вывод продаются с семействами, а Чичиков отказался от женского пола; без доверенности, выданной в присутственном месте, нельзя продать чужих крестьян, да и председатель не может быть в одно и то же время и доверенным лицом и присутствующим по этому делу.

---

* На полях рукописи рукою И. С. Аксакова: «Н. И. Васильев» [119].— *Ред.*

Несмотря на лето, «Мертвые души» расходятся очень живо и в Москве и в Петербурге. Погодину отдано уже четыре тысячи пятьсот; в непродолжительном времени и другие получат свои деньги (забавно, что никто не хочет получить первый, а всякий желает быть последним).

5 июля.

Вчера получил Константин письмо от Погодина, который отказывается напечатать его статью о «Мертвых душах», хотя она уже была набрана; будучи сам слеп, боится, что осмеют человека зрячего... Ох, уж эти мне друзья, которые, не понимая хорошенько, вступают не в свое дело и присваивают себе не принадлежащие им права. Константин напечатает свою статью особой брошюркой. Вы знаете, милый друг, что я не допустил бы Константина печатать восторженный вздор; напротив, эта статья указывает истинную точку, с которой надобно смотреть на ваше творение, и открывает причины, почему красоты его не вдруг могут быть доступны испорченному эстетическому чувству большей части людей.

Погодин, наконец, третьего дни получил отпуск и скоро уезжает.

Банкир ваш, Валентини, умер, итак пришлите мне немедленно ваш адрес в Рим. Жена моя не дождалась моего письма и писала к вам на прошедшей неделе.

Я теперь совершенно предался наслаждениям деревенской жизни. Местоположение у нас чудесное, дожди и грозы всякий день, но мимолетные, после которых еще свежее зелень, еще чище воздух, еще ароматнее цветы и травы. Всякий день встаю в четыре часа утра и спешу удить: и река и пруды у самого дома. Пекусь на солнце часу до одиннадцатого и бросаюсь в реку, чтоб прохладиться и освежиться. До обеда немного вздремну, до вечера сижу и гуляю с своими, а вечером опять удить. Я точно уехал за тысячу верст: ни с кем не вижусь, ни во что не вхожу и ни с кем не переписываюсь... Письмо к вам, милый друг, исключение! С вами я не расстаюсь ни на один час, также и все мое семейство. Желание поговорить с вами не оставляло меня ни на минуту; но я слишком полон был сильных чувств и потому нарочно мешкал несколько времени.

Грустно мне, когда вздумаю, что время вашего возвращения так далеко... Когда мы вас дождемся?.. Много воды утечет в продолжение почти трех лет!.. А кто знает, велик ли запас ее! Притом какое длинное, трудное, со многими опасностями сопряженное путешествие! Часто я думаю, думаю и никак не могу объяснить себе причины этого последнего вашего путешествия. Неправда ли, милый друг, у вас не было и помышления о нем, когда вы воротились в Москву?

Оно родилось мгновенно? По крайней мере я не подозревал его. По моему свойству и правилам я никогда не навязываюсь на доверенность друзей своих; потому не спрашивал и вас о причинах такой быстрой перемены, хотя бы поражен ею... Теперь же меня это беспокоит. Может быть, вы желали мне сказать о них и ожидали только моего вопроса; может быть, мое молчание вы растолковали в другую сторону и — жестоко ошиблись!.. Как бы я желал, чтоб срок вашего отсутствия сократился и чтобы мы увидели вас скорее, опять посреди нашего семейства, которое все без исключения привязано к вам, как к ближайшему родному.

Сейчас получили письмо от Лизы. Маменька ваша и сестрицы доехали хотя не скоро, с хлопотами и убытками, но благополучно; они, верно, к вам пишут. Всем нам очень жаль Лизу: она будет скучать, и ей не сладиться с тамошней, деревенской жизнью.

Константин будет к вам писать особо и скоро; но я не стал его дожидаться, потому что крепко захотелось перемолвить с вами словечко. К нам приехал третий и последний ваш сын [120]; часто бывает горько на душе, что уже не дождемся возвращения четвертого... Прощайте, милый, сердечный друг наш! Поминайте нас так же часто, как мы вас — чаще этого нельзя. Я предлагал Погодину, сейчас после вашего отъезда, заплатить весь ваш долг, но он отказался. Если вам понадобятся деньги, то, чур, ни к кому, кроме меня, не писать. Обнимаю вас крепко и долго. Да сохранит вас милосердный бог для всех вообще и для нас особенно!

Ваш до гроба *С. Аксаков.*

Мы все благодарим вас сердечно за приписку верхней строчки в нашем экземпляре «Мертвых душ». Погодин едет завтра. Все вас обнимают. Я был два раза у Шереметевой; она вас помнит и любит сильно».

Статья Константина, о которой говорится в этом письме, была принята Погодиным в журнал без всякого сопротивления, но его сбил Шевырев. Погодин очень боялся, что мы с Константином осердимся за его отказ напечатать статью, и написал об этом большое письмо ко мне, но оно затеряно; я отвечал очень ласково, что, может быть, он, как журналист, обязанный заботиться о выгодах журнала,— поступает очень благоразумно, не помещая статьи, которая, разумеется, озлобит всех недоброжелателей Гоголя. Я умолчал о том, что мы намерены напечатать статью особой брошюркой, и уверял его, что Константин не питает никакого неудовольствия, что и было совершенно справедливо. Погодин очень обрадовался и написал к нам

пренежную записку, в которой расхвалил Константина за его скромность и кротость. Погодин немедленно уехал за границу и, уже будучи в Париже, получил известие, что статья Константина напечатана. Ниже я приложу выписки из письма Погодина.

С. В. Перфильев исполнил свое обещание, прочел «Мертвые души» три раза и оценил их по достоинству. В словах моих, что отсутствие Гоголя может продолжаться *почти три года,* заключается ясное доказательство, что он никогда не говорил мне о своем отъезде на пять лет. Здесь кстати сказать несколько слов о брошюрке Константина. Погодин не ошибся в том, что она будет принята всеми враждебно. Статья называлась: «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души»». Как только она вышла из печати, все журналисты, все неприятели и даже почти все приятели Гоголя, говоря буквально, взбесились. Град ругательств, злобных насмешек и всякого рода оскорблений посыпался печатно и письменно па Константина. Раздражение было так велико, что сначала не было возможности ни с кем спорить. Я ожидал восстания, но не всеобщего и не в такой степени неистового. Я был так удивлен им, что даже на некоторое время усумнился в справедливости моего собственного взгляда и суда. Двенадцать уже лет прошло этому событию; не один раз перечитал я эту брошюру с искренним желанием найти в ней справедливые причины общего раздражения. Собираясь писать эти строки, я еще раз прочел ее и не нахожу ничего, что могло бы оправдать волнение, ею произведенное. Раздавался общий крик, что Константин назвал Гоголя Гомером, что совершенная неправда. Константин сказал только, что *у Гоголя есть эпическое созерцание, древнее, истинное, какое было и у Гомера.* Я спрашиваю по совести каждого: значит ли это, что Гоголь равен Гомеру, что он Гомер? Бесновавшийся тогда Шевырев сам через несколько лет переврал в одной из своих статей именно эту самую мысль Константина, а потом и еще кто-то в одном из петербургских журналов повторил эту же мысль — и никто не обратил даже внимания на них. Этот общий неистовый гнев есть психологическое явление, остающееся неразгаданным: ⟨оно⟩, без сомнения, явилось законно, и было бы любопытно объяснить его законность. Гоголь также остался недоволен появлением брошюры Константина, осуждая не столько ее смысл, как то, что она появилась не вовремя, в минуту общего недоуменья, поражения, так сказать, произведенного «Мертвыми душами», когда большинство публики, оскорбленное, раздраженное восторгами поклонников Гоголя, не знало, что делать: хвалить или бранить? Первого не хотелось делать, на второе не смели вдруг решиться. Брошюра Константина как будто развязала им язык, и скрываемая многими злоба на Гоголя излилась сна-

чала на сочинителя брошюры, а потом и на творца поэмы. В этом отношении Гоголь был совершенно прав. Брошюра наделала ему много зла. Нашелся, однако, один добросовестный человек, П. А. Плетнев, который, в издаваемом им журнале «Современник», отозвался с большою похвалою и уважением о статье Константина.

К письму моему к Гоголю, приведенному выше от 3-го и 5 июля, были приложены выписки из писем Машеньки Карташевской о «Мертвых душах», которые я считаю за нужное приложить здесь как факт, вполне выражающий то впечатление, которое произвела поэма Гоголя на человеческую душу, одаренную поэтическим чувством.

Выписки из писем Карташевской.

«6 июня.

Сегодня мы дочитали «М⟨ертвые⟩ д⟨уши⟩». Боже мой, что это за совершенство! Я не могу передать тебе, как много я была поражена чтением этой поэмы! Как можно было создать с таким совершенством все характеры этого романа и среди этой пошлой, бесцветной ничтожности отделить всякого такими резкими отличительными чертами. Что это за разговоры! и что за восхитительные места везде, где автор говорит сам от себя!.. Я перечитывала их по нескольку раз и даже не могла удержаться, чтоб иных мест не прочесть Ванечке [121]; я просила его передать тебе, в каком я полном восхищении! Я даже просила его позволения означить карандашом те места, которые особенно превосходны. Делая это, я воображала, что передам тебе хотя отчасти свои впечатления и что, когда ты взглянешь на эти отмеченные листочки и перечтешь их, мы как будто перечтем их вместе. Воображаю, в каком вы были восхищении! Мне кажется, что только после этого сочинения вполне начинаю я понимать, что такое Гоголь и что это за талант».

Из конца того же письма:

«Вот и здесь (в деревне) скоро и жадно прочиталась поэма Гоголя. Это было чтение всеобщее. Любопытно слушала его и Надя [122]. Я както предчувствовала, что Гоголь не просто едет за границу в Италию, что не эта страна отнимает его у нас; но я не знала ничего, потому что ты не писала мне, что он едет в Палестину. Можно вообразить, как он опишет эту страну! Еще скажи мне, написаны ли уже другие две части «М⟨ертвых⟩ д⟨уш⟩» и скоро ли мы можем надеяться прочитать их? Что будет в них, как выше всякого выражения будет то

удовольствие, которое обещает он нам! Как велики должны быть наши надежды, когда он сам объявляет, что *явятся чудные образы, и все повергнется в прах»*.

«16 июня.

Как верно угадала я, еще из предыдущего твоего письма, что ты, не сознавая, может быть, сама, боишься, что я не почувствую всего удивительного совершенства «М⟨ертвых⟩ д⟨уш⟩». Ты думала, что они ускользнут от моего внимания, и между тем стараешься сама найти мне оправдание, говоря, что все достоинство этого сочинения не может быть постигнуто сразу. Вот что говорят твои строки и чего, может быть, ты не знаешь сама... И мысль, что «М⟨ертвые⟩ д⟨уши⟩» не произведут во мне должного удивления, должна была тебе прийти, потому что совсем не так слушала я «Ревизора» и не таково было впечатление на меня этой пиесы, и ты это знала! Этому причиною были совсем другие обстоятельства. Не знаю, передало ли мое предыдущее письмо то глубокое впечатление, которое произвело на меня это сочинение; я чувствую, что полный отчет отдать в нем было бы трудно. Только поверь мне, что я ценю его так высоко, как должно, и что ни одна мелочная подробность из разговоров всех этих ничтожных людей, а еще менее ни одно из тех восторженных, как ты говоришь, мест, где говорит Гоголь сам от себя, не прошло незамеченным, не почувствованным мною. Ах, как приятно и в разлуке знать, что чувства наши были одинаковы» и проч.

Вот вам точные выписки: выкинуты только нежные названия. Хотел было выбрать из других писем, но устал писать. Обнимаю вас, милый друг, крепко и горячо. Я лучше себя чувствую и привыкаю понемногу».

Погодин писал ко мне из Парижа от 1 октября:

«Как горько было мне услышать, что Константин напечатал свою статью о Гоголе! Как досадно мне было на вашу слабость! Неужели и в вас недостало столько литературной доверенности ко мне, чтоб согласиться со мною, что статья не годится для печати в первом виде? Неужели я не напечатал ее без основания? Неужели легко мне было прислать ее назад? Неужели не рад бы я был всякому успеху Константина?» и проч. и проч.

Теперь следует письмо Гоголя, полученное мною 11 августа.

«Гастейн. Июля 27/15.

Здоровы ли вы, Сергей Тимофеевич, и что делаете со всеми вашими? Напишите мне об этом две-три строчки: это мне нужно. Вы, верно, знаете и чувствуете, что я об вас думаю часто. Из Москвы никто не догадался написать мне в Гастейн, и я слышу чрез то какую-то пустоту, которая мне несколько мешает вдыхать в себя полную жизнь.

Я пробуду в Гастейне вместе с Языковым еще недели три, и в конце августа хотим ехать вместе в Венецию, где пробудем недели две, если не больше, и потому вы адресуйте, если почувствуете благодатное желание писать, прямо в Венецию, Poste restante. Напишите мне все: как вы проводите время, хороша ли дача, хороша ли рыбная ловля и веселятся ли как следует ваши дети. Ольге Семеновне скажу, что буду писать к ней, что предмет письма очень светел, и потому прошу ее быть как можно светлее до самого получения письма.

Да, кстати о письмах. Пошлите кого-нибудь на квартиру Нащокина (у Старого Пимена, в доме Ивановой) узнать, получено ли им письмо мое. Письмо это очень нужно [123] и касается прямо его дела, а потому мне хотелось бы, чтобы оно было получено во всей исправности.

А моему милому Константину Сергеевичу напишу тоже письмо, несколько нужное для нас обоих.

Сделайте милость, обнимите всех, кого увидите из моих знакомых. Если Павловы точно едут [124], то вы мне сделаете большую услугу присланьем чрез них некоторых книг, а именно: «Памятник веры», такой совершенно, как у Ольги Семеновны, и «Статистику России» Андросова, и еще, если есть какое-нибудь замечательное сочинение статистическое о России, вообще или относительно частей ее, вышедшее в последних годах, то хорошо бы очень присовокупить его к ним. Кажется, вышел какой-то толстый том от Мин⟨истерства⟩ внут⟨ренних⟩ дел [125].

А Григория Сергеевича попрошу присылать мне реестр всех сенатских дел за прошлый год с одной простой отметкой: между какими лицами завязалось дело и о чем дело. Этот реестр можно присылать частями при письмах ваших. Это мне очень нужно. Да чуть было не позабыл еще попросить о книге Кошихина [126], при ц⟨аре⟩ Ал⟨ексее⟩ Михайловиче. Я прошу вас записать цену их, чтобы я знал, сколько вам должен. Я уверен, что Павловы не откажутся привезть мне их. Обнимите их от меня обоих. Они, верно, не сомневаются в том, что я очень хотел бы их увидеть. Около октября 1-го я надеюсь быть в Риме. Прощайте. Не забывайте меня и пишите. Посылаю вам мой душевный поцелуй.

Ваш *Гоголь.*

Из Петербурга я писал четыре письма [127], к вам, к Ел⟨изавете⟩ В⟨асильевне⟩ Погодиной и к Над⟨ежде⟩ Н⟨иколаевне⟩ Шереметевой. Если вам случится увидеть последнюю, скажите, что я буду к ней еще писать скоро, и дайте ей мой адрес».

Надобно признаться, что почти все поручения Гоголя насчет присылки статистических и других книг, а также выписок из дел и деловых регистров исполнялись очень плохо; а между тем очевидно, что все это было ему очень нужно для второго тома «Мертвых душ». Павловы не поехали за границу, да и не думали ехать, а Гоголь счел их пустые слова за настоящее намерение. Конечно, отъезжающих за границу и кроме их было довольно, но мы плохо верили их аккуратности. Не помню, с кем-то были посланы один раз бумаги и книги, но они совсем не дошли до Гоголя и пропали. Несмотря на такие уважительные причины, должно сознаться, что все мы, без исключения, были не довольно внимательны к просьбам Гоголя. Я должен к этому присовокупить, что некоторые сведения, каких требовал Гоголь, мне казались не только недостаточными для узнания настоящего дела, но даже вредными, потому что сообщали неверные понятия.

Теперь следует одно из самых замечательных и самое огромное письмо Гоголя.

Надобно рассказать, как я получил его. Это случилось в начале сентября, именно 2-го. В этот день поутру прочел я вслух переделанную и дополненную повесть Гоголя «Портрет», напечатанную в третьем номере «Современника». Не защища⟨ю⟩ ее фантастического содержания, ⟨но⟩ все дополнения, относящиеся к погибающему дарованию художника, привели меня в такой восторг, что слезы несколько раз прерывали мое чтение; тем не менее оно было так выразительно, что все слушавшие меня вполне разделяли мое восхищение. Целый день мы все были полны того благодатного чувства, которое оставляет по себя художественное создание. Вечером поехал я в Английский клуб и сел, по обыкновению, играть в карты. Вдруг приходит Томашевский и подает мне очень толстое письмо от Гоголя. Продолжая играть, я распечатал его, чтоб пробежать некоторые строки, но я попал на такие слова, которые сделали для меня продолжение игры невозможным. Я нашел на свое место другого игрока и на извозчике прискакал домой; дома не только удивились, но даже встревожились моим необыкновенно скорым возвращением, но я развернул письмо и прочел моей семье следующее [128]:

«Гастейн, 18/6 августа.

Я получил ваше милое письмо и уже несколько раз перечитал его. Вы уже знаете, что я уже было соскучил, не имея от вас ника-

кой вести, и написал вам формальный запрос. Но теперь, слава богу, письмо ваше в моих руках. Что же сделалось с тем, что писала, как видно из слов ваших, Ольга Семеновна,— я никак не могу понять, оно не дошло ко мне. Все ваши известия, все, что ни заключалось в письме вашем, все до последнего слова и строчки было для меня любопытно и равно приятно: начиная с вашего препровождения времени, уженья в прудах и реках, и до известий ваших о «Мертвых душах». Первое впечатление их на публику совершенно то, какое подозревал я заране. Неопределенные толки, поспешность быстрая прочесть и ненасыщенная пустота после прочтенья, досада на видимую беспрерывную мелочь событий жизни, которая становится невольно насмешкой и упреком,— все это я знал заране. Бедный читатель с жадностью схватил в руки книгу, чтобы прочесть ее, как занимательный, увлекательный роман, и, утомленный, опустил руки и голову, встретивши никак не предвиденную скуку. Все это я знал. Но при всем этом подробные известия обо всем этом мне всегда слишком интересно слышать. Многие замечания, вами приведенные, были сделаны не без основания теми, которые их сделали. Продолжайте сообщать и впредь, как бы они ни казались ничтожны. Мне все это очень нужно. Само по себе разумеется, что приятнее всего было мне читать отчет ваших собственных впечатлений, хотя они были мне отчасти известны. Бог одарил меня проницательностью, и я прочел в лице вашем во время чтения почти все, что мне было нужно. Я не рассердился на вас за неоткровенность. Я знал, что у всякого человека есть внутренняя нежная застенчивость, воспрещающая ему сделать замечания насчет того, что, по мнению его, касается слишком тонких чувствительных струн, прикосновение к которым как бы то ни было, но все же сколько-нибудь раздражает самое простительное самолюбие. Самая искренняя дружба не может совершенно изгладить этой застенчивости. Я знаю, что много еще протечет времени, пока узнают меня совершенно, пока узнают, что мне можно все говорить и более всего то, что более всего трогает чувствительные струны. Так же, как я знаю и то, что придет, наконец, такое время, когда все почуют, что нужно мне сказать и то, что ⟨заключается⟩ в собственных душах, не скрывая ни одного из движений, хотя эти движения не ко мне относятся. Но отнесем будущее к будущему и будем говорить о настоящем. Вы говорите, что молодое поколение лучше и скорее поймет. Но горе, если бы не было стариков. У молодого слишком много любви к тому, что восхитило его, а где жаркая и сильная любовь, там уже невольное пристрастие. Старик прежде глядит очами рассудка, чем чувства, и чем меньше подвигнуто его чувство, тем ясней его рассудок и может сказать всегда частную, по-видимому ма-

ловажную и простую, но тем не менее истинную правду. Если бы сочиненье мое произвело равный успех и эффект на всех, в этом была бы беда. Толков бы не было. Всякий, увлеченный важнейшим и главным, считал бы неприличным говорить о мелочах, считал бы мелочами замечания о незначительных уклонениях, о всех проступках, по-видимому ничтожных. Но теперь, когда еще не раскусили, в чем дело, когда не узнали важного и главнейшего, когда сочинение не получило определенного недвижного определения,— теперь нужно ловить толки и замечания, после их не будет. Я знал, что самые близкие люди, которые более других чувствуют мои сочинения, я знал, что и они все почти ощутят разные впечатления. Вот почему прежде всего я положил прочесть вам, Погодину и Константину, как трем различным характерам, разнородно примущим первые впечатления. То, что я увидел в замечании их, в самом молчании и в легком движении недоуменья, ненароком и мельком проскальзывающего по лицам, то принесло мне уже на другой день пользу, хотя бы оно принесло мне несравненно большую пользу, если бы застенчивость не помешала каждому рассказать вполне характер своего впечатленья. Человек, который отвечает на вопрос ограждающими словами: «Не смею сказать утвердительно, не могу судить по первому впечатлению», делает хорошо, так предписывает правдивая скромность; но человек, который высказывает в первую минуту свое первое впечатление, не опасаясь ни компрометировать себя, ни оскорбить нежной разборчивости и чувствительных струн друга, тот человек великодушен. Такой подвиг есть верх доверия к тому, которому он вверяет свои суждения и которому вместе с тем ⟨вверяет⟩, так сказать, самого себя. Иными людьми овладевает просто боязнь показаться глупее. Но мы позабыли, что человек уже так создан, чтобы требовать вечной помощи других, у всякого есть что-то, чего нет у другого; у всякого чувствительнее не та нерва, чем у другого, и только дружный размен и взаимная помощь могут дать возможность всем увидеть с равной ясностью и со всех сторон предмет.

Я был уверен, что Кон⟨стантин⟩ С⟨ергеевич⟩ глубже и прежде поймет, и уверен, что критика его точно определит значение поэмы. Но, с другой стороны, чувствую заочно, что Погодин был отчасти прав, не поместив ее, несмотря на несправедливость этого дела. Я думаю просто, что ей рано быть напечатанной теперь. Молодой человек может встретить слишком сильную оппозицию в старых. Уже вопрос: почему многие не могут понять «Мертвых душ» с первого раза, оскорбит многих. Мой совет напечатать ее зимою, после двух или трех других критик. Недурно также рассмотреть, не слышится ли явно: *я первый понял*. Этого слова не любят, и вообще лучше, чтобы не

слышалось большого преимущества на стороне прежде понявших. Люди не понимают, что в этом нет никакого греха, что это может случиться с самым глубоко образованным человеком, как случается всякому, в минуты хлопот и мыслей о другом, прослушать замечательное слово. Лучше всего, если бы Кон⟨стантин⟩ Сер⟨геевич⟩ прислал эту критику мне в Рим, переписавши ее на тоненькой бумажке для удобного вложения в письме. Я слишком любопытен читать ее. Ваше мнение: нет человека, который бы понял с первого раза «Мертвые души», совершенно справедливо и должно распространиться на всех, потому что многое может быть понятно одному только мне. Не пугайтесь даже вашего первого впечатления, что восторженность во многих местах казалась вам доходившею до смешного излишества. Это правда, потому что полное значение лирических намеков может изъясниться только тогда, когда выйдет последняя часть. Вере Сергеевне скажите, что я был тоже доволен, увидевши в П⟨етер⟩бурге ее друга Карташевскую, и не жалею даже о кратковременности нашего свидания. Есть души, что самоцветные камни, они не покрыты корой и, кажется, как будто и родились уже готовыми и обделанными. Их видит издали зоркий глаз ювелира, только замечает их место, сказавши: слава богу, и спешит к тем, где нужно много работы, чтобы отколоть грубую кору и сколько-нибудь огранить, дабы видел всякий, что это была не простая земля, но дорогой камень, закрытый вековыми накопленьями всего. Слова и мнения ее вы также выпишите и пришлите мне, хотя, натурально, нужно, чтобы она никак не знала этого. Все то, что идет прямо от души и сердца, мне так же нужно знать, как и все то, что идет от рассудка.

Вас устрашает мое длинное и трудное путешествие, вы говорите, что не можете понять ему причины, вы говорите, что несколько раз хотели спросить меня и все останавливались, не решаясь навязываться самому на доверенность. Зачем же вы не спросили? Никогда душевная жажда вопросить не должна оставаться в груди. Никогда сердечный вопрос не может быть докучен или не у места. Самое большее было бы то, что я ответил бы вам на это молчанием; но если молчание это светло и выражает спокойствие душевное, то, стало быть, оно уже ответ, и ничем другим не мог выразиться этот ответ. А вопрос ваш все-таки был бы мне приятен, потому что он вопрос друга. И что бы мог я вам отвечать, разве произнес бы слова только: так должно быть! Рассмотрите меня и мою жизнь среди вас. Что вы нашли во мне похожего на ханжу или хотя на это простодушное богомольство и набожность, которою дышит наша добрая Москва, не думая о том, чтобы быть лучшею. Разве нашли вы во мне слепую веру во все без различия обычаи предков, не разбирая, на лжи или на

правде они основаны, или увлеченье новизной, соблазнительной для многих современностью и модой? Разве вы заметили во мне юношескую незрелость или живость в мыслях? Разве открыли во мне что-нибудь похожее на фанатизм и жаркое, вдруг рождающееся увлечение чем-нибудь? И если в душе такого человека, уже по самой природе своей более медлительного и обдумывающего, чем быстрого и торопящегося, который притом хоть сколько-нибудь умудрен и опытом, и жизнью, и познаньем людей и света, если в душе такого человека родилась подобная мысль, мысль предпринять это отдаленное путешествие,— то, верно, она уже не есть следствие мгновенного порыва, верно, уже слишком благодетельна она, верно, далеко оглянута она, верно, и ум, и душа, и сердце соединились в одно, чтобы послужить такой мысли. Но если б даже и не могло заключиться в ней никакой обширной цели, никакого подвига во имя любви к братьям, никакого дела во имя Христа,— то разве вся жизнь моя не стоит благодарности, разве небесные минуты тех радостей, которые я слышу, не вызывают благодарности, разве прекрасная жизнь тех прекрасных душ, с которыми встретилась душа моя, не вызывает благодарности? Разве любовь, обнявшая мою душу и возрастающая в ней более и более с каждым днем, не стоит благодарности? Разве в сих небесных торжественных минутах не присутствует Христос? Разве в сем высоком союзе душ не присутствует Христос? Разве эта любовь не есть уже сам Христос? Разве все, что отрывается от земли и земного, не есть уже Христос, разве в любви, сколько-нибудь отделившейся от чувственной любви, уже не слышится мелькнувший край божественной одежды Христа? И сие высокое стремление, которым стремятся прекрасные души одна к другой, влюбленные в одни свои божественные качества, а не земные, не есть ли уже стремление ко Христу? «Где вас двое, там и церковь моя». Или никто не слышит сих божественных слов? Только любовь, рожденная землей и привязанная к земле, только чувственная любовь, привязанная к образам человека, к лицу, к видимому, стоящему перед нами человеку, та любовь только не зрит Христа. Зато она временна, подвержена страшным несчастьям и утратам. И да молится вечно человек, чтобы спасли его небесные силы от сей ложной, превратной любви! Но любовь душ — это вечная любовь. Тут нет утраты, нет разлуки, нет несчастий, нет смерти. Прекрасный образ, встреченный на земле, тут утверждается вечно; все, что на земле умирает, то живет здесь вечно, то воскрешается ею, сей любовью, в ней же, в любви,— и она бесконечна, как бесконечно небесное блаженство.

Как же вы хотите, чтобы в груди того, который услышал высокие минуты небесной жизни, который услышал любовь, не возродилось

желание взглянуть на ту землю, где проходили стопы того, кто первый сказал слова любви сей человекам, откуда истекла она на мир. Мы движемся благодарностью к поэту, подарившему нам наслажденья души своими произведеньями, мы спешим принесть ему дань уважения, спешим посетить его могилу, и никто не удивляется такому поступку, чувствуя, что стоит уважения и самый великий прах его. Сын спешит на могилу отца, и никто не спрашивает его о причине, чувствуя, что дарованье жизни и воспитанье стоят благодарности. Одному только тому, кто рай блаженства низвел на землю, кто виной всех высоких движений, тому только считается как-то странным поклониться в самом месте его земного странствия. По крайней мере если кто из среды нас предпримет такое путешествие, мы уже как-то с изумлением таращим на него глаза, меряем его с ног до головы, как будто бы спрашивая, не ханжа ли он, не безумный ли он. Признайтесь, вам странно показалось, когда я в первый раз объявил вам о таком намерении. Моему характеру, наружности, образу мыслей, складу ума, и речей, и жизни — одним словом, всему тому, что составляет мою природу,— кажется неприличным такое дело. Человеку, не носящему ни клобука, ни митры, смешившему и смешащему людей, считающему и доныне важным делом выставлять неважные дела и пустоту жизни, такому человеку, не правда ли, странно предпринять такое путешествие? Но разве не бывает в природе странностей? Разве вам не странно было встретить в сочинении, подобном «Мертвым душам», лирическую восторженность, не смешною ли она вам показалась вначале, и потом не примирились ли вы с нею, хотя не вполне еще узнали ⟨ее⟩ значение? Так, может быть, вы примиритесь потом и с сим лирическим движением самого автора. И как мы можем сказать, чтобы то, которое кажется нам минутным вдохновением, нежданно налетевшим с небес откровеньем, чтобы оно не было вложено всемогущей волею бога уже в самую природу нашу и не зрело бы в нас невидимо для других? Как можно знать, что нет, может быть, тайной связи между сим моим сочинением, которое с такими погремушками вышло на свет из темной низенькой калитки, а не из победоносных триумфальных ворот в сопровождении трубного грома и торжественных звуков, и между сим отдаленным моим путешествием? И почему знать, что нет глубокой и чудной связи между всем этим и всей моей жизнью и будущим, которое незримо грядет к нам и которого никто не слышит? Благоговенье же к промыслу! Это говорит вам вся глубина души моей. Помните, что в то время, когда мельче всего становится мир, когда пустее жизнь, в эгоизм и холод облекается все и никто не верит чудесам,— в то время именно может совершиться чудо, чудеснее всех чудес. Подобно как буря самая

сильная настает только тогда, когда тише обыкновенного станет морская поверхность. Душа моя слышит грядущее блаженство и знает, что одного только стремленья нашего к нему достаточно, чтобы всевышней милостью бога оно ниспустилось в наши души. Итак, светлей и светлей да будут с каждым днем и минутой ваши мысли, и светлей всего да будет неотразимая вера ваша в бога, и да не дерзнете вы опечалиться ничем, что безумно называет человек несчастием. Вот что вам говорит человек, смешащий людей.

Прощайте. Это письмо пусть будет для вас и для Ольги Семеновны вместе. Но не показывайте его другим. Лирические движения души нашей!.. неразумно их сообщать кому бы то ни было. Одна только всемогущая любовь питает к ним тихую веру и умеет беречь, как святыню, во глубине души душевное слово любящего человека. Впрочем, помните, что путешествие мое еще далеко: раньше окончания моего труда оно не может быть предпринято ни в каком случае, и душа моя для него не в силах быть готова. А до того времени нет никакой причины думать, чтобы не увиделись опять, если только это будет нужно. Пишите мне все, что ни делается с вами и что ни делается вокруг вас. Все, что ни касается жизни, уже жизнь моя. Толков об «Мертвых душах», я думаю, до зимы вы не услышите. Но если, на случай, кто-нибудь будет вам писать о них, вы выпишите эти строки в письме ко мне.

Прощайте. Целую вас всей силою душевного лобзанья, распространите его на всех близких вашему сердцу. Деньги мне не нужны раньше октября. Адресуйте на имя банкира duc de Torlonia для передачи Гоголю. Шевыреву я написал порядок, как уплачивать по случаю возникшего несогласия насчет первенства. Нужно, чтоб эти деньги были уплачены как можно скорее. Они должны были быть отданы в первые два месяца.

Ваш *Н. Г.*»

К этому письму почти не нужно никаких объяснений, кроме того, что в нем Гоголь, между прочим, отвечает на мое письмо, которое, как и многие другие, пропало. Хотя я не помню содержания этого письма, но решительно протестую против того, будто лирические места «Мертвых душ» показались мне смешными. Я никогда так не думал, а потому и не мог написать. Я подозреваю, не принял ли Гоголь мнений других, сообщенных мною в письме, за мои собственные единственно потому, что я вообще назвал их сделанными *не без основания*. Одно только лирическое место (стран. 58) показалось мне, да и теперь кажется, неуместным, сказанным рановременно [129]. Можно ли говорить о том, что человек еще намерен произвесть. Разве

будущее нам известно? К несчастию, смерть Гоголя и сожжение «Мертвых душ» служат ужасным доказательством справедливости моего замечания. Должно также сказать, что это чудное письмо произвело тогда на нас необыкновенно сильное впечатление, вероятно подготовленное утренним чтением переделанной или почти вновь написанной Гоголем повести «Портрет». Я сам, не совсем довольный религиозным направлением Гоголя, которое мне казалось мистическим, был не то чтобы убежден, но растроган, умилен, очарован этим письмом. Надобно признаться, что не совсем строго было выполнено желание Гоголя, требовавшего, чтобы мы только двое с О⟨льгой⟩ С⟨еменовной⟩ прочли это письмо. Можно ли было не показать его Константину и старшим дочерям? Гоголь узнал об этом и был очень недоволен. Под большим секретом было оно прочтено некоторым нашим друзьям. В 1847 году, когда вышла известная книга «Избранные места из переписки с друзьями», сильно меня взволновавшая, я имел непростительную слабость и глупость, в пылу спорного разговора, в доказательство постоянного направления Гоголя показать это письмо Павлову... Мне и теперь совестно, что я это сделал. Я был за это жестоко наказан: Павлов выпросил у меня это письмо на несколько часов, чтобы прочесть одному больному человеку, почтенному и достойному, любившему Гоголя, но сомневавшемуся в искренности его религиозных убеждений. Он уверил меня, что прочтение этого письма будет душевным и целебным наслаждением для больного, что это будет истинным добрым делом. Павлов не возвратил мне этого письма до сих пор: сначала говорил, что забывает привезть; потом, что куда-то далеко его запрятал, и, наконец, сказал, что он мне возвратил его, уверяя меня, что я забыл об этом. Я сердился и огорчался постоянно таким поступком и был убежден, что Павлов потерял письмо; но с год тому назад я узнал положительно, что это письмо было найдено в его бумагах [130], когда их разбирали полицмейстер Бакунин и жандармский капитан Воейков. Теперь я вижу в этом письме лирический порыв, дифирамб, чем назвал сам Гоголь свое путешествие ко святым местам *.

На это письмо Константин писал к Гоголю следующее:

«Наконец, пишу к вам, дорогой Николай Васильевич ⟨...⟩ до сих пор не мог собраться. Мы получили ваше последнее большое письмо из Гастейна; мне нечего сказать вам, как только, что ни одно слово письма вашего не пропало для меня даром; все они отозвались глубоко и остались во мне с своею благодатной силою. Бог знает, когда

* В рукописи далее: «№ 1 вставка». Но вставка отсутствует.— *Ред.*

мы вас увидим; но оставайтесь далеко, живите, где хотите, идите, куда вас влечет: бог благословит всякий путь ваш и ваше дальнее путешествие; если же только можно, не уклоняясь от желанного пути, то приезжайте к нам в Москву, которую, верно, вы постоянно видите и чувствуете, где бы вы ни были: она живое сердце нашей великой России; на ней лежит судьба ее, из нее все великое благо. Как будем мы рады, мы собственно, когда вас опять увидим!

Вы уехали, дорогой Николай Васильевич, и оставили нам книгу, которая произвела необыкновенный шум. Давно не бывало у нас такого движения, какое теперь по случаю «Мертвых душ». Ни один решительно человек не остался равнодушным; книга всех тронула, всех подняла, и всякий говорит свое мнение. Хвала и брань раздаются со всех сторон, и того и другого много; но зато полное отсутствие равнодушия. Отовсюду слышны мнения. Их говорит всякий; всякий открыл свое суждение и потому — при этом всеобщем объявлении своих мыслей, взглядов на вещи, при этом всеобщем признании, вынужденном книгою,— произошла такая разность мнений, такие поразительные несходства, что едва веришь ушам своим. Без этой книги и предполагать нельзя бы было такого различия мнений, которое вышло теперь на свет. Одни говорят, что только тут видят они Гоголя, который до сих пор далеко не так поражал их, что только тут почувствовали они его колоссальность; другие провозгласили было в самом начале, что эта книга — падение Гоголя, смерть его таланта; но скоро должны были замолчать, оглушенные всеобщим шумом, поднявшимся над их главами; они ограничиваются тем теперь, что указывают на прежние ваши сочинения, на Малороссию. Для иных здесь колоссально предстает Россия, сквозящая сквозь первую часть и выступившая на конце книги; слезы навертываются у них на глазах при чтении последних строк. Другие с горестью читают, говорят, что надо терзаться и плакать. *Посмотрите,*— говорил мне один,— *какая тяжелая, страшная насмешка в окончании этой книги.*— Какая? — спросил я, выпучив глаза.— *В словах, которыми оканчивается книга.*— Как, в этих словах? — *Да разве вы не заметили: Русь, куда несешься ты, сама не знаешь, не даешь ответа.* — И это говорят серьезно, с искреннею, глубокою грустью. Мне удалось, однако, поколебать это печальное мнение.— Одни говорят, что «Мертвые души» — поэма, что они понимают смысл этого названия; другие видят в этом насмешку совершенно в духе Гоголя: *на-те вот, грызитесь за это слово.* Многие помещики не на шутку выходят из себя и считают вас своим смертельным, личным врагом. Само собою разумеется, что ко всему этому присоединяются нападения на вас, на неприличие; с другой стороны, дается этим нападениям живой отпор. Я го-

ворю вам, дорогой Николай Васильевич, пока вообще; но потом постараюсь написать мнения в отдельности — некоторые выражены печатно. Журналы не могут перестать говорить о «Мертвых душах»; не показывается номера, в котором бы не было об них толков. Шевырев написал две, пишет еще третью статью[131]. «О⟨течественные⟩ з⟨аписки⟩», беспрестанно говоря и браня все мнения о «М⟨ертвых⟩ д⟨ушах⟩», обещаются написать большую статью. Словом сказать, литераторы, журналисты, книгопродавцы, частные люди — все говорят, что давно не бывало такого страшного шума в литературном мире; это говорят и печатно, и изустно: одни браня, другие хваля. Из последних одни — со слезами на глазах от того живого света русской жизни, проникающего наружу теплым лучом, перед которым падает всякое сомнение и растет надежда вместе с силами и бодростью духа. Другие — со слезами на глазах от совершенного отчаяния; они говорят, что тот не русский, у кого сердце не обольется кровью, глядя на безотрадное состояние России; говорят: *Гоголь не любит России; посмотрите, как хороша Малороссия и какова Россия;* прибавляют: *заметьте, что самая природа России не пощажена и погода даже все мокрая и грязная.* Но мне хочется также сказать вам собственно про себя, дорогой Николай Васильевич.

Когда я слышал «М⟨ертвые⟩ д⟨уши⟩», еще никакого впечатления целого не было возбуждено во мне. Я прочел их; я чувствовал, что прекрасно; видел красоту создания, жизнь всякой отдельной черты; но что такое самое создание, какой общий смысл его, в котором соединяются в одно целое все эти чудные, живые черты,— этого я не мог себе постигнуть. Мысль была в недоумении; но потом открылась для меня внутренняя гармония всего создания, стали в одно целое все малейшие черты, понятна стала глубочайшая связь всего между собою, основанная не на внешней анекдотической завязке (отсутствие которой смущает с первого разу), но на внутреннем единстве жизни, и тогда мог я наслаждаться самим созданием, целым его образом, который, кажется, стал доступен мне. Очень понятно, что тогда весь был я наполнен моим чувством наслаждения, впечатлением «М⟨ертвых⟩ д⟨уш⟩». Мне кажется, главная трудность лежит в настоящем уразумении слова *поэма,* так по крайней мере, как я его понимаю. Когда стал я говорить о «М⟨ертвых⟩ д⟨ушах⟩», то нашел согласным с собой Хомякова и Самарина. *Это древний эпос с его великим созерцанием, разумеется современный и свободный, в наше время — но это он,—* услыхал от меня Павлов и вдруг то же услыхал от Хомякова.

Я сказал Хомякову, что хотел бы я написать о «М⟨ертвых⟩ д⟨ушах⟩»; он советовал мне то же, и я написал статью: *Несколько слов*

для «Москвитянина»; туда не была она принята; тогда я напечатал ее брошюркой, которую не пустил в продажу, раздав только знакомым; несмотря на то, она сделалась известна многим. Брошюрка была написана скоро; может быть неясно,— и на нее многие, почти все напали, искажая сказанные в ней мысли. Многого не досказал я еще там собственно о «М⟨ертвых⟩ д⟨ушах⟩», что думаю и что случалось говорить мне здесь. Белин⟨ский⟩ умышленно или неумышленно изуродовал слова мои, напечатал на меня ругательную рецензию, на которую надо было мне отвечать, для того чтобы уничтожить ложь, на меня взводимую. Нет, Николай Васильевич, у меня не было чувства: *я первый понял,* и, кажется, не видать его в статье моей. Посылаю вам и брошюрку и мое возражение. Далеко и то и другое не дает еще чувствовать, что такое «М⟨ертвые⟩ д⟨уши⟩», о которых вообще говорю я и о которых, может быть, скажу еще, что не досказал я; но то, что сказано здесь, ясно постигаю я и готов утверждать это. Прочтите и скажите мне, что вы думаете. В этих статейках сказано мое глубокое убеждение ⟨...⟩ Прощайте, дорогой Николай Васильевич, от всего моего сердца обнимаю вас.

Бел⟨инский⟩ в восторге от «М⟨ертвых⟩ д⟨уш⟩»; но, кажется, он их далеко не понимает. Слова ваши о слав⟨янском⟩ племени (⟨**1 сл.** неразб.⟩ прекрасное место) находит он, между прочим, утрированными» *.

⟨Около 29 ноября н. ст. Рим.⟩ [132]

«Благодарю вас, добрый друг мой Ольга Семеновна, за прекрасное письмо ваше. В нем слышны все движения души вашей. Всегда в минуты ваших душевных движений пишите ко мне. Все, что изольется из души вашей, останется святыней и тайной в душе моей. Слышите ли вы, что в последнем слове заключается упрек вам? Да, я люблю делать упреки тем, которых люблю: я просил вас, чтобы вы только вдвоем прочитали письмо мое, а письмо это читала вся ваша семья, и, кроме того, вы даже дали списать с него для себя копию. Я знаю, вы любите отвечать обыкновенно, что в семье вашей нет тайны, и отчасти думаете, что такой просьбой моей водит отчасти маленький каприз. Но бог весть, может быть, иногда не вовсе ничтожная причина двигает капризом. Но дело уже сделано. Исполните же по крайней мере теперь мою просьбу. Просьба отсутствующего должна быть священна. Позабудьте вовсе письмо мое оное! Не читайте

* Далее в рукописи стояло: «В 1842 году писем Гоголя более не нашлось; но видно из письма Веры к Машеньке, что было письмо в декабре». Эти слова зачеркнуты и сверху рукою С. Т. Аксакова надписано: «Письма нашлись».— *Ред.*

его, спрячьте на целые четыре года. Никто из вас пусть прежде не говорит и не упоминает о нем во все это время. Я так хочу, и больше ничего.

Еще просьба: не хвалите меня перед другими, по крайней мере менее, сколько можно. Из письма вашего со страхом я увидел, что вы меня считаете чем-то вроде святости и совершенства. Ради бога, не думайте так, это грех. В моей душе есть точно стремление к этому, но вы слышите ли, какое страшное пространство между этим стремлением и достижением? Вот все, что вы можете говорить другим: у него добрая душа и есть истинное желание быть лучше, чем он есть. Эти слова вы можете только сказать обо мне. И если услышите нападения на меня, никак не отвергайте их. Нападения не могут быть без причины. Лучше прилежно выслушайте их и передайте потом мне.

Прощайте! В минуты сильных ваших движений душевных всегда пишите ко мне. Если у вас родятся какие-нибудь упреки мне, смело их говорите. Упреков любящего человека всегда жаждало, как святыни, мое сердце».

Письмо это должно принадлежать к 1842 году и, вероятно, было приложено в письме ко мне, которое пропало *. Оно, очевидно, есть ответ на письмо Ольги Семеновны, которое было писано к Гоголю перед отъездом на богомолье в Воронеж, что происходило в октябре.

Теперь по хронологическому порядку следует мое письмо к Гоголю от 6 февраля 1843, которое прилагается здесь в оригинале:

«У, какой хаос в голове! Как давно не писал к вам, милый друг Николай Васильевич, и как много накопилось всякой всячины, о которой надобно бы написать к вам и подробно и порядочно!.. Право, не знаю, с чего начать? Прежде всего надобно сказать вам причину такого долгого моего молчанья, а потом, по возможности, рассказать исторически все происшествия (очень жалею, что не вел записки вроде журнала; но обстоятельства были так важны и мы принимали их так близко к сердцу, что до благополучного их окончания я не в состоянии был ничего писать). Я и все мои здоровы; но не писал к вам: во-первых, потому, что сначала мы были встревожены слухами, будто государь был недоволен «Мертвыми душами» и запретил второе их издание; будто также недоволен был «Женитьбою» и что четвертый том ваших сочинений задержан, перемаран и вновь должен быть напечатан (все это, как оказалось после, или совершенная

---

* На полях рукою С. Т. Аксакова: «действительно так».— *Ред.*

неправда, или было, да не так). Во-вторых, не писал я к вам потому, что в бенефис Щепкину ставились на здешнем театре «Женитьба» и «Игроки»; разумеется, я не пропускал репетиций и сколько мог хлопотал, чтобы пиесы были поняты и сколько-нибудь сносно сыграны. Вчера сошел бенефис Щепкина, и сегодня принимаюсь я писать к вам; но, вероятно, ранее понедельника это письмо не отправится в Рим. Еще к 1 ноября ожидали мы ваших сочинений; даже книгопродавцы московские, не получа еще их, объявили в газетах, что такого-то числа поступят в продажу сочинения Г⟨оголя⟩. Я непременно хотел дождаться их появления, чтоб написать о всем, и о моих собственных впечатлениях, и о том, что произведут они на всю массу читающей московской публики; но сочинения ваши запоздали своим выходом сами по себе, и потом действительно четвертый том был задержан (так что у нас были получены два первых задолго до получения четвертого; почему не было получено третьего — не знаю). Впрочем, эти задержки произошли вследствие особенных обстоятельств: два цензора были посажены под арест за пропуск какой-то статьи; это заставило их сделаться еще осторожнее и остановить выпуск некоторых уже отпечатанных книг, в том числе и четвертый том ваших сочинений. Наконец, все было получено без всяких исключений... Все, я разумею людей, способных понимать и чувствовать, были в восхищении, что истина восторжествовала. Все приписывают это самому государю (я то же думаю), и все восхищаются его высоким правительственным разумом. Вообще появление на сцене и в печати ваших творений будет памятником его царствования: мы благословляем его от души! [133]

Пиесы, цензурованные для представления на театре — «Женитьба» и «Игроки», были получены гораздо прежде ваших сочинений; я имел случай читать несколько раз в обществе мужчин и дам последнюю и производил восторг и шум необыкновенный, какого не произвела она даже на сцене [134]. На это есть множество причин. 1) На Большом театре, где обыкновенно даются бенефисы, многого нельзя было расслушать: итак, публика только вслушивалась в пиесы. 2) Главные лица: Подколесин и Утешительный дурно были исполнены Щепкиным... Остальных, мелочных причин не нужно исчислять. Но когда подняли занавесь, продолжительный гром рукоплесканий приветствовал появление на сцене нового вашего сочинения.

Я не понимаю, милый друг, вашего назначения ролей. Если б *Кочкарева* играл Щепкин, а *Подколесина* Живокини, пиеса пошла бы лучше. По свойству своего таланта Щепкин не может играть вялого и нерешительного творенья; а Живокини, играя живой харак-

тер, не может удерживаться от привычных своих фарсов [135] и движений, которые беспрестанно выводят его из характера играемого им лица; впрочем, надобно отдать ему справедливость: он работал из всех сил, с любовью истинного артиста, и во многих местах был прекрасен. Они желают перемениться ролями: позволите ли вы? В продолжение великого поста они переучат роли, если вы напишете ко мне, что согласны на то. Верстовский (который вас обнимает: недавно я прочел ему «Разъезд», и он два дня был в упоении) и другие говорят, что в Петербурге Мартынов в роли *Подколесина* бесподобен [136]; но все прочие лица несравненно ниже московских. Послезавтра бенефис должен повториться на Большом театре, а потом пиесы ваши навсегда сойдут на Малый театр. Актеры и любители театра нетерпеливо этого ожидают: там они получат настоящую цену и оценку.

Сам вижу, как беспорядочно мое письмо; но получение ваших сочинений, постановка пиес и все вообще так высоко настроили мои нервы, что они дрожат и предметы путаются и пляшут в голове моей. Лучше начать отчет о спектакле. «Женитьба» была разыграна лучше «Игроков». В первой женихи, особенно Садовский (*Анучкин,* или *Ходилкин,* как перекрестил его г. цензор Гедеонов [137], который по глупости своей много кое-что повымарал в обеих пиесах о купцах, дворянах и гусарах: слово *гусар* заменил *молодцом,* вместо *Чеботарев* поставил *Чемоданов* и проч.), были недурны. Женщины, кроме *Агафьи Тихоновны* (Орлова [138], которая местами была хороша), *сваха* (Кавалерова [139]) * и *купчиха* (Сабурова 1-я [140]) вообще были хороши. Щепкин, ничуть меня не удовлетворяя в строгом смысле, особенно был дурен в сцене с невестой один на один. Его робость беспрестанно напоминала Городничего; и всего хуже в последней сцене. Переходы от восторга, что он женится, вспыхнувшего на минуту, появление сомнения и потом непреодолимого страха от женитьбы даже в то еще время, когда слова, по-видимому, выражают радость,— все это совершенно пропало и было выражено пошлыми театральными приемами... Публика грозно молчала всю сцену, и я едва не свалился со стула. Мне тяжело смотреть на Щепкина... Он так мне жалок: он переслуживает свою прежнюю славу.

Хомяков, который был подле нас в ложе, весьма справедливо заметил, что те же самые актеры, появившиеся в средней пиесе (какой-то водевиль) между двумя вашими, показались не людьми, а картонными фигурками, куклами выпускными.

Оставляю писать до завтра: ибо очень устал.

---

* Сваха лучше всех.

7 февраля.

После спектакля я отправился в Дворянский клуб, где я обыкновенно играю в карты и где есть огромная комната Кругелей, Швохневых и других. Они все дожидались нетерпеливо «Игроков» и часто меня спрашивали, что это за пиеса? Там все без исключения говорили следующее: ««Женитьба» — не то, что мы ожидали; гораздо ниже «Ревизора»; даже скучна, да и ненатуральна; а «Игроки» хороши, только это старинный анекдот, да и все рассказы игроков — известные происшествия». Один сказал, что нынче уже таких штук не употребляют и никто не занимается изучением рисунка обратной стороны. Нашлись такие, которые были в театре, но уехали поранее, и я нашел их уже за картами, уверяющими, что они не могли попасть в театр, но что после непременно посмотрят обе пиесы.

Странное дело: «Женитьбу» слушали с большим участием; удерживаемый смех, одобрительный гул, как в улье пчел, ходил по театру; а теперь эту пиесу почти все осуждают; «Игроков» слушали гораздо холоднее, а пиесу все почти хвалят; все это я говорю о публике рядовой.

Вчера был у меня П⟨авлов⟩, который, несмотря на больные глаза, приезжал в театр, который был поражен «Игроками» и, сидя подле меня, говорил, что это — трагедия, и ужасно бранил игру Ленского [141] (занимавшего роль *Ихарева:* я хотел дать ее Мочалову [142], но он пьет напропалую; да и Щеп⟨кин⟩, по каким-то соображениям или отношениям, не хотел этого); но вчера, то есть на другой день представления, изволил говорить совсем другое, «что „Женитьба“ — шалость большого таланта, а „Игроков“ не следовало писать, играть и еще менее печатать; что тут нет игроков, а просто воры; что действие слишком одностороннее» и пр. То есть говорил совершенный вздор; когда же я ему напомнил вчерашнее его мнение, то он сказал, что был *ошеломлен* вчера и сегодня поутру все хорошенько обдумал... то есть: признался откровенно во всем. (Хомяков говорит, что это торжество воли!..)

8 февраля.

Загоскин в театре не был, но неистовствует против «Женитьбы» и особенно взбесился за эпиграф к «Ревизору» [143]. С пеной у рта кричит: *Да где же у меня рожа крива?* Это не выдумка. Верстовский просил меня написать к вам, что он берется поставить «Разъезд», а то дирекция возьмет его по разам и пр. Исполняю его желание, хотя знаю наперед ваш ответ.

Обращаюсь к изданию ваших сочинений: вообще оно произвело выгодное для вас впечатление на целую Москву, ибо главное оже-

сточение против вас произвели «Мертвые души». «Шинель» и «Разъезд» всем без исключения нравятся; полнейшее развитие «Тараса Бульбы» также. Судя по нетерпению, с которым их ожидали, и по словам здешних книгопродавцев, которые были осаждаемы спрашивающими, должно предполагать, что издание будет иметь сильный расход.

Что касается до меня и до всех моих, то трудно сказать что-нибудь новое о наших чувствах: мы наслаждаемся *вполне*. Конечно, новые ваши творения, например «Шинель» и особенно «Разъезд», сначала так нас поразили, что мы невольно восклицали: *Это выше всего,* но впоследствии, повторив в несчетный раз старое, увидели, что и там та же вечная жизнь, те же живые образы. Но я, лично я, остаюсь, однако, при мнении, что «Разъезд», по обширному своему объему, по сжатости и множеству глубоких мыслей, по разумности цели пиесы, *по языку,* по благородству и высокости цели, по важности своего действия на общество,— точно выше других пиес. Не говорю о других красотах его, которые он разделяет со всеми вашими сочинениями такого рода или содержания.

Мы слышали, что куда-то прислан экземпляр ваших сочинений для нас: благодарим вас. Дай бог, чтоб наступило скорее время, или, лучше сказать, чтоб оно пришло благополучно, когда вы, сидя посреди всех наших, напишете на первом листочке: *Милым друзьям* и пр.

Хотя я очень знаю, что действия ваши, относительно появления ваших созданий, заранее обдуманы, что поэт лучше нас, рядовых людей, прозревает в будущее, но (следую, впрочем, более убеждениям других, любящих также вас людей) теперь много обстоятельств требуют, чтоб вы, если это возможно, ускорили выход второго тома «Мертвых душ». Подумайте об этом, милый друг, хорошенько... Много людей, истинно вас любящих, просили меня написать вам этот совет. Впрочем, ведь мы не знаем, таково ли содержание второго тома, чтоб зажать рот врагам вашим? Может быть, полная казнь их заключается в третьем томе?..

Вы так давно не писали к нам, что это наводит на меня сомнение; я боюсь, что вы недовольны или досадуете за брошюрку Константина и что чувство досады мешает вам писать. Вы дожидаетесь, может быть, пока оно пройдет совершенно. Если так, то, пожалуйста, пишите, не дожидаясь полного исчезновения неприятного чувства. Я сам знаю, что это ошибка, и немаловажная: с его стороны написать,— а с моей — позволить печатать. Но что же делать? Нам казалось, что смелое указание истинного взгляда может навести многих на настоящую точку зрения, и если это так, то чего смотреть на

толпу, которая заревет, не понимая цели. Впрочем, это не извиняет меня; я, седой дурак, должен был понять, что этот рев будет неприятен вам. Есть люди, которые говорят, что он вам даже вреден; но я решительно не соглашаюсь с ними: вам вредить ничто не может. Одно могло бы быть вредно, и то как отсрочка — полное равнодушие, невнимание; но дело уж давно не так идет.

Теперь о нас самих. Мы здоровы по возможности. Я сижу на диете; только не умею ладить с временем и часто ложусь спать слишком поздно. Жена и все мое семейство вас обнимают. Намерение мое уехать в Оренбург⟨скую⟩ губернию сильно поколебалось, и мы ищем купить деревню около Москвы, но до сих пор не находим: я хочу только приятного местоположения и устроенного дома. Мысль, что вы, милый друг, со временем переселясь на житье в Москву, будете иногда гостить у нас — много украшает в глазах наших наше будущее уединение. Прощайте. Обнимаю вас крепко, да сохранит вас бог.

До гроба друг ваш *С. Аксаков»*.

Следующее письмо Гоголя — ответ на мое:

«Рим. Март 18.

Наконец, я получил от вас письмо, добрый друг мой, и отдохнул душою, потому что, признаюсь, мне было слишком тягостно такое долгое молчание со всех сторон. Благодарю вас за ваши известия: мне они все интересны. Успех на театре и в чтении пиес совершенно таков, как я думал. Толки о «Женитьбе» ⟨и⟩ «Игроках» совершенно верны, и публика показала здесь чутье. Относительно перемены ролей актеры и дирекция имеют полное право, и я дивлюсь, зачем они не сделали этого сами. Кто же, кроме самого актера, может знать свои силы и средства. Верстовского поблагодарите от души за его участие и расположение. А «Разъезда», натурально, не следует давать: и неприлично и для сцены вовсе неудобно. У Щепкина спросите, получил ли он два письма мои [144], писанные одно за другим, так же как получили ли вы сами мое письмо, в котором я просил вас о постановке «Ревизора» [145],— дело, которым, пожалуйста, позаймитесь. Там же я просил дать какой-нибудь отрывок Живокини, по усмотрению Мих⟨аила⟩ Семен⟨овича⟩, за его усердные труды.

Константину Сергеевичу скажите, что я и не думал сердиться на него за брошюрку, напротив, в основании своем она замечательная вещь. Но разница страшная между диалектикою и письменным созданием, и горе тому, кто объявляет какую-нибудь замечательную мысль, если эта мысль — еще ребенок, не вызрела и не получила об-

раза, видного всем, где бы всякое слово можно почти щупать пальцем. И вообще чем глубже мысль, тем она может быть детственней самой мелкой мысли.

Относительно второго тома «М⟨ертвых⟩ д⟨уш⟩» я уже дал ответ Шевыреву, который вам его перескажет. Что ж до того, что бранят меня, то слава богу, гораздо лучше, чем бы хвалили. Браня, все-таки можно сказать правду и отыскать недостатки. А у тех, которые восхищаются, невольно поселяется пристрастие и невольно заслоняет недостатки. И вы также не должны меня хвалить неумеренно никому и ни перед кем. Поверьте, что хвалится горячо, неравнодушно, то уже неумеренно. Меньше всего я бы желал, чтобы вы изменили к кому-нибудь ваши отношения по поводу толков обо мне. Я совершенно должен быть в стороне. Напротив, полюбите от души всех несогласных с вами во мнениях, увидите — вы будете всегда в выигрыше. Если только человек имеет одну хорошую сторону, то уже он стоит того, чтобы не расходиться с ним. А те, с которыми вы в сношениях, все более или менее имеют многие хорошие стороны. Я бы попросил вас передать мой искренний поклон Заг⟨оскину⟩ и П⟨авлову⟩, но чувствую, что они не поверят, подумают, что я поднялся на штуки, или, пожалуй, примут за насмешку вроде *кривой рожи,* и потому пусть этот поклон останется между нами.

Но поговорим теперь о самом важном деле. Положение мое требует сильного вашего участия и содействия. Я думаю, вы уже знаете из письма моего к Шевыреву, в чем дело. Вы должны принесть для меня жертву, соединившись втроем вместе: вы, Шевырев и Погодин,— взять на себя дела мои на три года. От этого все мое зависит — даже самая жизнь. Тысячи важных, слишком важных для меня причин и самая важнейшая, что я не в силах думать теперь о моих житейских делах. Но обо всем этом, я думаю, вы узнали уже от Шевырева. С вторым изданием распорядитесь, как найдете лучше, но так устройте, чтобы я мог получать по шести тысяч в год в продолжение трех лет, разделив это на два или три срока, и чтобы эти сроки были слишком точны. От этого много зависит. Впрочем, распоряжение относительно этого предоставьте Шевыреву. Он точнее нас всех. Слова эти слишком важны, и во имя бога я молю вас, не пренебрегайте ими. Сроки должны быть слишком аккуратны. Что теперь я полгода живу в Риме без денег, не получая ниоткуда, это, конечно, ничего. Случился Языков, и я мог у него занять. Но в другой раз это может случиться не в Риме, мне предстоят глухие уединения, дальние отлучения. Не теряйте этого из виду. Если недостанет и не случится к сроку денег, соберите их хотя в виде милостыни. Я нищий и не стыжусь своего звания.

А вас вместе с Погодиным я попрошу войти в положение моей маменьки, тем более, что вы уже знакомы с ней и несколько знаете ее обстоятельства. Я получил от нее письмо, сильно меня расстроившее. Она просит меня прямо помочь ей, в то время помочь, когда я вот уже полгода сижу в Риме без денег, занимая и перебиваясь кое-как. Просьба о помощи меня поразила. Маменька всегда была деликатна в этом отношении, она знала, что мне не нужно напоминать об этом, что я могу чувствовать сам ее положение. Она знала это уже потому, что я отказался от своей части имения и отдал ей (сто душ крестьян с землями), тогда как сам не был даже на полгода обеспечен (последнего обстоятельства, натурально, она не знала, иначе бы отказалась и от имения и от всякой со стороны моей помощи, и потому я должен был почти всегда уверять ее, что я не нуждаюсь и что состояние мое обеспечено). Но и в сей мысли она была, однако ж, очень деликатна и не просила меня о помощи. Теперь это все произошло вследствие невинного обстоятельства: Ольга Семеновна, по доброте души своей, желая, вероятно, обрадовать маменьку, написала, что «Мертвые души» расходятся чрезвычайно, деньги плывут, и предложила ей даже взять деньги, лежащие у Шевырева, которые, вероятно, следовали одному из ссудивших меня на самое короткое время. Маменька подумала, что я богач и могу без всякого отягощения себя сделать ей помощь. Я никогда не вводил маменьку ни в какие литературные мои отношения и не говорил с нею никогда о подобных делах, ибо знал, что она способна обо мне задумать слишком много. Детей своих она любит до ослепления, и вообще границ у ней нет. Вот почему я старался, чтобы к ней никогда не доходили такие критики, где меня чересчур хвалят. И, признаюсь, для меня даже противно видеть, когда мать хвастается своим сыном. Это все равно как бы хвастаться собою и своими добродетелями. Маменька должна меня знать просто как доброго сына, а судить о талантах моих не принадлежит ей. Письмо маменьки и просьба повергли меня в такое странное состояние, что вот уже скоро третий месяц, как я всякий день принимаюсь за перо писать ей и всякий раз не имею сил, бросаю перо и расстраиваюсь во всем. В самом деле, положенье затруднительно: чтобы объяснить все дело, нужно сказать правду и сделать ей ясным мое положение, а в объяснении моего положенья будет уже заключаться ей упрек и беспокойство о моей участи; между тем письмо мое должно быть утешительно и заключать даже в себе умную инструкцию впредь. Но для того, чтобы разумно поступить в этом, для другого, может бы⟨ть⟩, незатруднительном, деле, мне нужно взглянуть как на совершенно постороннее для меня дело, взглянуть так, как я гляжу на характер и положение лица, которое принимаюсь внесть в мое

творение, тогда только предмет может предо мною стать всеми своими сторонами и слово мое может быть проникнуто светом разума, а без этого слово мое будет глупее слова всякого обыкновеннейшего человека. Вот как еще мне трудно отрешиться от многих, многих страстных отношений, чтобы стать на ту высоту бесстрастия, без которого все, что ни производится мною, есть пошло, презренно и несет мне упреки даже от тех, которые, думая доставить мне добро, заставили произвесть его. Итак, войдите вместе с Погодиным в положение этого дела, объясните его маменьке, как признаете лучше. Во всяком случае как вы ни поступите, вы поступите в двадцать раз умнее меня. Дайте ей знать, что деньги вовсе не плывут ко мне реками и что расход книги вовсе не таков, чтобы сделать меня богачом. Если окажутся в остатке деньги, то пошлите, но не упускайте также из виду и того, что маменька, при всех своих прекрасных качествах, довольно плохая хозяйка и что подобные обстоятельства могут случаться всякий год, и потому умный совет с вашей стороны, как людей, все-таки больше понимающих хозяйственную часть, может быть ей полезнее самих денег.

Я не знаю, могут ли принести мои сочинения, ныне напечатанные в четырех томах, какой-нибудь значительный доход. Одно напечатание их (листов, как я вижу по газетам, оказалось более, чем предполагалось) должно достигнуть до семнадцати тысяч. Притом как бы то ни было, книга в двадцать пять рублей не так легко расходится, как в десять. Особенно если она даж⟨е⟩ и не новость вполне. Я думаю, что в первый год она разве только окупит издание, а потом пойдет тише. Первые деньги после окупления издания я назначил на уплату долгов моих петербургских, которые хоть и не так велики, как московские, но все же требуют давно уплаты. Я знаю, что некоторым, даже близким душе моей и обстоятельствам, казалось странно, отчего у меня завелось так много долгов. И они всегда пропускали из вида следующее невинное обстоятельство: шесть лет я живу, и большею частию за границей, не получая ниоткуда жалованья и никаких совершенно доходов (шесть лет я не издавал ничего). Годы эти были годы странствия, годы путешествия, откуда же ⟨и⟩ какими средствами я мог производить все это? Если положить по пяти тысяч в год, так вот уже до тридцати тысяч в шесть лет. Один раз только я получил вспомоществование, которое было от государя и дало мне возможность прожить год. Кроме того, я в это время должен был взять моих сестер из института, одеть их с ног до головы и всякой доставить безбедный запас хотя по крайней мере на два года. Два раза я должен был в это время помочь маменьке, не говоря уже о том, что должен быть дать ей средства два раза приехать в Москву и

обратно. Должен же я был все это произвести какими-нибудь деньгами и средствами, итак, немудрено, что у меня набрались такие долги. А вы знаете сами, я вовсе не такой человек, чтобы издерживать деньги на пустяки; желанья мои довольно ограниченны, и при мне нет даже таких вещей, которые бы показались другому совершенно необходимы. Но довольно об этом.

Не забудьте моей глубокой, сильной просьбы, которую я с мольбой из недр души моей вам трем повергаю: возьмите на три года попеченье о делах моих. Соединитесь ради меня тесней, и больше, и сильнее друг с другом и подвигнитесь ко мне святой христианской любовью, которая не требует никаких вознаграждений. Всякого из вас бог наградил особой стороной ума: соединив их вместе, вы можете поступить мудро, как никто. Клянусь, благодеяние ваше слишком будет глубоко и прекрасно.

Прощайте. Больше я ничего вам не могу теперь писать. Да и без того письмо длинно. Напишите мне ваш адрес и, ради бога, не забывайте меня письмами. Они очень мне важны, как вы не можете даже себе представить, хотя бы даже были писаны не в минуту расположения и заключались в двух строчках, не больше. Не забывайте же меня.

Ваш *Г.*

Посылаю душевный поклон всему дому вашему. А Ольге Семеновне грех, что она совершенно позабыла меня и не прибавила от себя ни строчки ко мне. Конст⟨антину⟩ Серг⟨еевичу⟩ тоже грех. Тем более, что ко мне можно писать, не дожидаясь никакого расположения или удобного времени, а в суматохе, между картами, перед чаем, на запачканном лоскуточке, в трех строчках, с ошибками и со всем, что бог послал на ту минуту.

Если кто-нибудь поедет за Языковым из Москвы, не забудьте прислать мне книг, если вышло что-нибудь относительно статистики России, известный «Памятник веры», который обещала Ольга Семеновна, и молитвенник самый пространный, где бы находились почти все молитвы, писанные отцами церкви, пустынниками и мучениками.

О моих сочинениях я не имею никаких известий из Петербурга. Прокопович до сих пор не отвечал на мое последнее письмо. К Плетневу я уже писал два письма, и ни на одно из них нет ответа.

Вот вам мой маршрут: до 1 мая в Рим, потом в Гастейн, в Тироле, до 1 июня. В июне, июле и августе адресуйте в *Дюссельдорф* на имя *Жуковского,* везде Poste restante».

Вслед за этим письмом Шевырев привез мне письмо, полученное им от Гоголя, которое, хотя писано к Шевыреву, но равно относится как к нему, так ко мне и Погодину. Я считаю, что имею полное право поместить его в моей книге. Вот оно:

⟨28 февраля н. ст. Рим.⟩

«Наконец, после долгих молчаний со всех сторон, я получил письмо от тебя, бесценный друг мой! Поблагодаривши тебя за него от всей души, я принимаюсь отвечать на все его пункты. 1) Ты говоришь, что я плохо распорядился относительно дел моих и между прочим не сказал: как и в чем плохо и относительно каких именно дел. Что я плохо распорядился — это для меня не новость: я не должен и не могу заниматься моими житейскими делами вследствие многих глубоких душевных и сердечных причин; но о них после. Но тебе ни в каком случае не должно со мною церемониться; ты должен говорить все напрямик, не опасаясь никаким образом задеть каких бы то ни было струн самолюбия ли авторского, или просто человеческого, или чего бы то ни было, что называется обыкновенно чувствительною и щекотливою стороною. Все будет принято благодарно и с любовью. Это я тебе говорю раз навсегда и прошу, ради дружбы нашей, не заставить меня повторить это в другой раз. Сколько я могу догадываться, вероятно плохое распоряжение относится к изданию моих мелких сочинений, и, вероятно, Прокопович сделал по неопытности какую-нибудь глупость. Впрочем, вот причины, почему я печатание их предпринял в Петербурге и распорядился не так, как бы следовало относительно разных выгод житейских. Издание всех сочинений моих непременно нужно было произвести, не откладывая и не затягивая этого дела, к Новому году или сейчас после Нового года; взглянувши на все и сообразя все, ты сам, может быть, проникнешь в необходимость этого. Признаюсь, я помышлял было обратиться к тебе, несмотря на то, что совесть кричала против этого. Но когда я увидел, что и Погодин едет за границу и что «Москвитянин» взвален на тебя, у меня недостало духу. Я думал обратиться к Серг⟨ею⟩ Т⟨имофеевичу⟩, но Сергей Тимоф⟨еевич⟩ сказал, что он будет летом в деревне; впрочем, молодые люди (К⟨онстантин⟩ С⟨ергеевич⟩ и братья) могут, оставаясь в городе, заведовать печатаньем. Я уже думал было поручить дело в Москве, но меня вдруг смутила мысль, что дело пойдет на страшную проволочку. Не говоря о медленности московских типографий, меня сильно остановило цензурное дело. Из всех цензоров один только Никитенко был подвигнут ко мне участием искренним, но беспрестанная пересылка мелких пиес из Москвы в Петербург

(они же поступали и к цензору не в одно время), письменные объяснения и недоразумения — все это мне предвещало такую возню, что у меня просто не подымались руки. И как я вспомню, чего мне стоило вытребовать и получить из Петербурга рукопись «Мертвых душ», после того как она уже целый месяц была пропущена комитетом... И притом Никитенко, при всем доброжелательстве, малороссиянин и ленив; его нужно было подталкивать беспрестанно личными посещениями. Все это заставило меня печатание производить в Петербурге. Прокоповичу я поручил потому, что знаю его совершенно с детства как лучшего школьного товарища: это человек во всех отношениях честный, и благородный, и деятельный, когда того потребуют. Плетнева я просил напутствовать его во всяких затруднениях. У Прокоповича было все лето совершенно свободно, и он мог неутомимо и безостановочно заняться печатанием. Этой работой я имел отчасти намерение возбудить его к деятельности, усыпленной несколько его черствой и непитательной работой.

Доходов от этого издания я не мог ожидать. Хотя, конечно, несколько неизвестных пиес (которых я имел благоразумие не печатать в журналах) могли придать некоторый интерес новости книге, но все же она не новость. Она из четырех томов, стало быть высокой цены никак нельзя было назначить. Большого куша вынуть из кармана при теперешнем безденежье не так легко, как вынуть пять или десять рублей. Но притом я не имею духа и бессовестности возвысить цену, зная, что мои покупатели большею частью люди бедные, а не богатые и что иной, может быть, платит чуть не последнюю копейку. Тут это мерзкое сребролюбие подлей и гаже, чем в каком-либо другом случае. Итак, несмотря на то, что напечатание стало свыше шестнадцати тысяч и что в книге сто двадцать шесть листов, я велел ее продавать никак не дороже двадцати пяти рублей. Первые экземпляры пойдут, конечно, шибче и окупят, может быть, издание, потом медленнее. Половину экземпляров или треть я хотел было назначить по отправке в Москву к тебе, но не знаю, удобно ли тебе и как это сделать — об этом меня уведоми. Итак, вот тебе все причины того распоряжения, которое сделал я относительно этого дела. Конечно, можно было распорядиться и умнее, но у меня не было сил на то, не было сил потому, что я и не могу и не должен заниматься многим, что относится к житейскому, но об этом будет речь после. Весьма может быть, что Прокопович, как еще неопытный, многое сделал не так, как следует, и потому ты, пожалуйста, извести меня об всем. Я, натурально, не скажу Прокоповичу, что слышал от тебя, а издалека дам ему знать быть осмотрительней и благоразумней. Но довольно об этом; поговорим о втором пункте твоего письма.

Ты говоришь, что пора печатать второе издание «Мертвых душ», но что оно должно выйти необходимо вместе со вторым томом. Но если так, тогда нужно слишком долго ждать. Еще раз я должен повторить, что сочинение мое гораздо важнее и значительнее, чем можно предполагать по его началу. И если над первою частью, которая оглянула едва десятую долю того, что должна оглянуть вторая часть, просидел я почти пять лет, чего, натурально, никто не заметил, один ты заметил долговременную и тщательную обработку многих частей... Итак, если над первой частью просидел я столько времени — не думай, чтоб я был когда-либо предан праздному бездействию; в продолжение этого времени я работал головой даже и тогда, когда думали, что я вовсе ничего не делаю и живу только для удовольствия своего... Итак, если над первой частью просидел я так долго, рассуди сам, сколько должен просидеть я над второй! Это правда, что я могу теперь работать увереннее, тверже, осмотрительнее благодаря тем подвигам, которые я предпринимал к воспитанию моему и которых тоже никто не заметил. Например, никто не знал, для чего я производил переделки моих прежних пиес, тогда как я производил их, основываясь на разуменье самого себя, на устройстве головы своей. Я видел, что на этом одном я мог только навыкнуть производить плотное создание, сущное, твердое, освобожденное от излишеств и неумеренности, вполне ясное и совершенное в высокой трезвости духа. После сих и других подвигов, предпринятых во глубине души, я, разумеется, могу теперь двигать работу далеко успешнее и быстрее, чем прежде; но нужно знать и то, что горизонт мой стал чрез то необходимо шире и пространнее, что мне теперь нужно обхватить более того, что верно бы не вошло прежде. Итак, если предположить самую беспрерывную и ничем не останавливаемую работу, то два года — это самый короткий срок. Но я не смею об этом и думать, зная мою необеспеченную нынешнюю жизнь и многие житейские дела, которые иногда в силе будут расстроить меня, хотя употребляю все силы держать себя от них подале и меньше, сколько можно, о них думать и заботиться. Понуждение к скорейшему появлению второго тома, может быть, ты сделал вследствие когда-то помещенного в «Москвитянине» объявления [146], и потому вот тебе настоящая истина: никогда и никому я не говорил, сколько и что именно у меня готово, и когда, к величайшему изумлению моему, напечатано было в «Москвитянине» извещение, что два тома уже написаны, третий пишется и все сочинение выйдет в продолжение года, тогда не была даже кончена первая часть. Вот как трудно созидаются те вещи, которые на вид иным кажутся вовсе не трудны. Если ты под словом *необходимость* появления второго тома разумеешь необходимость истребить

неприятное впечатление, ропот и негодование против меня, то верь мне: мне бы слишком хотелось самому, чтоб меня поняли в настоящем значении, а не в превратном. Но нельзя упреждать время; нужно, чтоб все излилось прежде само собою, и ненависть против меня (слишком тяжелая для того, кто бы хотел заплатить за нее, может быть, всею силою любви), ненависть против меня должна существовать и быть в продолжение некоторого времени, может быть даже долгого. И хотя я чувствую, что появление второго тома было бы светло и слишком выгодно для меня, но в то же время, проникнувши глубже в ход всего текущего пред глазами, вижу, что все, и самая ненависть, есть благо. И никогда нельзя придумать человеку умней того, что совершается свыше и чего иногда в слепоте своей мы не можем видеть и чего, лучше сказать, мы и не стремимся проникнуть. Верь мне, что я не так беспечен и неразумен в моих главных делах, как неразумен и беспечен в житейских. Иногда силой внутреннего глаза и уха я вижу и слышу время и место, когда должна выйти в свет моя книга; иногда, по тем же самым причинам, почему бывает ясно мне движение души человека, становится мне ясно и движение массы. Разве ты не видишь, что еще и до сих пор все принимают мою книгу за сатиру и личность, тогда как в ней нет и тени сатиры и личности, что можно заметить вполне только после нескольких чтений; а книгу мою большею частию прочли только по одному разу все те, которые восстают против меня. Еще смотри, как гордо и с каким презрением смотрят все на героев моих. Книга писана долго; нужно, чтоб дали труд всмотреться в нее долго. Нужно, чтобы устоялось мнение. Против первого впечатления я не могу действовать. Против первого впечатления должна действовать критика, и только тогда, когда, с помощью ее, впечатления получат образ, выйдут сколько-нибудь из первого хаоса и станут определительны и ясны, тогда только я могу действовать против них. Верь, что я употребляю все силы производить успешно свою работу, что вне ее я не живу и что давно умер для других наслаждений. Но, вследствие устройства головы моей, я могу работать вследствие только глубоких обдумываний и соображений, и никакая сила не может заставить меня произвести, а тем более выдать, вещь, которой незрелость и слабость я уже вижу сам; я могу умереть с голода, но не выдам безрассудного, необдуманного творения. Не осуждай меня! Есть вещи, которые нельзя изъяснить. Есть голос, повелевающий нам, пред которым ничтожен наш жалкий рассудок, есть много того, что может только почувствоваться глубиною души, в минуту слез и молитв, а не в минуты житейских расчетов!

Но довольно. Теперь я приступаю к тому, о чем давно хотел поговорить и для чего как-то не имел достаточных сил. Но помолясь, при-

ступаю теперь твердо. Это письмо прочитайте вместе: ты, Погодин и Серг⟨ей⟩ Тим⟨офеевич⟩. С вами ближе связана жизнь моя [147], вы уже оказали мне те высокие знаки святой дружбы, которые основаны не на земных отношениях и узах и от которых не раз струились слезы в глубине души моей. От вас я теперь потребую жертвы, но эту жертву вы должны принесть для меня. Возьмите от меня на три или на четыре даже года все житейские дела мои. Тысячи есть причин, внутренних и глубоких причин, почему я не могу, и не должен, и не властен думать о них. Не в силах я изъяснить вам их; они ⟨все⟩ находятся в таких соприкосновениях со внутренней моей жизнью, что я не в силах стать в холодное и вполне спокойное состояние души моей, дабы изъяснить все сколько-нибудь понятным языком. Ничего не могу я вам сказать, как только то, что это слишком важное дело. Верьте словам моим, и больше ничего. Если человек в полном разуме, в зрелых летах своих, а не в поре опрометчивой юности, человек, сколько-нибудь чуждый неумеренностей и излишеств, омрачающих очи, говорит, не будучи в силах объяснить бессильным словом, говорит только из глубины растроганной глубоко души,— верьте мне, тогда нужно поверить словам такого человека. Не стану вам говорить, что благодарность моя будет за это вам бесконечна, как бесконечная к нам любовь Христа, спасителя нашего. Прежде всего я должен быть обеспечен на три года. Распорядитесь, как найдете лучше, со вторым изданием и с другими, если только последуют; но распорядитесь так, чтоб я получал по шести тысяч в продолжение трех лет всякий год. Это самая строгая смета. Я бы мог издерживать и меньше, если бы оставался на месте; но путешествие и перемены мест мне так же необходимы, как насущный хлеб. Голова моя так странно устроена, что иногда мне вдруг нужно пронестись несколько сот верст и пролететь расстояние, для того, чтоб менять одно впечатление другим, уяснить духовный взор и быть в силах обхватить и обратить в одно то, что мне нужно. Я уже не говорю, что из каждого угла Европы взор мой видит новые стороны России и что в полный обхват ее обнять я могу только, может быть, тогда, когда огляну всю Европу. Поездка в Англию будет слишком необходима мне, хотя внутренно я не лежу к тому и хотя не знаю еще, будут ли на то какие средства. Издание и пересылку денег ты, как человек точный более других, должен принять на себя. Высылку денег разделить на два срока: первый — к 1 октябрю и другой — к 1 апрелю в место, куда я напишу, по три тысячи; если же почему-либо неудобно, то на три срока, по две тысячи. Но, ради бога, чтобы сроки были аккуратны. В чужой земле иногда слишком приходится трудно. Теперь, например, я приехал в Рим в уверенности, что уже найду здесь деньги, назначенные мною к 1 октября, и вместо

того вот уже шестой месяц я живу без копейки, не получая ниоткуда, В первый месяц мы даже победствовали вместе с Языковым; но, слава богу, ему прислали, сверх ожиданья, больше, и я мог у него занять две тысячи с лишком. Теперь мне следует ему уже и выплатить. Ниоткуда не шлют мне, из Петербурга я не получил ни одного из тех подарков, которые я получал прежде, когда был там Жуковский. Вот уже четвертый месяц, как я не получаю даже ни письма, ни известия и не знаю, что делается с печатанием. Подобные обстоятельства бывают иногда для меня роковыми, не житейским бедствием своим и нищетой стесненной нужды, но состоянием душевным. Это бывает роковым, когда случается в то время, когда мне нужно вдруг сняться и сдвинуться с места и когда я услышал к тому душевную потребность; состояние мое бывает тогда глубоко тяжело и оканчивается иногда тяжелой болезнью. Два раза уже в моей жизни мне приходилось слишком трудно... Не знаю, дадите ли вы веру словам моим, но слова мои душевная правда. И много у меня пропало чрез то времени, за которое не знаю чего бы не заплатил; я так же расчетлив на него, как расчетлив на ту копейку, которую прошу себе (у меня уже давно все мое состояние — самый крохотный чемодан и четыре пары белья). Итак, обдумайте и посудите об этом. Если не станет для этого денег за выручку моих сочинений, придумайте другие средства. Рассудите сами: я думаю, я уже сделал настолько, чтобы дали мне возможность окончить труд мой, не заставляя меня бегать по сторонам, подыматься на аферы, чтобы таким образом приводить себя в возможность заниматься делом, тогда как мне всякая минута дорога и тогда как я вижу надобность, необходимость скорейшего окончания труда моего. Если ж средств не отыщется других, тогда прямо просите для меня; в каком бы то ни было виде были мне даны, я их благодарно приму, и, может быть, всякая копейка, брошенная мне, помолится о спасении души тех, которые бросили мне эту копейку. Но если эта копейка будет брошена вследствие отказа в чем-либо нужном себе, тогда не берите этой копейки; я не должен никому стоить лишения и теперь еще не имею права. Относительно другой части дел моих, насчет матери моей и сестер, я буду писать к Сергею Тимофеевичу и Погодину и изложу им, каким образом по имению поступить наилучше, если потребуется надобность такая. Я, сделав все, что мог, отдал им свою половину имения, сто душ, и отдал, будучи сам нищим и не получая достаточно для своего собственного пропитания. Наконец, я одевал и платил за сестер и это делал не от доходов и излишеств, а занимая и наделав долгов, которые должен уплачивать. Погодин меня часто упрекал, что я сделал мало для семьи и матери. Но откуда же и чем я мог сделать больше, мне не указал

никто на это средств. Я даже полагаю, что в делах моей матери гораздо важнее и полезнее будет умный совет, чем другая помощь. Имение хорошо, двести душ, но, конечно, маменька, не будучи хозяйкой, не в силах хорошо управиться; но в помощах такого рода должно прибегать к радикальным средствам, и об этом я буду писать к Сергею Тимофеевичу и Погодину, надеясь на прекрасные души их и на нежное участие их. И дай бог, чтоб я в силах был написать только; но мне кажется, что они лучше могут почувствовать мое положение, если только вникнут глубоко в мое положение. Боже! как часто недостает ни слов, ни выражений мне тогда, как толпится в душе много того, что б хотела выразить и сказать моя душа, и как ужасно тяжело бывает мне написать письмо... Есть миллионы причин, почему я не могу войти в дела житейские и относящиеся ко мне. Еще раз я должен сказать это: отнимите от меня на три, на четыре года все это.

Если Погодин и Сергей Тимофеевич найдут необходимость точно помочь иногда денежным образом моей матери, тогда, разумеется, взять из моих денег, вырученных за продажу, если только они окажутся; но нужно помнить тоже слишком хорошо мое положение, взвесить то и другое, как повелит благоразумие. Они на своей земле, в своем имении и, слава богу, ни в каком случае не могут быть без куска хлеба. Я в чужой земле и прошу только насущного пропитания, чтоб не умереть мне в продолжение каких-нибудь трех, четырех лет. Но да внушит вам бог и вразумит вас! Вы всячески сделаете умнее и лучше меня. Напиши мне, могу ли я надеяться получить в самом коротком времени, то есть накопилось ли в кассе для меня денег? Мне нужны по крайней мере три тысячи пятьсот; две тысячи с лишком я должен отдать Языкову, да тысячу с лишком мне нужно вперед для прожитья и поднятья из Рима.

Что касается до моего приезда в Москву, то ты видишь, что мне для этого необходимости не настоит, и, взглянувши глубоким оком на все, ты увидишь даже, что я не должен этого делать прежде окончания труда моего. Это, может быть, даже слишком тягостная мысль для сердца, потому что, сказать правду, для меня давно уже мертво все, что окружает меня здесь, и глаза мои всего чаще смотрят только в Россию, и нет меры любви моей к ней, как нет меры любви моей к вам, которой я не в силах и не могу рассказать. Прощайте, пишите мне хоть по одной строчке, хоть по самой незначительной строчке. Письма ваши очень важны для меня, и они будут после еще важнее и значительней, когда я останусь один и потребую пустыней и удалений от всего для глубокого воспоминанья, душевного воспитанья, которое совершается внутри меня святой, чудесной волею небесного отца

нашего. Прощай, я буду к тебе писать, может быть, скоро, вследствие другой уже моей потребности душевной. Целую и обнимаю тысячи раз... На это письмо дай немедленный ответ, чтобы я знал, что ты получил его. И если набрались деньги, то высылай их немедленно на имя Валентини, Piazza Apostoli, palazzo Valentini, потому что в апреле месяце мы думаем подняться из Рима.

Твой *Гоголь»*.

Прочитав теперь внимательно, конечно не в первый раз, эти оба замечательные, задушевные письма, я должен признаться, что тогда они не были поняты и почувствованы нами, как того заслуживают. Я принял их к сердцу более моих товарищей. Погодин мутил нас обоих своим ропотом, осуждением и негодованием. Он был ужасно раздражен против Гоголя. Впоследствии докажет это его письмо к нему и ответ Гоголя. Шевырев хотя соглашался со многими обвинениями Погодина, но, по искренней и полной преданности своей к Гоголю, от всего сердца был готов исполнять его желания. Дело в самом деле было затруднительно: все трое мы были люди весьма небогатые и своих денег давать не могли. Сумма, вырученная за продажу первого издания «Мертвых душ», должна была уйти на заплату долгов Гоголя в Петербурге. Выручка денег за полное собрание сочинений Гоголя печатаемых в Петербурге Прокоповичем (за что мы все на Гоголя сердились), казалась весьма отдаленною и даже сомнительною: ибо надобно было предварительно выплатить типографские расходы, простиравшиеся до семнадцати тысяч и более рублей ассигнациями. Цена непомерная, несмотря на то, что печаталось около пяти тысяч экземпляров. Мы рассчитывали, что в Москве понадобилось бы на все издание не более одиннадцати тысяч.

Если мои записки войдут когда-нибудь, как материал, в полную биографию Гоголя, то, конечно, читатели будут изумлены, что приведенные мною сейчас два письма, написанные словами, вырванными из глубины души, написанные Гоголем к лучшим друзьям его, ценившим так высоко его талант — были приняты ими с ропотом и осуждением, тогда как мы должны были за счастье считать, что судьба избрала нас к завидной участи: успокоить дух великого писателя, нашего друга, помочь ему кончить свое высокое творение, в несомненное, первоклассное достоинство которого и пользу общественную мы веровали благоговейно. Я сам теперь удивляюсь этому. Все, что можно сказать в объяснение такой странности, заключается в одном слове: не было полной доверенности к Гоголю. Скрытность его характера, неожиданный отъезд из Москвы, без предварительного совета с нами, печатанье своих сочинений в Петербурге, поручение такого

важного дела человеку совершенно неопытному, тогда как Шевырев соединял в себе все условия, нужные для издателя, не говоря уже о горячей и преданной дружбе; наконец, свидание Гоголя в Петербурге с людьми нам противными, о которых он думал одинаково с нами (как то с Белинским, Полевым и Краевским) [148],— все это вместе поселило некоторое недоверие даже в Шевыреве и во мне; Погодин же видел во всем этом только доказательство своему убеждению, что Гоголь человек неискренний, что ему верить нельзя. Мы с Шевыревым не принимали такого убеждения, особенно я. Я объяснял поступки Гоголя странностью, капризностью его художнической натуры; а чего не мог объяснить, о том старался забыть, не толкуя в дурную сторону.

Первым моим делом было послать деньги Гоголю; на ту пору у меня случились наличные деньги, и я мог отделить из них тысячу пятьсот рублей. Такую же сумму думал я занять у Свербеева [149]. Я отправился к нему немедленно, рассказал все дело и — получил отказ. Благосостояние ⟨его⟩ и значительный капитал, лежавший в ломбарде, были мне хорошо известны. Я сделал ему горький упрек; но Свербеев, не обижаясь им, твердил одно: «Я принял за правило не давать денег взаймы, а дарить такие суммы я не могу». Я отвечал ему довольно жестко и хотел уйти, но жена его прислала просить меня, чтоб я к ней зашел. Я исполнил ее желание, и хотя не был с ней очень близок, но в досаде на ее супруга я рассказал ей, для чего я просил взаймы денег у Дмитрия Николаевича и по какой причине получил отказ. Катерина Александровна вспыхнула от негодования и вся покраснела. Она быстро встала с своего дивана, на котором полулежала в грациозной позе, и, сказав: «Я вам даю охотно эти деньги»,— вышла в другую комнату и через минуту принесла мне тысячу пятьсот рублей. Я, признаюсь в моей вине, не ожидал от нее такого поступка, поблагодарил ее с волнением и горячностью. Между тем явился Свербеев, и я беспощадно подразнил и пристыдил его поступком Кат⟨ерины⟩ Алек⟨сандровны⟩; Свербеев был очень смешон: пыхтел, отдувался и мог только сказать: «Это ее деньги, она может ими располагать, но других от меня не получит». Очень довольный, что скоро нашел деньги, я сейчас отправил их в Рим через Шевырева и написал письмо к Гоголю. Через полгода он хотел выслать остальные три тысячи рублей. Не знаю хорошенько, были ли эти деньги высланы к Гоголю, ибо денежные его обстоятельства вскоре переменились. Во-первых, потому, что вследствие представления графа Уварова [150] государь приказал производить Гоголю по три тысячи рублей в продолжение трех лет, и, во-вторых, потому, что продажа полных сочинений Гоголя, несмотря на чрезвычайные расходы и контрфакцию,

доставила значительную сумму денег: их доставало и на добавок к содержанию Гоголя, и на уплату его долгов, и даже на добрые тайные дела *. Впрочем, я хорошо не знаю денежных дел Гоголя; всем этим заведовал с неусыпным старанием Шевырев **.

Вот письмецо без числа [151], но помеченное, что получено мною 22 апреля 1843 года.

⟨*7 апреля*⟩

«Я получил письмо от маменьки. Дела ее устроились; на этот год по крайней мере она обеспечена. В письме (которое вы, без сомнения, уже получили от меня чрез Хомякова) я забыл спросить вас, получили ли вы письмо, в котором я просил вас о постановке «Ревизора». В нем было вложено письмецо к Ольге Семеновне и Конст⟨антину⟩ Сергеевичу, получили ⟨ли⟩ они эти письма и отчего никто из них не отвечал ниже́ двумя строчками? Что касается до Щепкина, то его просто следует выбранить. Я писал два письма к нему. Я не сержусь на него, если уж у него такой обычай, чтобы не отвечать на письма. Но он должен по крайней мере сказать вам, чтобы вы уведомили меня, что письма точно получены, чтобы я не думал по крайней мере, что пропадают они. Подумайте сами, что не могло прийти в мою голову, когда во время самое трудное для меня и такое время, когда я ожидал более всего писем отвсюду, решительно отвсюду, и в это время все будто сговорились и бросили меня на три месяца самого тягостного состояния. Не забывайте меня, бесценный друг. Вы уже знаете из письма, которое получили от Хомякова, как нужно писать ко мне. Да хранит вас бог всех в ненарушимой светлости души и здоровье. Адресуйте в Гастейн (в Тироле) Poste restante».

Я не помню, чтоб когда-нибудь получил письмо от Гоголя через Хомякова, и вообще я удивляюсь и не знаю, какая могла быть причина, что мы так долго не писали к Гоголю? Надобно предположить, что письма как-нибудь задерживались на почте или вовсе не доходили.

Следующее письмо Гоголя к Ольге Семеновне, вероятно, писано в апреле 1843 года, потому что писано в ответ на поздравление Гоголя с днем его рождения, 19 марта.

* Вслед за моими деньгами Гоголь получил тысячу рублей серебром от Прокоповича в счет будущих доходов за продажу сочинений.

** Здесь, безусловно, должна находиться следующая фраза, ошибочно отнесенная С. Т. Аксаковым к описанию более ранних событий (распродажа первого тома «Мертвых душ»): «Я сам немедленно отвез полторы тысячи руб⟨лей⟩ асс⟨игнациями⟩ Кат⟨ерине⟩ А⟨лександровне⟩ Свербеевой, которая так прекрасно поправила неизвинительный отказ своего супруга».— *Ред.*

«Благодарю вас, Ольга Семеновна, за поздравление с днем рождения моего. Посылаю вам душевный поклон мой. Вы говорите, что для вас необходимо письмо мое, которое бы в минуту грусти и тревожного состояния души вознесло дух ваш превыше всего окружающего. Но какое письмо в силах это сделать? Глядите просто на мир: он весь полон божиих благодатей, в каждом событии сокрыты для нас благодати, неистощимыми благодатями кипят все несчастия, нам ниспосылаемые, и день, и час, и минута нашей жизни ознаменованы благодатями бесконечной любви. Чего ж вам более для возвышения духа? Будьте просто светлы душой, не мудрствуя. И если это вам покажется трудно и невозможно подчас,— все равно, старайтесь только стремиться к светлости душевной — и она придет к вам. Стремясь к светлости, вы стремитесь к богу, а бог помогает к себе стремиться. Старайтесь просто, безо всякого напряжения душевного быть светлу, как светло дитя в день светлого воскресения, и вы много, много выиграете и незаметно вознесетесь выше всего окружающего. Если же вы все-таки убеждены в той мысли, что вам нужно письмо мое, то напишите Лизе, чтобы она прислала вам копию с того длинного письма, которое я посылаю к ним в одно время с вашим. Ей нечего секретничать с вами, и она должна прислать добросовестную копию, не выпуская ни одного слова. Хотя в письме этом заключаются обстоятельства, собственно к ним относящиеся, но я молился в то время, когда писал его, и просил бога, чтобы для всякого, кому бы ни случилось читать его, было оно благодетельно, а потому, может быть, вы отыщете в нем что-нибудь собственно для себя. Вы пишете, что не смущают вас никакие толки и речи обо мне и что вы верите душе моей. Конечно, последнее благоразумно. Благоразумнее верить тому, что происходит из души, чем тому, что происходит невесть из какого угла и баламутицы. Веря в душу человека, вы верите в главное, а веря в пустяки, вы все-таки верите в пустяки и никогда не узнаете человека. Прощайте! Помните все это и будьте светлы душой. Душевно обнимаю вас и все ваше семейство.

Передайте два при сем следуемые письма по принадлежности».

При хладнокровном взгляде на письма Гоголя можно теперь видеть, что большое письмо его о путешествии в Иерусалим, а равно вышеприведенное письмецо к Ольге Семеновне содержит в себе семена и даже всходы того направления, которое впоследствии выросло до неправильных и огромных размеров. Письмо к сестре, о котором упоминает Гоголь, осталось нам неизвестным. Но письма к другой сестре его, Анне Васильевне, написанные, без сомнения, в том же духе, находятся теперь у Кулиша, и мы их читали.

Вот, наконец, письмо с уведомлением о получении денег, писанное, без сомнения, в мае месяце 1843 года.

⟨24 мая. Гастейн.⟩

«Ваше письмо и деньги, бесценный друг мой, я получил исправно и скоро, и медлил ответом, выжидая писем от Шевырева и Погодина. Наконец, спустя две недели после вашего письма, получил я письмо от Шевырева от имени вас всех. В нем видна прекрасная душа писавшего, хотя заключается, впрочем, и журьба и что-то вроде не совсем отчетливого нагоняя, который, может быть, и справедлив со стороны вашей или, лучше, со стороны Погодина, от которого, я думаю, проистек он. Но все же таки следует подумать и то: однако ж мне не известна еще его сторона, и странно бы мне по моей натуре судить о натуре другого, когда эта натура так несходна с моею. Но оставим все это. Смерть не люблю изъяснений. Все это неразумная трата слов и больше ничего. Лицо я гласное, стало быть, и все, что бы я ни сделал, будет гласно всем, дурное, если есть у меня, то уж его никак не спрячешь. Шила в мешке не утаишь; оно где-нибудь да выткнется непременно. Оправдываться — значит не доверять времени, которое уяснит все.

Вслед за вашими деньгами я получил еще от Прокоповича тысячу, стало быть, за первый год мне следует получить одну тысячу. Обо всем этом я уведомил уже Шевырева. Прокоповичу я написал выслать немедленно тысячу экземпляров и в продаже находящихся у него давать отчет в Москву всякий раз за два месяца до срочной высылки мне денег, дабы видеть по накопившейся сумме, откуда произвести мне высылку, из Петербурга или из Москвы. Прокопович находится вместе с экземплярами в полном распоряжении вашем, так что если бы потребовалось и все экземпляры выслать, то он их вышлет, но в этом я не вижу надобности: после вновь их нужно присылать в Петербург для тамошних книгопродавцев. К тому же экземпляры безопасны, если они только все находятся в руках Прокоповича, а не типографии, о проделках которой я узнал только теперь из письма Прокоповича. Он скрывал от меня, не желая меня ничем возмутить и думая расплатиться банковыми билетами покойного своего брата (выдачею которых водили его несколько месяцев в присутственных местах).

Но довольно толковать. Дела мои, как видите, все теперь в ваших руках. Обратимся собственно к нам самим. Я заехал на несколько дней в Гастейн, отдохнуть от дороги, и отправляюсь в Дюссельдорф, где проведу часть зимы, а остальную в Голландии, а потому письма адресуйте все в Дюссельдорф. Хорошо бы было, если бы вы прислали

что-нибудь из тех книг, которых я просил. Из Москвы, вероятно, отправляются немало этот год за границу, а так как всякий положил себе за правило побывать на Рейне, то ему немного труда будет стоить завезти посылку в Дюссельдорф и отдать ее Жуковскому.

На Константина Сергеевича я решительно теперь сердит. Он мне не пишет ни строчки, но вот лучше к нему самому записка. А вас обнимаю всею душою вместе с милым семейством вашим и жду от вас летних известий о покупке дачи и о прочем.

Н. Г.

Записка Константину Сергеевичу.

Что ж вы, Константин Сергеевич, мне ни слова? Я нахожусь в совершенном неведении теперь обо всех делах, которые делаются на свете. Не знаю, что делает Москва, ни о чем говорит она, ни что думает, ни о чем спорит, словом, не знаю вовсе, о чем идет теперь дело. Если вы несколько смутились письмом моим, которое когда-то было писано вам, то это письмо писано не в строку текущих дел, это письмо писано так, мимо, на него ответ вы мне дадите года через четыре. А известия текущие должны идти своим чередом, а потому вы уведомите меня обо всем, что делали и что слышали с самого того дня, как перестали ко мне писать: и что Николай Филиппович, и что Каролина Карловна, и что Ховрина [152], и что Самарин, и какие эффекты производите вы в чтениях, и что говорят вообще о чтениях Мих⟨аила⟩ Семеновича *. Все это, вы знаете, мне интересно [153]. Простите, что я вас не благодарил до сих пор за присылку ваших статей о «М⟨ертвых⟩ д⟨ушах⟩». И та и другая имеют свои достоинства (писанная, как мне кажется, должна принадлежать Самарину). Но в печатной, не погневайте, видно много непростительной юности, и писанная кажется перед нею написанною стариком. Хотя в ней и нет тех двух-трех истинно поэтических мыслей, как в вашей.

Прощайте. Обнимаю вас».

В приписке к Константину, вероятно, Гоголь говорит о прежнем своем письме [154]. Впрочем, может быть, было и другое, как-нибудь затерянное, содержание которого я забыл. Вместе с печатной брошюркой Константина была послана рукописная статья Самарина, вполне заслуживающая отзыв Гоголя.

Вот ответ Гоголя на письмо Ольги Семеновны от 22 апреля.

---

* Щепкин и, кажется, Садовский давали публичные чтения сочинений Гоголя. Разумеется, успех был, но не такой, какого можно было ожидать.

«20 июня. Дюссельдорф.

Я получил от вас, Ольга Семеновна, письмо, присланное мне из Рима (от 22 апреля старого стиля), на которое нахожу приличным сей же час отвечать. Вы неправы в том, что упрекаете себя за то, что предложили маменьке взять деньги, вырученные за продажу «М⟨ертвых⟩ д⟨уш⟩» и разрушили, как вы говорите, деликатные семейственные отношения. Во-первых, вы не могли знать этих отношений. Во-вторых, в самом поступке вашем ничего нет неблагоразумного и никакого худого намерения. А все то, в чем нет дурного намерения и что вместе с тем не противно здравому рассудку, данному нам богом, не есть уже грех. Если же оно предпринято еще к тому с добрым намерением и желанием истинного добра, то уже оно никогда не может послужить худому. Бог направит его всегда к хорошему, хотя вовсе другим путем, чем мы думаем. В-третьих, в отношении меня вам вовсе не следует руководствоваться ни в каком случае осторожностью оскорбить какие-либо тонкие отношения. Со мной нужно все спроста — и к тому же все случаи в жизни обращаются мне в пользу. Так по крайней мере было доселе, и так, я верю, будет вперед.

Письмо ваше заставило маменьку написать ко мне два такие письма, которые заставили меня строго подумать о другой важнейшей помощи, которой они все вправе ожидать от меня, и я написал, наконец, то письмо, которое бы мне давно следовало написать [155], но которого бы я не сумел никогда написать, не получивши прежде этих двух писем. Правда, обдумыванье его у меня отняло много времени, и я ничем не в силах был заняться до тех пор, пока не написал его. Но я исполнил свой долг и покоен в душе. И теперь вас благодарю за то, за что вы себя упрекаете. А лучше все поблагодарим бога за все, что ни посылается нам. Ибо все, что ни посылается нам, посылается на вразумление и уяснение очей наших. Прощайте!»

Письмо это объясняется само собою; но сначала Гоголь сам был недоволен, и потому Ольга Семеновна писала к нему письмо, в котором обвиняла себя за то, что вмешалась не в свое дело. Что же касается до письма, писанного Гоголем к матери или вообще к своему семейству, то я его не знаю. Без сомнения, оно было нравственно-поучительного содержания. Очевидно, что мысль наставлять, поучать других уже существовала в голове Гоголя.

Далее следует письмо из Бадена от 24 июля 1843 года.

«Благодарю вас за книги, которые получил от кн⟨язя⟩ Мещер⟨ского⟩ [156] в исправности. Вообще все посылки доходят до меня

исправно: русские встречаются между собой поминутно и имеют всегда возможности препроводить и передать туда, где я. Мне жаль, что вы не дали знать Шевыреву, он бы тоже прислал мне свою речь об воспитании и взгляд на русск⟨ую⟩ слов⟨есность⟩ за прошлый год [157]. Может быть, даже накопились и кое-какие критики и разборы моих сочинений. Всего этого мне бы очень хотелось.

Какая, между прочим, я скотина: я написал к вам не размысливши об одном пункте письма, писанного Шевыревым от вас всех. Еще недавно я прочел его вновь. Письмо это так прекрасно и такой исполнено дружбы, что я удивлялся не один раз, как гадок человек: ему достаточно увидеть одно пятнышко какое-нибудь, и уж он только и видит пред собою это пятнышко, все прочее ему нипочем.

Мне просто показалось, будто до сих пор еще не верят душевному моему слову. Я вспомнил одно обстоятельство Погодина относительно меня, которое просто произошло от простоты его, а не от чего другого, и в это время скользнула мне в письме одна фраза, показавшаяся намеком на то же. Но в сторону об этом. Оно послужит пусть уроком, что ни в каком случае не следует предаваться первому впечатлению, особенно если оно сколько-нибудь неспокойно и если примешалась какая-нибудь оскорбленная мелкая страстишка. Слухи, которые дошли до вас о «М⟨ертвых⟩ д⟨ушах⟩», все ложь и пустяки. Никому я не читал ничего из них в Риме, и, верно, нет такого человека, который бы сказал, что я читал что-либо вам не известное. Прежде всего я бы прочел Жуковскому, если бы что-нибудь было готового. Но, увы, ничего почти не сделано мною во всю зиму, выключая немногих умственных материалов, забранных в голову. Дела, о которых я писал к вам и которые просил вас взять на себя, слишком у меня отняли времени, ибо я все-таки не мог вполне отвязаться и должен был многое обработать оставшееся на мне, от которого иначе я не мог никак избавиться. Вы уже сами могли чувствовать по той просьбе, по отчаянному выражению той просьбы, какою наполнено было письмо мое к вам, как много значило для меня в те минуты попечение о многом житейском. Но так было, верно, нужно, чтобы время было употреблено на другое. Может быть, и болезненное мое расположение во всю зиму и мерзейшее время, которое стояло в Риме во все время моего пребывания там, нарочно отдаляло от меня труд для того, чтобы я взглянул на дело свое с дальнего расстояния и почти чужими глазами.

Но прощайте. Будьте здоровы. Пишите по-прежнему в Дюссельдорф, Poste restante. Я только на одну неделю в Бадене. Жуковский тоже не в Дюссельдорфе, а в Емсе на водах. Уведомьте, купили ли

дачу. Мне кажется, что вам поездка в Оренбургскую губернию пригодилась бы лучше всего».

Как много говорит это письмо в пользу Гоголя. Из предыдущего письма ко мне точно можно было заметить, что Гоголь был не совсем доволен письмом Шевырева, писавшего от себя и от Погодина вместе. Но он выразился так скромно, так кротко, как нельзя более; и со всем тем он раскаялся и в этих немногих словах и в чувстве негодования против Погодина. Вероятно, в письме к Шевыреву Гоголь обвинял себя еще более и выражал еще нежнее чувство своей благодарной дружбы.

Решительно не знаю, какие житейские дела могли отнимать у Гоголя время и могли мешать ему писать? * Мне кажется, эта помеха была в его воображении. Я думаю, что Гоголю начинало мешать его религиозное направление. Впрочем, это слово не выражает дело; это собственно не религиозное, а нравственно-наставительное, так сказать, направление. Гоголь, погруженный беспрестанно в нравственные размышления, начинал думать, что он может и должен поучать других и что поучения его будут полезнее его юмористических сочинений. Во всех его письмах тогдашнего времени, к кому бы они ни были писаны, уже начинал звучать этот противный мне тон наставника. В это время сошелся он с графом А. П. Толстым [158], и я считаю это знакомство решительно гибельным для Гоголя. Не менее вредны были ему дружеские связи с женщинами, большею частью высшего круга. Они сейчас сделали из него нечто вроде духовника своего, вскружили ему голову восторженными похвалами и уверениями, что его письма и советы или поддерживают, или возвращают их на путь добродетели. Некоторых я даже не знаю и назову только Виельгорскую, Соллогуб и Смирнову [159]. Первых двух, конечно, не должно смешивать с последней; но высокость нравственного их достоинства, может быть, была для Гоголя еще вреднее: ибо он должен был скорее им поверить, чем другим. Я не знаю, как сильна была его привязанность к Соллогуб и Виельгорской; но Смирнову он любил с увлечением, может быть потому, что видел в ней кающуюся Магдалину и считал себя спасителем ее души. По моему же простому человеческому смыслу, Гоголь, несмотря на свою духовную высоту и чистоту, на свой строго монашеский образ жизни, сам того не ведая, был несколько неравнодушен к Смирновой, блестящий ум которой и живость были тогда еще очаровательны. Она сама сказала ему один

* Книжными делами заведовали Прокопович и Шевырев; в деньгах он был обеспечен, из дома его ничто не беспокоило.

раз: «Послушайте, вы влюблены в меня?..» Гоголь осердился, убежал и три дня не ходил к ней.

Все это наделала продолжительная заграничная жизнь вне отечества, вне круга приятелей и литераторов, людей свободного образа мыслей, чуждых ханжества, богомольства и всяких мистических суеверий. Впрочем, я считаю, что ему также была очень вредна дружба с Жуковским, которого без сомнения погубила та же заграничная жизнь. Так по крайней мере я думаю.

Вот еще коротенькое письмецо Гоголя:

«Дюсс⟨ельдорф⟩. 30 августа.

Письмо ваше и вместе с ним другие, приобщенные к нему, я получил. Книги получены также в исправности, как чрез к⟨нязя⟩ Мещер⟨ского⟩, так и чрез Валуева [160]. Перешлите мне, если найдете оказию, «Москвитянин» за этот год: там есть статьи, меня интересующие очень. О благодарности за все ваши ласки нечего и заикаться. Константина Сергеев⟨ича⟩ благодарю также за письмо, хотя не мешало бы ему быть и подлиннее. Если увидите Шевырева, то напомните ему о присылке мне остальной тысячи за прошлый год. Да если можно, вместе с тем и вперед, что есть. Ибо первого октября, как вы знаете, срок и время высылки. Душевно скорбел я о недугах Ольги Сергеев⟨ны⟩ [161] и мысленно помолился о ниспослании ей облегченья.

Прощайте, душевно вас обнимаю всех.

Адрес по-прежнему в Дюссельдорф».

Более писем Гоголя к нам в этом году не нашлось. В это время Погодин, бывший жестоко раздражен против Гоголя и не писавший к нему ни строчки, вдруг прислал мне для пересылки маленькое письмецо, которое я вместе с своим и отослал к Гоголю. Я считаю себя вправе поместить его в моих записках, потому что оно было возвращено мне Гоголем вместе с его ответом Погодину.

«Москва. 1843 г., сент. 12/24.

Наконец, нашел я в себе силу увидеть тебя, заговорить с тобою, написать к тебе письмо. Раны сердца моего зажили или по крайней мере затянулись... Ну что, каков ты? где ты? что ты? куда? Я чувствую себя теперь довольно хорошо, пил опять марьенбадскую воду, а теперь на простой. Но зима была тяжелая: часто показывалась кровь из горла, и голова беспрестанно тяжела.

Не случилось ли чего особенного в душе у тебя около 3/15 сент⟨ября⟩? Ты знаешь, что я немножко по Глинкиной части [162] и верю миру невидимому с его силами. Около 3-го числа я как будто примирился с тобою, а до тех пор я не мог подумать о тебе без треволнения! Когда ты затворил дверь, я перекрестился и вздохнул свободно, как будто гора свалилась у меня тогда с плеч; все, что узнавал я после — прибавило мне еще больше муки, и ты являлся, кроме святых и высоких минут своих, отвратительным существом...

Посетив мать твою в прошлом году, я почувствовал, что в глубине сердца моего таилась еще искра любви к тебе, но она лежала слишком глубоко. Наконец, я стал позабывать тебя, успокоивался... и теперь все как рукой снято. Ну, слава богу! Я готов опять и ругать и любить тебя.

Твой *Погодин*».

На этом заканчивается рукопись С. Т. Аксакова.





ЗАПИСКИ И ПИСЬМА

1843—1852 гг.

Ниже публикуются материалы, освещающие отношения Аксаковых и Гоголя в период с 1843 по 1852 год. Эта часть значительно расширена по сравнению с предыдущими изданиями. О принципах ее конструирования сказано в разделе «От редакции».

1843

Н. В. Гоголь — М. П. Погодину,
около 2 ноября н. ст. Дюссельдорф

Письмо было послано Аксакову для передачи Погодину.

«Между нами произошло непостижимое событие: ту же тяжесть какую ты чувствовал от моего присутствия, я чувствовал от твоего. Как из многолетнего мрачного заключения, вырвался я из домика на Девичьем поле. Ты был мне страшен. Мне казалось, что в тебя поселился дух тьмы, отрицания, смущения, сомнения, боязни. Самый вид твой, озабоченный и мрачный, наводил уныние на мою душу; я избегал по целым неделям встречи с тобой. Когда я видел, как с помощью какой-то непостижимой силы закрутился между нами вдруг какой-то посторонний вихрь, в каком грубом, буквальном смысле принимался всякий мой поступок, какое топорное значение давалось всякому моему слову — почти ужас овладевал моею душою. Я уверен, что я тебе казался тоже одержимым нечистою силою: ибо то, что ты приписывал мне в уединенные минуты размышлений (чего, может быть, не сказывал никому), то можно приписать только одному подлейшему лицемеру, если не самому дьяволу. Надобно тебе сказать, что все это слышала душа моя. Несколько раз хотел я говорить с тобой, чувствуя, что все дело можно объяснить такими простыми словами, что будет понятно ребенку. Но едва я начинал говорить, как эти объяснения вдруг удерживались целою кучею приходивших других

объяснений, объяснений душевных; но и им мешало излиться находившее вдруг негодование при одной мысли, против каких подлых подозрений я должен оправдываться и пред кем я должен оправдываться? Пред тем человеком, который должен был поверить одному моему слову. Но и негодование сменялось в ту же минуту презреньем к твоему характеру, который называл я внутренно бабьим, куриным, и, сказавши несколько бессвязных слов, которые ты все относил к моей необыкновенной гордости,— я бежал от тебя. А убежавши, утешал себя злобным выражением: «Пусть его путается! Душевному слову не поверил, пусть же поверяет умом своим!» Все это быстро сменялось одно за другим в душе моей, и когда я подходил к дверям своей комнаты, все это исчезало, и на место него оставался один вопрос: что это такое, что значит все это? Наконец, мало-помалу я начинал прозревать в этом событии справедливое себе наказание. Надобно сказать тебе, что, воспитываясь внутренно в душе моей, я уже начинал приобретать о себе гордые мысли. Мне уже казалось, что я ничем не могу быть рассержен и выведен из себя. Я старался мысленно сжиться со всеми возможными оскорблениями, несчастиями, старался их всех, так сказать, перечувствовать на своем теле и уже чувствовал, что душа моя приобретает крепость, что я могу снести то, чего не снесет иной человек. Словом, я уж чуть не почитал себя преуспевшим в мудрости человеком. И вдруг событие это дало почувствовать мне, что я еще ребенок и стою до сих пор на низших ступенях пути своего. Противу дальнейших случаев я приготовил в душе отпор, а против близких не приготовил. Все несчастия я бы, может быть, перенес, а не перенес *сомнения обо мне одного из близких*. И в душе моей проснулись те враги, которых я давно считал отступившими от меня: мерзкий, подлый и гадкий гнев, которого ничего нет подлее, который подл даже и тогда, когда вспыхнет от справедливых причин. А у меня он был и несправедлив: я рассердился на то, что ты схватил сгоряча топором там, где следовало употребить инструмент помельче. Наконец, я сердился на себя и за то, что не в силах был перенести этого хладнокровно. Все это, натурально, я должен был таить в душе и могу сказать только то, что от меня никто не узнал о том, что между нами происходили какие-нибудь неудовольствия. Но когда вырвался я от тебя, у меня была одна и та же мысль: написать тебе подробно всю мою исповедь. Но тут увидел, что наши жизни так разны, так много следовало выводить тебе объяснений для того, чтоб познакомить тебя и ввести в этом мир. Всякое слово требовало объяснений на целых страницах, чтоб не быть приняту в другом смысле... Почти отчаяние овладевало мною; я видел, что и конца не будет моей исповеди, а между тем оставить ее я не мог,

потому что мысль о ней мешала всякому занятию... Наконец, я попробовал написать тебе маленькое письмо, в котором просил просто прощения за все оскорбления, которые я нанес тебе, складывая все на мой неровный характер, припомня, что ты иногда многое, чего не мог понять во мне, объяснял им. На это письмецо не было ответа — и поделом. Оно не было удовлетворительно. Если бы оно было удовлетворительно, то по отправлении его в душе моей настало бы спокойствие; но мысль об этом мучила меня еще целый год. Наконец, после некоторых переездов из земли в другую, я стал покойнее и почувствовал, что могу объяснить хладнокровно все дело на нескольких страницах. Но получа твое нынешнее письмо, я отложил и эту мысль. Изъяснение будет уже походить на оправдание, а оправдание есть уже что-то подлое. Оправдывая себя, уже обвиняешь другого. Теперь же ты, как видно из письма твоего, хладнокровен и готов простить все. Итак, разбери сам все это дело. Не беспокойся: раны твои не оживут при этой работе, если ты точно решился простить. Тут-то и нужно представить живей все нанесенные нам оскорбления; а без того прощение ничего не значит, оно будет просто одно слабосильное забвение. Чтобы сделать это благороднее, начни обвинением самого себя, хотя бы ты и был прав. Я тебе помогу и скажу две твои первоначальные вины, от которых произошли все те поступки, на которые ты глядел, как на самобытные начала, и выводил из них отдельные истории, тогда как они все были звена одной и той же цепи. Вот эти вины: первая — ты сказал *верю* — и усумнился на другой же день, вторая — ты дал клятву ничего не просить от меня и не требовать, но клятвы не сдержал: не только попросил и потребовал, но даже отрекся и от того, что давал мне клятву. Отсюда произошло почти все. Но не пугайся: я больше твоего виноват, и ты увидишь, что я себя не пощажу, если начну обвинять. Но если ты начнешь обвинением себя, а не меня, тогда ты увидишь и свои и мои проступки. Припомни все. Я знаю, ты способен забывать; но, к счастью, я памятлив и уверен сильно в том, что и добро и зло следует помнить вечно. Добро нужно помнить для того, что уже и одно воспоминание о нем делает нас лучшими. Зло нужно помнить для того, что с самого того дня, как оно нам причинено, на нас наложен неотразимый долг заплатить за него добром. Больших моих проступков ты не позабудешь; но все малые мои мерзости и оскорбления, которые я нанес тебе, советую записать, чтобы я не напал на тебя врасплох и чтоб тебе не отречься от многих твоих же слов. Я вновь тебе повторяю, что помню все, даже угол и место комнаты, где было произнесено какое слово твое или мое. Когда я в силах буду глядеть на тебя, как на совершенно постороннего, чужого человека, у которого не было со мной

никаких связей и сношений, и когда таким же самым образом взгляну и на себя, как на совершенно чужого мне человека, тогда я дам тебе на все изъяснение. А между тем позволяю себе сделать следующее замечание. Ты никогда не всматриваешься во внутренний смысл и значение происходящих событий. Все события, особенно неожиданные и чрезвычайные, суть божьи слова к нам. Их нужно вопрошать до тех пор, пока не допросишься: что они значат, чего ими требуется от нас? Без этого никогда не сделаемся мы лучшими и совершеннее. Самое это затмение, которое произошло между нами, так странно, что его нужно помнить во всю жизнь нашу. Я уже извлек из него много для себя, советую и тебе сделать то же. Я знаю, что у тебя, за тысячью разных хлопот и забот, дергающих тебя со всех сторон, нет времени переворачивать на все стороны всякое событие и оглядывать его со всех углов. Но нужно это делать непременно хотя в те немногие минуты, когда душа слышит досуг и способна хотя несколько часов прожить жизнью, углубленною в себя. Иначе ум наш невольно привыкает к односторонности, схватывает только то, что поворотилось к нему, и потому беспрестанно ошибается. Недурно также, хотя по поводу этого события, руководствоваться какими-нибудь данными положениями относительно познания людей. Для этого есть, по моему мнению, два способа. Те, которые не получили от природы внутреннего чутья слышать людей, должны руководствоваться собственным разумом, который дан нам именно на то, чтобы отличать добро от зла. Разум велит нам судить о человеке прежде по его главным качествам, а не по частным: начинать с головы, а не с ног. Прежде следует взять все лучшее в человеке, потом сообразить с тем все замеченное нами в нем дурное и сделать такую посылку: возможны ли, при таких-то хороших качествах, такие-то и такие мерзости? Которые возможны, те допустить. которые же сколько-нибудь противоречат возможности и спутывают нас,— те нужно гнать, как вносящие одно смущение в душу, а смущение известно откуда исходит к нам: оно исходит к нам прямо снизу. От бога свет, а не смущение. Да притом можно иногда и то себе сказать: точно ли я увидел так, как следует, вещь? Зачем такая гордая уверенность в непреложности и безошибочности взгляда? Все же я человек, а не бог. Выгода этого способа та, что будешь, по крайней мере, покойнее, если даже и не узнаешь совершенно человека, а сделавшись покойнее, уже проложишь шаг к совершенному его узнанию. Если же к неспокойству нашему да подоспеет на помощь гнев, тогда и всякие зрящие глаза ослепнут. Есть другой способ узнавать людей, гораздо действительнейший первого, но для тебя, по множеству твоих забот и беспрестанному рассеянию твоих мыслей среди тысячи предметов, невозможный. Нужно

прожить долгою, погруженною глубоко в себя жизнью. Там обретешь всему разрешение. Света никогда не узнаешь, толкаясь между людьми. На свет нужно всмотреться только вначале, чтобы приобрести заглавие той материи, которую следует узнавать внутри души своей. Это подтвердят тебе многие святые молчальники, которые говорят согласно, что, поживши такой жизнью, читаешь на лице всякого человека сокровенные его мысли, хотя бы он и скрывал их всячески. Несколько я испытал даже это на себе, хотя жизнь мою можно назвать разве карикатурой на такую жизнь. Но, вкусивши одну крупицу такой жизни, я уже вижу ясней; и глаз и ум мой прояснился более (доказательством тому то, что вижу в себе более, чем когда-либо прежде, мои недостатки и нахожу их скорее, чем прежде), и несколько раз мне случалось читать на твоем лице то, что ты обо мне думал. Еще есть один способ, которым я руководствуюсь, если бы оба предыдущие не все объяснили мне. Если человек, хотя бы он был последний разбойник, но если этот человек, не плакавший ни пред кем, никому не показавший никогда слез своих, заплакал предо мною и во имя этих душевных слез потребовал веры к себе,— тогда все кончено: я ни глазам своим, ни уму своему, ни чувствам своим не поверю; а поверю всем словам его, произнесенным во имя этих слез! Но почему я так поступлю, этого я не обязан говорить, да и никого не склоняю следовать этому примеру, зная, что трудно отличить душевные слезы от иных слез. Но оставим все способы. А пока, если ты захочешь получше поверить и себя и меня, я тебе советую сделать вот что. У тебя будет одно такое время, в которое ты будешь иметь возможность прожить созерцательною и погруженною в самого себя жизнью, именно во время говения. Продли это время, если можно, подолее обыкновенного и займись в это время чтением одних таких книг, которые относятся к душе нашей и обнаруживают ее глубокие тайны. К счастию человечества, такие книги существуют, и было много передовых людей, проживших такою жизнью, которая доныне еще загадка. Книги эти настроят тебя к углублению в себя. Да и что говорить об этом! В такое время сам бог помогает человеку много и просвещает его мысленные взоры.

Скажу еще о последних словах твоего письма. Ты говоришь, что готов *снова ругать и любить меня.* За первое благодарю тебя душевно, потому что в этом теперь более, нежели когда-либо, слышу надобность; а на второе скажу вот что: любить мы должны всегда. И чем более в человеке дурных сторон и всяких мерзостей, тем, может быть, еще более мы должны ⟨его⟩ любить. Потому что, если среди множества дурных его качеств, находится хотя одно хорошее, тогда за это одно хорошее качество можно ухватиться, как за доску,

и спасти всего человека от потопления. Но это можно сделать только одною любовью, любовью, очищенною от всего пристрастного: ибо если подлое чувство гнева хотя на время взнесется над этою любовью, то такая любовь уже бессильна и ничего не сделает. Итак, не будем ничего обещать друг другу, а постараемся безмолвно исполнить все, что следует нам исполнить относительно друг друга, руководствуясь одною любовью по боге, принимая ее как наложенный на нас закон. Ответа и наград будем ожидать от бога, а не от себя, так что, если бы кто-нибудь из нас был неблагодарен, мы не должны даже и замечать этого. Бог не бывает неблагодарен! На таких положениях заключенная любовь или дружба неизменна, вечна и не подвержена колебаниям. А если мы заключим нашу дружбу вследствие каких-либо побуждений наших собственных, хотя бы очень чистых, да вздумаем начертывать друг для друга закон ее действий относительно нас или же требовать какого-либо возмездия за нашу дружбу, то узы такие будут гнилые нитки: черт завтра же посмеется над такою дружбою и напустит такого туману в глаза, что не только другого, но даже и самого себя не разберешь... Все это рассуди и взвесь хорошенько.

Письмо мое писано в минуту, не причастную волнению; стало быть, и прочесть ты его должен в минуту рассудительную и покойную. В чем я ошибаюсь, то укажи. Затем обнимаю тебя душевно.

Твой *Гоголь*».

Это письмо не было передано Аксаковым Погодину, о чем свидетельствует следующий отрывок письма Аксакова к Гоголю:

⟨*Ноябрь — декабрь. Москва.*⟩

«Я получил письмецо ваше, милый друг Николай Васильевич, из Дюссельдорфа от 2 ноября с приложением письма Погодину. По поручению вашему, мы с Шевыревым прочли его один раз вместе, да предварительно каждый из нас прочел его по нескольку раз. На общем совете мы положили: не отдавать письма Погодину до получения от вас ответа. Причины тому следующие: 1) Погодин нездоров и особенно расстроен о чем-то духовно. 2) Нам кажется, что это письмо не успокоит его, а раздражит, следственно, не достигнет цели, которую вы, без сомнения, имеете: внесть тишину и спокойствие в его душу. 3) Письмо ваше, как нам кажется, слишком жестоко его поразит в настоящее больное место; а сами вы обвиняете себя в общих выражениях, идущих к каждому человеку: такие обвинения нисколько не облегчают вины Погодина ни в его собственных глазах, ни в наших. Это тяжело. Разумеется, после письма Погодина вы имеете полное право отвечать ему таким же письмом; но здесь дело идет

не о том, кто прав. Вот наше мнение; мы решились откровенно высказать его вам. Вероятно, Шевырев напишет большое письмо и полнее изложит вам все, что мы с ним говорили. Я хотел сделать то же; но, вероятно, не сделаю, потому что весьма расстроен: больная наша [163] сильно нас беспокоит. Вы отгадали и должны были отгадать мои отношения с Погодиным. По моей еще не остывшей горячности и живости я много раз на него сердился. К несчастию, будучи слабым христианином, я не мог путем кротости и смирения и любви немедленно обезоруживать свой гнев, который вы справедливо браните; но время, рассудок и доброе сердце успокоивали меня и заставляли одуматься. Известная истина, всегда мною исповедуемая, что «надобно понимать человека, каков он есть, и не требовать от натуры его (разумеется, если в ней много доброго), чего в ней нет», вступала в свои права и усмиряла волнение души моей; но скажу по совести: между нами не может быть истинной дружбы. Можно найти причину его действий, извинить, оправдать их; можно уважать, даже любить этого человека; но дружба требует непременно одинаковости верований в некоторые предметы, одинаковости мнений о человеческом достоинстве. Не желая ничего скрыть в глубине сердца, я скажу вам, что не признаю истинной дружбы и между вами. Этим объясняется все. Нет и не может быть между вами полной веры, без которой нет истинной дружбы. Притом же у вас есть в характере — не то что неискренность, не то что неоткровенность (все это неточные выражения), а какое-то недоговаривание таких вещей, которые необходимо должны быть известны друзьям и о которых они нередко узнают стороною. Это ваша особенность, но ею оскорбляются, и сомнение сейчас возникает!.. Скажите, ради бога, может ли вполне понять вас человек, который, по собственным словам вашим, «живет с вами в разных мирах»? Этою последнею мыслью я всегда объяснял Погодину то, чего он беспрестанно в вас не понимал; наконец, он перестал и говорить со мною. Вероятно, и я не понимаю вас вполне; но я, по крайней мере, понимаю, что нельзя высокую, творческую натуру художника мерить аршином наших полицейских общественных уставов, житейских расчетов и мелочных требований самолюбия. Мы оба с Погодиным не дурные люди: но я считаю то святотатством, что Погодин считает делом не только дозволенным, но даже должным. Он всегда готов на доброе дело...» *

* На этом прерывается отрывок письма Аксакова, бывший в распоряжении Н. М. Павлова.— *Ред.*

1844

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову.

«1844. Ницца. Февраль 10 * / *Генварь 30*

Я очень поздно отвечаю на письмо ваше, милый друг мой. Причиной этого было отчасти физическое болезненное расположение, содержавшее дух мой в каком-то бесчувственно-сонном положении, с которым я боролся беспрестанно, желая победить его, и которое отнимало у меня даже охоту и силу писать письма. Меня успокоивала с этой стороны уверенность, что друзья мои, т. е. те, которые верят душе моей, не припишут моего молчания забвению о них. Ваше милое письмо читал я несколько раз: оно мне было так же приятно, как приятны все ваши письма. Все, что ни рассудили вы насчет моего письма к Погодину, я нахожу совершенно благоразумным и справедливым, так же как и ваши собственные мысли обо всем, к тому относящемся. Одно мне было только грустно читать, это то, что ваше собственное душевное расположение неспокойно и тревожно. Я придумывал все средства, какие могли только внушить мне небольшое познание и некоторые внутренние, душевные опыты. И, благословясь, решился послать вам одно средство против душевных тревог, которое мне помогало сильно. Шевырев вручит вам его в виде подарка на новый год. Хотя он уже давно наступил, но я желал бы, чтобы для всех друзей моих наступил новый душевный год, прекраснейший и лучший всех прежних годов, и чтобы это обстоятельство способствовало именно к тому.

Прощайте, бесценный друг мой. Обнимаю вас и все ваше милое семейство.

Всегда ваш *Г.*

Письма адресуйте во Франкфурт на имя Жуковского. Из Ниццы я выезжаю через месяц от сего числа».

Аксаков решил, что в письме речь идет о втором томе «Мертвых душ». По сообщению Н. М. Павлова, на копии данного письма позднее он сделал надпись: «Конечно, мне теперь самому смешно: как я мог убедить себя, что дело идет о «Мертвых душах»! Но мое ослепление разделяли все наши» («История знакомства», М., 1890, стр. 126).

---

* Ошибка в дате: 10 февраля н. ст. соответствовало 29 января ст. ст.— *Ред.*

После этого С. П. Шевырев передал Аксакову письмо Гоголя, адресованное Аксакову, Погодину и Шевыреву, из которого Аксаков понял подлинный смысл предыдущего письма.

«Генварь. 1844 г. Ницца.

Поздравляю вас с новым годом, друзья мои, и от всего сердца желаю вам спокойствия душевного, т. е. лучшего, чего мы должны желать друг другу. Мне чувствуется, что вы часто бываете неспокойны духом. Есть какая-то повсюдная нервически-душевная тоска; она долженствует быть потом еще сильнее. В таких случаях нужна братская взаимная помощь. Я посылаю вам совет; не пренебрегите им. Он исшел прямо из душевного опыта, испытан и сопровожден сильным к вам участием. Отдайте один час вашего дня на заботу о себе, проживите этот час внутренною, сосредоточенною в себе жизнию. На такое состояние может вас навести душевная книга. Я посылаю вам «Подражание Христу» [164], не потому, чтобы не было ничего выше и лучше ее, но потому, что на то употребление, на которое я вам назначу ее, не знаю другой книги, которая бы была лучше ее. Читайте всякий день по одной главе, не больше, если даже глава велика, разделите ее надвое. По прочтении предайтесь размышлению о прочитанном. Переворотите на все стороны прочитанное с тем, чтобы наконец, добраться и увидеть, как именно оно может быть применено к вам, именно в том кругу, среди которого вы обращаетесь, в тех именно обстоятельствах, среди которых вы находитесь. Отдалите от себя мысль, что многое тут находящееся относится к монашеской или иной жизни. Если вам так покажется, то значит, что вы еще далеки от настоящего смысла и видите только буквы. Старайтесь проникнуть, как может все это быть применено именно к жизни, среди светского шума и всех тревог. Изберите для этого душевного занятия час свободный и неутружденный, который бы служил началом вашего дня. Всего лучше немедленно после чаю или кофию, чтобы и самый аппетит не отвлекал вас. Не променяйте и не отдавайте этого часа ни на что другое. Если даже вы и не увидите скоро от этого пользы, если чрез это остальная часть дня вашего и не сделается покойнее и лучше, не останавливайтесь и идите. Всего можно добиться и достигнуть, если мы неотлучно и с возрастающею силою будем посылать из груди нашей постоянное к тому стремление. Бог вам в помощь! Прощайте.

Ваш *Г.*»

Из письма Н. В. Гоголя к С. П. Шевыреву от 2 февраля. Ницца.

«...Мне кажется, судя по письмам как твоим, так и прочим, что вы все, то есть и ты, и Погодин, и Аксаков, терпите часто душевные беспокойства и тревоги. Они могут быть от разных причин, но могут быть приведены все к одному знаменателю. Я посылаю вам одно средство, уже мною испытанное, которое, верно, вам поможет уходить чаще в себя, а с тем вместе противиться всем душевным беспокойствам. При письме этом я прилагаю письмо ко всем вам. Ты прочитай его теперь же (прежде один) и купи немедленно во французской лавке четыре миниатюрные экземплярика «Подражания Христу». Для тебя, Погодина, С. Т. Аксакова и Языкова. Ни книжек не отдавай без письма, ни письма без книжек. Ибо в письме заключается рецепт употребления самого средства. И притом мне хочется, чтоб это было как бы в виде подарка вам на новый год, исшедшего из собственных рук моих. Прислать вам отсюда книги нет средств; в конце письма ты увидишь лаконические надписочки, которые разрежь ножницами и наклей на всяком экземплярике. Подарок этот сопровожден сильным душевным желаньем оказать вам братскую помощь, и потому бог, верно, направит его вам в пользу ⟨...⟩»

Реакция Аксакова на эти письма видна из его сообщения И. С. Аксакову и следующего за ним письма к Гоголю.

Из письма С. Т. Аксакова к И. С. Аксакову,
31 марта. Москва.

«На сих днях получено еще письмо от Гоголя к нам троим: к Шевыреву, Погодину и мне. Верочка списывает его для тебя. Я виделся еще с Языковым и получил от него два письма Гоголя к нему, которые глубоко проникли в мою душу. Я совершенно растерялся; решительно не знаю, что писать к нему? ⟨...⟩ Письма, прежде написанного уже до половины, я не имею духа послать к нему».

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю.

«1844. Апреля 17. Москва.

Другой месяц или почти два, как я нахожусь в беспрестанном волнении; всякий день сбирался писать к вам, милый друг Николай Васильевич, несколько раз начинал и не мог кончить... в таком беспрестанном противоречии находился и теперь нахожусь я сам с собою. Говорят, что в каждом человеке находится два человека; не знаю, правда ли это, но во мне — решительно два; один из них сидит на другом верхом, совсем задавил его, но тот еще не умер.

Письмо ваше от 30 января (10 февраля) из Ниццы ввело меня в странное заблуждение, из которого выйти было мне не только досадно, но и прискорбно. Представьте себе, что некоторые выражения в вашем письме относительно «средства от душевных тревог, посылаемого в виде подарка...» и пр. навели глупую мою голову на мысль, что вы посылаете нам второй том «Мертвых душ», обещанный через два года. Все то, что в письме вашем, при чтении его теперь, разрушает очарование, истолковано мною было тогда в пользу моего страстного желания. Ошибку мою разделяли со мной и мои домашние. На другой день скачу к Шевыреву и не застаю его; наконец, в другой раз нахожу его дома... С первых слов разбил он с громким смехом мой кумир. Я был огорчен до глубины души, даже рассержен. Я думал помолиться, наслаждаясь созданием искусства, и вдруг... Друг мой, ни на одну минуту я не усумнился в искренности вашего убеждения и желания добра друзьям своим; но, признаюсь, недоволен я этим убеждением, особенно формами, в которых оно проявляется. Я даже боюсь его.

Мне пятьдесят три года, я тогда читал Фому Кемпийского, когда вы еще не родились. Я хорошо понимаю, что это не мешает вам видеть то, чего я не видел; но я тогда также был молодым человеком, с живым чувством, с свежею, легко понимающею головою и сильным стремлением в мир духовный. Я много перемыслил, перечувствовал, принимал, отвергал, сомневался и, по прошествии немалого времени, переболев душою и духом, наконец, дал себе ответы на многие вопросы; ответы, может быть, неполные, неудовлетворительные, но такие по крайней мере, которые восстановили тишину и спокойствие в возмущенной душе моей, и я — сдал это дело в архив. Я не порицаю никаких, ничьих убеждений, лишь были бы они искренны; но уже, конечно, ничьих и не приму... И вдруг вы меня сажаете, как мальчика, за чтение Фомы Кемпийского, насильно, не знав моих убеждений, да как еще? в узаконенное время, после кофею, и разделяя чтение главы, как на уроки... и смешно и досадно... И в прежних ваших письмах некоторые слова наводили на меня сомнение. Я боюсь, как огня, мистицизма, а мне кажется, он как-то проглядывает у вас... Терпеть не могу нравственных рецептов; ничего похожего на веру в талисманы... Вы ходите по лезвию ножа! Дрожу, чтоб не пострадал художник!.. Чтобы творческая сила чувства не охладела от умственного напряжения отшельника. Это вполне искренние слова сидящего верхом человека. Таков я всегда. Но вот вам я, каким бываю уже редко. В одну из таких минут я записал для вас свои собственные мысли и чувства.

Вижу, как жалки и ничтожны все мои выражения, не имеющие

даже достоинства искренности. Нет, я не рожден ни слепым, ни глухим. Я лгу, говоря, что не понимаю высокой стороны такого направления. Я понимал его всегда, особенно в молодости; но оно только скользило по моей душе. Лень, слабость воли, легкомыслие, живость и непостоянство характера, разнообразные страстишки заставляли меня зажмуривать глаза и бежать прочь от ослепительного и страшного блеска, всегда лежащего в глубине духа мыслящего человека. Вы соединяете это стремление с теплою верою, но и другим путем можно стремиться к той же цели. Разумеется, так гораздо легче: «Не верю тому, чего не знаю, и не размышляю о том, чего не понимаю». Это даже и хорошо, если искренно. Но у меня это была ложь. Я надувал сам себя, чтоб жить спустя рукава. Я добровольно кидался в толпу непризванных, я наклепывал на себя их пошлость и таким образом отделывался от трудных подвигов разумной жизни. Я уже думал прожить так целый век, но нашелся человек, близкий моему сердцу сам по себе и драгоценный мне как великий художник. Он стал передо мной, лицом к лицу, поднял со дна души давно заброшенные мысли и говорит: *Пойдем вместе! Я вот что делаю с собой. Помоги мне, а я потом помогу тебе.* Хотел было поступить по-русски: *Знать не знаю и ведать не ведаю...* Но стало стыдно. Недолго звенят во мне слишком долго не бранные струны; я рад тому: их сотрясение болезненно. Около них нет простора. Они заплыли всякой дрянью, которая вошла в состав моего организма... Мне больно, когда ее трогают.

Вот вам, милый друг, истинное состояние моей души. Итак ⟨?⟩ уже поздно. Оставим это дело навсегда. Прилагаю вам два письма. Одно из них огорчит вас сильно; но с горячею верою близко утешение Наша больная все в том же страдательном положении.

Обнимаю вас очень крепко. Мы сошлись с Языковым.

Ваш душою *С. Аксаков.*

Все мои вас обнимают».

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову.

«16 мая. Франкфурт.

Я получил ваше милое и откровенное письмо. Прочитавши его, я мысленно вас обнял и поцеловал, а потом засмеялся: в письме вашем слышно, что вы боитесь, чтобы я не сел на вас верхом, и упираетесь, как Фед⟨ор⟩ Ник⟨олаевич⟩ Глинка, когда к нему подходят с тем, чтобы обнять его. Все это ваше волненье и мысленная борьба есть больше ничего, как дело общего нашего приятеля, всем известного, именно: черта. Но вы не упускайте из виду, что он щелкопер и весь

состоит из надуванья. Из чего вы вообразили, что вам нужно пробуждаться или повести другую жизнь? Ваша жизнь, слава богу, так безукоризненна, прекрасна и благородна, как дай бог всем подобную. Вы сделали много такого добра и таких услуг (что и мне отчасти известно), которые стоят многих копеек, разбросанных нищим, и будут оценены справедливо; ваша жизнь ни в чем не противуположна христианской. Один упрек вам следует сделать: в излишестве страстного увлеченья во всем, как в самой дружеской привязанности и сношеньях ваших, так и во всем благородном и прекрасном, что ни исходит от вас. Итак, глядите твердо вперед и не смущайтесь тем, если в жизни вашей есть пустые и бездейственные годы. Отдохновенье нам нужно. Такие годы бывают в жизни всех людей, хотя бы они были самые святые. А если вы отыскиваете в себе какие-нибудь гадости, то этим следует не то чтобы смущаться, а благодарить бога за то, что они в нас есть. Не будь в нас этих гадостей, мы бы занеслись бог знает как и гордость наша заставила бы нас наделать множество гадостей, несравненно важнейших. Без них не было бы у вас и этого прекрасного смиренья, которое составляет первую красоту души.

Итак, ваше волненье есть просто дело черта. Вы эту скотину бейте по морде и не смущайтесь ничем. Он, точно мелкий чиновник, забравшийся в город будто бы на следствие, пыль запустит всем, распечет, раскричится. Стоит только немножко струсить и податься назад — тут-то он и пойдет храбриться. А как только наступишь на него — он и хвост подожмет. Мы сами делаем из него великана, а в самом деле он просто *черт знает что*. Пословица не бывает даром, а пословица говорит: *Хвалился черт всем миром овладеть, а бог ему и над свиньей не дал власти*. Его тактика известна: увидевши, что нельзя склонить на какое-нибудь скверное дело, он убежит бегом и потом подъедет с другой стороны, в другом виде, нельзя ли как-нибудь привести в уныние; шепчет: «Смотри, как у тебя много мерзостей, не пробуждайся!» — когда незачем и пробуждаться, потому что не спишь, а просто не видишь только его одного. Словом, пугать, надувать, приводить в уныние — это его дело. Он очень знает, что богу не люб человек унывающий, пугающийся, словом, не верующий в его небесную любовь и милость, вот и все. Вам бы следовало просто, не глядя на него, выполнить буквально предписанье, руководствуясь только тем, что дареному коню в зубы не глядят. Вы бы, может быть, нашли там только подтвержденье тому, чему вы веруете и что в вас есть, и только установилось бы все яснее и утвердительней на своих местах, воцарив чрез то строгий порядок в самую душу.

О себе скажу вам вообще, что моя природа совсем не мистическая. недоразуменья произошли оттого, что я слишком рано вздумал было

заговорить о том, что слишком ясно было мне и чего я не в силах был выразить глупыми и темными речами, в чем сильно раскаиваюсь даже и за печатные места. Но внутренно я не изменялся никогда в главных моих положениях. С двенадцатилетнего, может быть, возраста я иду тою же дорогой, как и ныне, не шатался и не колебался никогда во мнениях главных, не переходил из одного положенья в другое и, если встречал на дороге что-нибудь сомнительное, не останавливался и не ломал голову, а махнувши рукой и сказавши: «объяснится потом», шел далее своей дорогой; и точно, бог помогал мне, и все потом объяснялось само собой. И теперь я могу сказать, что в существе своем все тот же, хотя, может бы⟨ть⟩, избавился только от многого, мешавшего мне на моем пути, и, стало быть, чрез то сделался несколько умней, вижу ясней многие вещи и называю их прямо по имени, т. е. черта просто называю чертом, не даю ему вовсе великолепного костюма à la Байрон, а знаю, что он ходит во фраке из ⟨.....⟩ и что на его гордость следует ⟨........⟩. Вот и все.

Спросите у Языкова, послал ли он книги мне и с кем именно? Я еще не получал, а между тем он мне обещал следующие: 1) «Добротолюбие», 2) Летописи, 3) Иннокентия [165] и 4) сочинения святых отцов. Теперь, без сомнения, удобно послать, потому что из Москвы с весной подымется много за границу. Да попрошу вас, если нельзя прислать «Москвитянина» всего за прошлый год, 1843, то хотя критики Шевырева [166]; а Михалу Семеновичу скажите, что он *надуватель*, а деткам его скажите, что *яблоко от яблони недалеко падает*. Он сам вызвался доставить мне критики Сенковского [167] и невинные замечания, напечатанные в «Сыне отечества» [168]. Времени было довольно, а случая и оказии для пересылки было не нужно, потому что, писавши на тонкой бумаге, можно было легко переслать во всякое время, разделив на два или на три письма, как я делал с моими статьями, гораздо побольшими, которые ему же пригодились в бенефис. Он меня привел в неприятное и затруднительное положение писать к Сенковскому и просить его о присылке статей, потому что во многих вещах на близких людей никак нельзя полагаться и лучше писать к первому незнакомому лицу. Незнакомому человеку бывает иногда совестно показать себя в первый раз ненадежным человеком, а приятелям никогда не бывает совестно пустить дело в затяжку.

Прилагаемое письмо прошу вас доставить Надежде Ник⟨олаевне⟩. В нем содержится объяснение насчет одного слуха [169], распущенного обо мне в Москве. Объяснения об этом предмете я б не сделал никому, потому что ленив на подобные вещи; но так как она прямо и бесхитростно сделала мне запрос, то мне показалось совестно не дать ей ответа. А с вами о сем тратить слов не следует. Вы *человек-небаба*.

Человек-небаба верит более *самому человеку*, чем *слуху о человеке;* а *человек-баба* верит более слуху о человеке, чем самому человеку. Впрочем, вы не загордитесь тем, что вы *человек-небаба*. Тут вашей заслуги никакой нет, ниже́ приобретения. Так бог велел, чтоб вы были *человек-небаба*. Не унижайте также *человека-бабу*, потому что *человек-баба* может быть, кроме этого свойства, даже совершеннейшим человеком и иметь много таких свойств, которых не удастся приобрести и *человеку-небабе*. Друг наш Погодин есть *человек-баба*, не потому, чтобы он вел не такую жизнь, как следует, или не имел твердости или характера, но потому, что иногда вдруг понесет от него бабьей юбкой. Это можно даже довесть до сведенья его, потому что между нами должно быть отныне все просто и открыто. Михаил Семенович, например, он не *баба*, но он оказался *человек-*⟨.....⟩ по поводу упомянутого ниже дела, но он вовсе не *человек-баба*. Константин Сергеевич, например ... но об этих господах не следует говорить: они совершенно в *руце будущего*. В русской природе то по крайней мере хорошо, что если немец, например, *человек-баба*, то он останется *человек-баба* на веки веков. Но русский *человек-баба* может иногда вдруг превратиться в *человека-небабу*. Выходит он из бабства тогда, когда торжественно, в виду всех, скажет, что он больше ничего, как *человек-баба*, и сим только поступком поступает в рыцарство, скидает с себя при всех бабью юбку и одевается в панталоны.

Ваш *Г.*

Адрес — во Франкфурте.

Обнимаю от всей души весь ваш дом!»

Из письма Н. В. Гоголя к Н. М. Языкову,
26 октября 1844, Франкфурт.

«... спроси также у Аксаковых, зачем из них ни один не пишет ко мне».

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову.

«12 ноября ⟨*н. ст. Франкфурт*⟩.

Письмо за вами, бесценный друг мой Сергей Тимофеевич. Вы не дали мне ответа на то, которое я писал к вам назад тому четыре месяца, где посылал весьма справедливый выговор Щепкину за то, что он надул меня, то есть вызвался сам вперед и отважно вместе с сыновьями доставить мне просимые мною критики и потом вместе с ними попятился на попятный двор. Я даже не знаю, как писать к вам, и дожидался от вас адреса: и до сих пор не знаю, где вы живете

и куда следует адресовать вам. Итак, уведомьте меня как о вашем здоровье, так и о здоровье Ольги Семеновны, Конст⟨антина⟩ Серг⟨ееви-ча⟩ и всего вашего милого семейства, и почему именно последовало такое долгое забвение. Я, видите, терпелив и долго иногда не спрашиваю, почему иные совсем не пишут и не шлют даже поклона. Потом уведомьте, как вы провели все время лета и каково состояние вашей больной, и, словом, уведомьте обо всем. А пока вас обнимаю от всей души и жду вашего ответа.

Ваш *Гоголь*».

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю.

«Ноября 16. 1844 года ⟨Москва⟩

Очень, очень давно не писал я вам, любезный друг Николай Васильевич... Да если б я десять лет не писал к вам, то все никто бы не заподозрил меня в забвении вас. На бумаге не то, что на словах: многого не скажешь, да и сказать нельзя. Давно поизносились фразы, за недостатком истины, в смысле: «страждущее сердце облегчит свою горесть, переливая ее в сердце друга». Во-первых: все горести что переливать, то хуже: только что мутить начинавший отстаиваться зловредный напиток. Во-вторых: что за облегчение возмущать спокойствие друга, разумеется отсутствующего. Конечно, когда друзья живут вместе и один видит и знает, что другой страдает, тогда излияние — необходимость.

Даже не помню, когда я писал... Знаю только, что я не отвечал на письмо ваше, которым не совсем был доволен: это был ваш ответ на мое горячее письмо, вылившееся из глубины души.

Вы, конечно, не подумаете, что ваше письмо было причиной моего долговременного молчания. Совсем нет: конечно, я не отвечал на него немедленно по неудобству переписки такого рода; но впоследствии это не помешало бы мне писать. Ничего не может быть суетливее, скучнее и огорчительнее того образа жизни, который вел я с 9 мая по 6 октября! Больная моя жила в Петровском парке, а остальное семейство в подмосковной [170]: мы с Ольгой Семеновной скакали то туда, то сюда, ничуть не обретая спокойствия; в разлуке с больной — всего менее. Наконец, 5 октября переехали в Москву (в Газетный переулок, в дом княгини Шаховской). Болезнь часто меняла свою физиономию, а потому часто сменялись страх и надежда. Даже и теперь не знаю, что сказать вам! Если взглянуть на все простыми глазами, то дело находится в отчаянном положении: больная уже два месяца не встает с постели; худоба неимоверная, а ноги в сильной и болезненной опухоли. Но доктора называют эту опухоль кри-

тическою и видят много добрых признаков. Конечно, эта опухоль не прежняя, водянистая опухоль; больная получила аппетит, и пищеварение хорошо; очевидно, что натура силится открыть давно закрытые пути; борьба несомненна; но выдержит ли изнуренный, ослабленный организм эту борьбу? Вот важный вопрос... Мой рассудок не допускает меня предаваться надеждам...

Я думаю, вы уже знаете о несчастии бедного Погодина [171]... Слов недостает, чтоб выразить мое сожаление о нем, и нет их, чтоб сказать ему что-нибудь утешительное; но он, по счастию, истинный христианин и покуда переносит великодушно тяжкое испытание. Жена вчера была у него, а я уже несколько дней не видал его: два раза не застал дома.

В продолжение нашего взаимного молчания я кое-что слышал по временам об вас: то от Языкова, то от Шереметевой, то от Шевырева; но все грешно вам, что вы ко мне не писали. Никакие обстоятельства не лишают меня потребности — знать об вас. Итак, напишите мне все: что ваше здоровье, что ваш труд? Мы остальные все здоровы. Костя переписывает набело свою диссертацию [172]; Иван возвращается с ревизии из Астрахани, где он действовал с неожиданным, изумительным даже для меня достоинством мужа, а не юноши; Гриша служит товарищем председателя Гражд⟨анской⟩ палаты во Владимире и хотя не изумляет меня, но утешает более Ивана [173]... Вот вам все в кратких словах, милый друг мой... Кругом меня валятся, как снопы, мои сверстники, товарищи, приятели (вы знаете о Княжевиче? [174]). Не хотелось бы мне свалиться, не обнявши крепко вас. Делаю это заочно. Прощайте, мой друг.

Ваш *С. Аксаков.*

Все мои вас обнимают».

Из письма Н. В. Гоголя к С. П. Шевыреву, в котором он дает ему и Аксакову поручение о помощи нуждающимся студентам из денег, полученных за продажу «Сочинений» (изд. 1842 г.).

⟨14 декабря. Франкфурт⟩.

«...Все деньги, вырученные за них,— отныне принадлежат бедным, но достойным студентам; достаться они должны им не даром, но за труд. Полное распоряжение и назначение труда принадлежит тебе. ⟨...⟩ Дело это должно остаться только между тобою и Серг⟨еем⟩ Т⟨имофеевичем⟩ Аксаковым, и я требую в этом клятвенного и честного слова от вас обоих. Никогда получивший деньги не должен узнать, от кого он их получил, ни при жизни моей, ни по смерти моей. Это должно остаться тайной навсегда. Ты можешь сказать им, что деньги от одного богатого человека или правительственного

сановника, который хочет остаться в неизвестности. Никто из вас никому даже в своем доме, как бы он близок к нему ни был, не должен этого открывать никогда и ни в каком случае. На все расспросы других давайте один ответ, что деньги идут мне и я получаю их в исправности. Я также не должен узнать, кому, как и когда идут эти деньги. Отчет в них и ответ принадлежит богу. И потому смотреть на это дело как на святое и употребить с своей стороны все силы к тому, чтобы всякая копейка обратилась во благо. Настоящие благодеяния будут принадлежать вам; более всего тебе, потому что все здесь зависит от умных распоряжений. Пословица говорит: *Не штука дело, штука разум.* Это вы прочитайте вместе с Аксаковым. И никаких против этого возражений или представлений. Желанье мое непреложно. Только таким образом, а не другим должно быть решено это дело. Как бы ни показалось вам многое здесь странным, вы должны помнить только, что *воля друга должна быть священна.* И на это мое требованье, которое с тем вместе есть и моленье и желанье, вы должны ответить только одним словом: *Да*».

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову.

«Франкф⟨урт⟩. Декабр⟨я⟩ 22 [175].

Наконец, я получил от вас письмо, добрый друг мой. Между многими причинами вашего долгого молчания, с которыми почти со всеми я согласен, зная сам, как трудно вдруг заговорить, когда не знаешь даже, с которого конца прежде начать, одна мне показалась такою, которую я бы никак не допустил в дело и никак бы не уважил. Именно, что состояние грустное души уже потому не должно быть передаваемо, что может возмутить спокойствие отсутствующего друга. Но для чего же тогда и друг? Он именно и дается нам для трудных минут, а в минуты веселые и всякий человек может быть для нас хорош. Бог весть, может быть, именно в такие минуты я бы и пригодился. Что я написал к вам глуповатое письмо [176] — это ничего не значит: письмо было писано в сырую погоду, когда я и сам был в состоянии полухандры, в сером расположении духа, что, как известно, еще глупее черного, и когда мне показалось, что и вы тоже находитесь в состоянии полухандры. Желая ободрить и вас и с тем вместе себя, я попал в фальшивую ноту, взял неверно и заметил это уже по отправлении письма. Впрочем, вы не смущайтесь, если бы даже и десять получили глуповатых писем (на такие письма человек, как известно, всегда горазд), иногда между ними попадется и умное. Да и глупые письма, даром что они глупы, а их иногда бывает полезно прочесть и другой и третий ⟨раз⟩, чтобы ви-

деть, каким образом человек, хотевши сделать умную вещь, сделал глупость. А потому о ваших грустных минутах вы прежде всего мне говорите, ставьте их всегда вперед всяких других новостей и помните только, что никак нельзя сказать вперед, чтобы такой-то человек не мог сказать утешительного слова, хотя ⟨бы⟩ он был и вовсе неумный. Много уже значит: хотеть сказать утешительное слово. И если с подобным искренним желанием сердца придет и глуповатый к страждущему, то ему стоит только разинуть рот, а помогает уже бог и превращает тут же слово бессильное в сильное.

Вы меня известили вдруг о разных утратах. Прежде утраты меня поражали больше, теперь, слава богу, меньше. Во-первых, потому, что я вижу со дня на день яснее, что смерть не может от нас оторвать человека, которого мы любили, а во-вторых, потому, что некогда и грустить: жизнь так коротка, работы вокруг так много, что дай бог поскорей запастись сколько-нибудь тем в этой жизни, без чего нельзя явиться в будущую. А потому поблагодарим покойников за жизнь и за добрый пример, нам данный, помолимся о них и скажем богу за все спасибо. А сами за дело! Известием о смерти Елиз⟨аветы⟩ В⟨асильевны⟩ Погодиной я опечалился только вначале, но потом воссветлел духом, когда узнал, что Погодин перенес великодушно и твердо, как христианин, такую утрату. Такой подвиг есть краса человеческих подвигов, и бог, верно, наградит его за это такими высокими благами, какие редко удается вкушать на земле человеку.

Обратимся же от Погодина, который подал нам всем такой прекрасный пример, и к прочим живущим. Вы меня очень порадовали благоприятными известиями о ваших сыновьях. Они все люди, созданные на дело, и принесут очень много добра, если при уме и при всех данных им больших способностях будут *сметливы*. То есть, если заблаговременно и пораньше будут уметь смекнуть то, что следует смекнуть. Если Конст⟨антин⟩ Серг⟨еевич⟩ смекнет, что диссертацию, вместо того, чтобы переписывать набело, следует просто положить под спуд [177] на несколько лет, а вместо нее заняться другим; если он смекнет с тем вместе, что тот совет, в котором сходятся люди даже различных свойств и мнений, есть уже совет божий, а не людской, и, стало быть, его нужно послушаться. Ему все до единого, начиная от Погодина до меня, говорили, чтобы занялся делом филологическим, для которого бог его наградил великими и очевидными для всех способностями. Он один может у нас совершить Словарь русского языка такой, какого не совершит ни одна академия со всеми своими членами; но этого он пока не смекает. Еще также не смекает он до сих пор, что у него слишком велика замашка и слишком горячий прием к делу. Чрез это дело у него само собой выходит не в *ясном,*

а в *пристрастном* виде, хотя он хотел быть ясным, а не пристрастным. Чрез это у него одежда, в которую он одевает мысль, не только не прозрачна, но даже не по ней. Это ощутительней оказывается у него в письме и на бумаге; тут иногда мысли — то же, что короткие ноги в больших сапогах. Так что формы самой ноги-то не видишь, а становится только смешно, что на ней большой сапог. Еще К⟨онстантин⟩ Сер⟨геевич⟩ не смекает, что в эту пору лет, в какой он, не следует вовсе заботиться о логической последовательности всякого рода развитий. Для это⟨го⟩ нужно быть или вовсе старику, или вовсе немцу, у которого бы в жилах текла картофельная кровь, а не та горячая и живая, какая у русского человека. Поэтому-то у него оказываются в статьях одни претензии на логическую последовательность, а самой ее нет; живая душа, русское сердце и нерасчетливая молодость пробивается на всяком шагу, и чрез это еще сильней становится противуположность двух несоединенных вещей. Чрез это самый тон слога неверен, фальшив, не имеет никакой собственной личности и не служит орудием к выраженью того, что хотел писатель им выразить. Черты ребячества и черты собачьей старости будут в нем попадаться беспрестанно одни подле других и будут служить вечным предметом насмешек журналистов, насмешек глупых, но в основании справедливых. Если Кон⟨стантин⟩ Серг⟨еевич⟩ сколько-нибудь верит тому, что я могу иногда слышать природу человека и знаю сколько-нибудь закон состояний, переходов, перемен и движений в душе человеческой, как наблюдавший пристально даже за своей собственной душою, что вообще редко делается другими, то да последует он хотя раз моему совету, именно следующему: не думать хотя два-три года о полноте, целости и постепенном логическом развитии идей в статьях своих больших или малых, какие случится писать ему. Поверьте, это не дается в такие годы и в такой поре душевного состояния. У него отразится повсюду только одно неясное стремление к ним, а их самих не будет.

Живой ему пример я. Я старее годами, умею более себя обуздывать, а при всем том сколько я натворил глупостей в моих сочинениях, именно стремясь к той полноте, которой во мне самом еще не было, хотя мне и казалось, что я очень уже созрел. И над многими местами в моих сочинениях, которые даже были похвалены одними, другие очень справедливо посмеялись; там есть очень много того, что похоже на короткую ногу в большом сапоге, а всего смешней в них претензии на то, чего в них покамест нет.

Итак, да прислушается К⟨онстантин⟩ Сер⟨геевич⟩ к моему совету. Это не совет, а скорее братское увещание человека, уже искусившегося и который хотел бы сколько-нибудь помочь своею собственною

бедою, обратив ее не в беду, а в пользу другому. Теперь «Москвитянин», как я слышал, перешел ⟨к⟩ Ив⟨ану⟩ Вас⟨ильевичу⟩ Кир⟨еевскому⟩. Вероятно, это возбудит во многих рвение к трудам. К⟨онстантин⟩ Сер⟨геевич⟩ может множество приготовить прекрасных филологических статей. Они будут интересны для всех. Это я могу сказать вперед, потому что я сам слушал его с большим удовольствием, когда он изъяснял мне производство многих слов. Но нужно, чтобы они написаны были слишком просто и в таком же порядке, как у него выходили изустно в разговоре, без всякой мысли о том, чтобы дать им целость и полноту. То и другое выльется само собою гораздо удовлетворительнее, чем тогда, если бы он о них думал. Он должен только заботиться о том, чтобы статья была как можно короче. Русский ум не любит, когда ему изъясняют что-нибудь слишком долго. Статья его чем короче и сжатей, тем будет занимательней. Не брать вначале больших филологических вопросов, то есть таких, в которых бы было разветвление на многие другие. Но раздробить их на отдельные вопросы, которые бы имели в себе неразделяемую целость, и заняться каждым отдельно, взяв его в предмет статьи. Словом, как делал Пушкин, который, нарезавши из бумаги ярлыков, писал на каждом по заглавию, о чем когда-либо потом ему хотелось припомнить. На одном писал: *русская изба*, на другом: *Державин* [178], на третьем имя тоже какого-нибудь замечательного предмета, и так далее. Все эти ярлыки накладывал он целою кучею в вазу, которая стояла на его рабочем столе; и потом, когда случалось ему свободное время, он вынимал наудачу первый билет; при имени, на нем написанном, он вспоминал вдруг все, что у него соединялось в памяти с этим именем, и записывал о нем тут же, на том же билете, все, что знал. Из этого составились те статьи, которые напечатались потом в посмертном издании его сочинений, которые так интересны именно тем, что всякая мысль его там осталась живьем, как вышла из головы. (Из этих записок многие, еще интереснейшие, не напечатаны, потому что относились к современным лицам). Таким самым образом и Конст⟨антин⟩ Сер⟨геевич⟩ да напишет себе на бумажке всякое русское замечательное слово и потом тут же кратко и ясно его производство, и отдаст ее Ив⟨ану⟩ В⟨асильевичу⟩ К⟨иреевскому⟩. Журналист будет доволен, публика возбудится любопытством к предмету, для нее новому и незнакомому, а Кон⟨стантин⟩ Серг⟨еевич⟩ покажет, наконец, себя и скажет мне за это спасибо. Ибо, как ни посмотрю, приходится мне, а не кому-либо другому, натолкнуть его на дело. Чем ушибся, тем и лечись, говорится. А так как он опозорился в глазах света на мне (написавши статью о «М⟨ертвых⟩ д⟨ушах⟩»), то мною же должен быть подтолкнут на прославление в глазах того же света.

Но вот беда, у Конст⟨антина⟩ Серг⟨еевича⟩ нет вовсе слога. Все, о чем ни выражается он ясно на словах, выходит у него темно, когда напишется на бумаге. Если бы он был в силах схватить тот склад речи, который выражается у него в разговоре, он был бы жив и силен в письме, стало быть имел бы непременно читателей и почитателей. Но это ему меньше возможно, чем кому-либо другому. Искусство следить за собою, ловить и поймать самого себя редкому дается. А слог все-таки ему нужно приобресть. Ему нужно непременно спуститься хотя двумя ступенями ниже с той педантской книжности, которая у нас образовалась и беспрестанно мешается с живыми и непедантскими словами. Есть один только для него способ, и если Кон⟨стантин⟩ Сер⟨геевич⟩ точно так умен, как я думаю, то он его не бросит. Что бы он ни писал, ему следует перед тем, как он при⟨ни⟩мается за перо, вообразить себе живо личность тех, кому и для кого он пишет. Он пишет к публике, личность публики себе трудно представить, пусть же он на место публики посадит кого-нибудь из своих знакомых, живо представит себе его ум, способности, степень понятливости и развития и говорит, соображаясь со всем этим и снисходя к нему,— слово его непременно будет яснее. Чем он возьмет менее понятливого человека, чем этот человек будет менее сведущ, тем он более выиграет. Лучше всего, если он посадит вместо публики самую маленькую свою сестрицу и станет ей рассказывать (это особенно будет полезно в филологических статьях, и производствах слов, которые требуют необыкновенной ясности слога), и если он сумеет так рассказать или написать, что во время чтения маленькой его сестрице не будет скучно и все понятно, тогда смело можно печатать статью: она понравится всем: старикам, гегелистам, щелкоперам, дамам, профессорам и учителям, и всякий подумает, что писано для него. Притом, зная, что пишет маленькой сестрице, Конст⟨антин⟩ Серг⟨еевич⟩ никак не зарапортуется, и если бы случилось ему написать производство слов: муж и жена (что он производит очень умно, я бы его прямо списал с его слов), он бы удержался в одних филологических границах, тогда как, если бы села на место маленькой сестрицы хоть, положим, Ховрина, или кто другой, брошен бы был вдруг религиозный взгляд на брак и на высшее значение его, дело, конечно, тоже в своем роде умное, но годное для другой статьи. Словом, этот способ я предлагал Конст⟨антину⟩ Серг⟨еевичу⟩ как самый действит⟨ельный⟩, как бы он ни показался ему с виду ничтожным и незначущим. Я браню себя за свою недогадливость и глупость, что не хватился сам за него пораньше, я бы гораздо больше сказал дела и даже больше бы написал. Этот пустяк слишком важная вещь: только от него приобретается слог и получается физиогномия слога.

Это уже давно было сказано на свете, что слог у писателя образуется тогда, когда он знает хорошо того, кому пишет. Но если Кон⟨стантин⟩ Серг⟨еевич⟩ будет *сметлив,* то принесет много добра, в чем помоги ему бог.

Прочие ваши сыновья, если будут *сметливы,* то принесут тоже много добра. Жаль, что вы мне не описали, каким образом подвизался на ревизии Ив⟨ан⟩ Сер⟨геевич⟩, хотя я уверен, что весьма умно, и внутренно порадовался вашему прибавлению: *с достоинством мужа.* Но все-таки скажите и Ив⟨ану⟩ Серг⟨еевичу⟩, что если он будет *сметлив* и поступит таким образом (на какое бы ни послали следствие), что все до единого, и невинные и даже виноватые, и честные и взяточники, будут им довольны, то этот подвиг еще будет выше того, если б только одни оправданные были довольны. В теперешнее время нужно слишком много разбирать и рассматривать взяточников, иногда они бывают не совсем дурные люди, даже такие, которых может подвигнуть доброе увещание, особенно, если сколько-нибудь его узнаем во всех его обстоятельствах как семейных, так и всяких других, если к тому в прибавку узнаем природу человека вообще и потом в особенности природу русского человека и если вследствие всего этого узнаем, как его попрекнуть, пожурить или даже ругнуть таким образом, что он еще сам скажет спасибо,— то он сделает много добра. Если Ив⟨ан⟩ Серг⟨еевич⟩ смекнет (а может быть, отчасти он уже и смекнул), что действовать *умирительно* еще действительней, чем *распекательно,* и что внушить повсюду отвагу на добрые дела впредь еще лучше, чем картинное дело свое собственное, и что заставить человека, даже плутоватого, сделать доброе дело еще картиннее, чем заставить доброго сделать доброе дело,— словом, если он все это смекнет, *то наделает много добра.* Если Гр⟨игорий⟩ Сер⟨геевич⟩ смекнет все, что нужно смекнуть в городе Владимире, то наделает также много добра. Если узнает не только самую палату, но и весь Владимир, и не только весь Владимир, но даже источники всех рек, текущих со всех сторон губернии в палату. Если не пропустит никого из старых и умных чиновников и расспросит их обо всем и будет *уметь расспросить* их обо всем, да не пренебрежет тоже и глупых чиновников, узнает и об них что следует, да тоже и людей посторонних переберет, даже и купцов и мещан, и узнает таким образом даже и то, кто кого водит за нос, кто кого просто дурачит и, наконец, кто на кого или имеет, или может иметь влияние,— то наделает он много добра не только во Владимире, но даже и потом, где ему ни случится и на каком месте ему ни случится быть. Да и Ив⟨ану⟩ ⟨Сергеевичу⟩ тоже не мешает весьма, с своей стороны, обратить внимание на эти же самые пункты.

Засим да будет это письмо вам поздравлением на Новый год, который стоит уже перед нами, вам, вместе с любезною вашею супругой, в сопровождении желания искренного иметь полное утешение от ваших деток, а сыновьям вашим (ибо женский пол не наше дело) тоже поздравленье, с желаньем искренним доставить вам это полное утешение. Ибо письмо собственно для них было и писано. А всем вместе желаю искренно приносить на всяком месте бытия пользу, побольше узнавать, расспрашивать и входить всем в положение всякого страждущего и помогать ему утешительн⟨ым⟩ словом и советом (деньги же есть мертвая помощь, и помочь ими еще не много значит; они почти всегда играют ту же роль, что жидкость, лиемая в бездонную бочку).

Затем скажу аминь и попрошу вас узнать, во-первых, от Киреев⟨ского⟩ Ив⟨ана⟩ В⟨асильевича⟩, получил он от Жуковск⟨ого⟩ стих⟨отворную⟩ повесть, которую тот послал два дни тому назад, на имя Булгакова вместе с больш⟨им⟩ письмом Авд⟨отье⟩ Петр⟨овне⟩ об «Одиссее»? [179] Во-вторых, получил ли Шевырев мое письмо от 14 декабр⟨я⟩, в котором, между прочим, небольшое улучшение относительно дел по книге и ее продаже, о чем он вам должен сообщить? В-третьих, получил ли письмо Языков в ответ на присланную мне от кн. Вяз⟨емского⟩ книжечку его стихотворений? [180] В-четвертых, получил ли Погодин письмо, отправленное в одно время с вашим, хотя и написанное прежде (вам следует с ним видеться почаще; вы можете быть ему полезны во многом вашей беседою)? В-пятых, что делает мною постыднейшим образом обруганный и неисправнейший из всех доселе существовавших смертных, Михаил Семенович Щепкин? Которых всех, при этой верной оказии, поздравьте от всей моей души с Новым годом.

Затем прощайте до вашего ответа на это письмо.

Ваш *Гоголь*.

P. S. Напишите мне все о Погодине, как идет теперь его жизнь, каково его состояние души и вообще каковы его перемены во всем».

1845

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю.

«1845, марта 10. Москва.

Давно я не писал к вам, милый друг Николай Васильевич, и сам давно не получал от вас писем. В продолжение этого времени «много утекло воды», как говорит русская пословица. Кажется, я и прежде

писал к вам, что начинаю худо видеть левым глазом; это худо все идет хуже. Один глаз — так и быть! Я дожил бы век с правым глазом, но вот беда: в нем уже начинаются те же явления, какие предшествовали помрачению левого!.. Делать нечего, обратился я к гг. докторам и — тут увидел все их невежество, по крайней мере здесь, теперь, по части глазных болезней!.. Назад тому две недели многие говорили не то, что теперь. Альфонский находит [181], что катаракт начался на обоих глазах. Ради бога просит не лечиться и не мучить себя попустому, ибо ничто не может остановить хода болезни. Броссе ничего не находит [182] покуда; а Иноземцев грозит такой слепотой [183], которая хуже темной воды, и пр. и пр. Но все согласны (кроме Альфонского), что нужно кровопускание, пиявки, мушки, фонтанели, слабительные, диета... всю эту мерзость я уже испытываю на себе другой месяц... Не видя пользы, я решился отдохнуть и теперь пятый день лечусь — гомеопатией у Хомякова... разумеется, я не верил ей, но первые приемы сначала оказали сильное действие на припадок мой, происходящий от неправильного кровообращения. Как знать, чудес на свете много! Может быть, и глазам моим будет лучше!.. Как истинному другу, должен я вам признаться, что я нехорошо встречаю мою страшную беду. Если нет христианского смирения и покорности воле божией, то есть человеческое достоинство, твердость, спокойствие духа — я не могу ими похвалиться. Покуда я — гнев, ропот и волненье.

Вероятно, вы, милый друг, не станете более получать от меня собственноручных писем. Я иным уже не пишу их. Пусть эти строки напоминают вам последние усилия моего зрения. Обнимаю вас крепко.

Ваш *С. Аксаков*».

Так как в письме Аксакова не было упоминания о большом письме Гоголя от 21 декабря 1844 г., то Гоголь запрашивает о нем в письме к Н. М. Языкову от 5 апреля:

«Узнай также от Конст⟨антина⟩ Серг⟨еевича⟩, получил ли Сер⟨гей⟩ Т⟨имофеевич⟩ от меня письмо с некоторым поученьем сыновьям его, в числе которых и ему, т. ⟨е.⟩ К⟨онстантину⟩ Серг⟨еевичу⟩, и что он думает о сем».

Ответ самому Аксакову на его письмо от 10 марта Гоголь послал в мае.

В начале этого года Гоголь сделался очень болен и до мая месяца ничего ко мне не писал. Вот первое письмо его в этом году. Оно содержит в себе ответ на мое письмо, в котором я уведомляю его,

что я теряю один глаз и опасаюсь за другой. Я находился тогда в ужасном страхе и раздражительном состоянии духа; это письмо показалось мне холодным, не выражающим того участия, которого я вправе был ожидать от дружбы Гоголя; но мы оба ошиблись: Гоголь таким письмом думал меня лучше успокоить, чем выражением горячего участия, а я не понял его намерения и очень огорчился *.

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову.

«Франкфурт. 2 мая.

И вы больны, и я болен. Покоримся же тому, кто лучше знает, что нам нужно и что для нас лучше, и помолимся ему же о том, чтобы помог нам уметь ему покориться. Вспомним только одно то, что в его власти *все* и *все* ему *возможно*. Возможно все отнять у нас, что считаем мы лучшим, и в награду за то дать лучшее нам всего того, чем мы дотоле владели. Отнимая мудрость *земную*, дает он мудрость *небесную*, отнимая зренье *чувственное*, дает зренье *духовное*, с которым видим те вещи, перед которыми пыль все вещи земные. Отнимая *временную*, ничтожную жизнь, дает нам жизнь *вечную*, которая перед временной то же, что *все* перед *ничто*. Вот что мы должны говорить ежеминутно друг другу. Мы, еще доселе не привыкнувшие к вечному закону действий, который совершается для всех непреложно в мире, желающие для себя непрерывных исключений, мы, малодушные, способные позабывать на всяком шагу то, что должны вечно помнить, наконец мы, не имеющие даже благородства духа ввериться тому, кто стоит того, чтобы на него положиться. Простому человеку мы даже вверяемся, который даже нам не показал и знаков, достаточных для доверия; а тому, кто окружил нас вечными свидетельствами любви своей, тому только не верим, взвешивая подозрительно всякое его слово. Вот что мы должны говорить ежеминутно друг другу, о чем я вам теперь напоминаю и о чем вы мне напоминайте. Затем обнимаю вас от всей души и прошу вас вместо меня обнять ваше семейство. Напишите мне, куда едете или остаетесь в Москве. И что делают ваши дети, если можно — порознь о каждом; если вам писать трудно, прошу Ольгу Семеновну. Прощайте. Бог да хранит вас.

Ваш *Г.*»

---

* Этот и дальнейшие отрывки повествовательного текста взяты из рукописи С. Т. Аксакова «Краткие сведения и выписки из писем для биографии Гоголя».

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю.

«1845, мая 24 дня, Москва.

Я получил последнее письмецо ваше через Языкова, милый друг Николай Васильевич! Все ваши слова справедливы, но... надобно иметь сердце, исполненное теплой веры и преданности воле божией безусловно, чтоб находить отраду, например, в самой мысли: что значит потеря зрения телесного, когда человеку откроется зрение духовное! Я не спорю, что это истина и что в ней можно найти отраду; но когда? Тогда, без сомнения, когда человек внешний, телесный преобразится в человека внутреннего, духовного. Я еще далек от этого преображения, да и не знаю, буду ли когда-нибудь его достоин, и потому откровенно скажу вам, что мне даже досадно было читать ваше письмо... Я хотел от вас живого участия, боялся даже, что слишком вас огорчил... Я — человек, и потому хотел человеческого огорчения; ропота... Я слепну, рвусь от тоски и гнева, прихожу в отчаяние иногда, и вы думали меня утешить, сказав, что слепота ничего не значит?..

Мы все еще живем в Москве и даже не знаем, когда и куда уедем. Переезд в деревню, куда намереваемся перенесть нашу больную на руках в портшезе,— кажется мне самому несбыточным. В то же время родилось у нас убеждение (происшедшее от слов одной ясновидящей, даже двух), что гомеопатия может помочь нашей больной и что надобно ее испытать. Для этого нужно жить в Москве или на даче, в самом близком от Москвы расстоянии. Дач теперь уже нет свободных, да и средств нет это исполнить; не говорю уже о том, что я не могу без горести подумать о разделении семейства, подобно прошлогоднему. Оставаться же на некоторое время в Москве на теперешней квартире невозможно по многим причинам: здесь летом слишком шумно и душно.

Киреевский отказался от «Москвитянина» также по многим уважительным причинам: во-первых, Киреевский не создан от бога, чтоб быть издателем журнала. Это такой чудак в действительной жизни, что, при всем своем уме, хуже всякого дурака. Во-вторых, никакой порядочный человек не может иметь денежных сношений с Погодиным. В третьих, от нелепого образа занятий Киреевский сделался болен. Довольно этих трех причин. До сих пор идут толки о выборе нового редактора; но все это вздор. Дело кончится тем, что Погодин опять примется за издание журнала и начнет сколачивать его топором, кое-как, или прекратит на шестой книжке. Какое торжество для всех врагов наших! Не останется уже места, где бы мог раздаться человеческий голос. Это нанесет удар возникающему чувству нацио-

нальности! Но теперь наступает лето, все наши краснобаи разъедутся по деревням, и здесь хоть трава не расти!

Ваше нездоровье, и душевное, и телесное, нас сердечно огорчает. Не знаю, где найдет вас это письмо, посылаемое с одним из товарищей моего сына, Погуляевым [184]. Мой Иван посылает вам две свои стихотворные пиесы. Напишите о них правду. Не бойтесь оскорбить самолюбие молодого человека. Обнимаю вас крепко. Семейство мое делает то же.

Весь ваш *С. Аксаков.*

Разумеется, 9 мая мы выпили за ваше здоровье. Адрес мой на имя Томашевского, в почтамте».

Из письма Гоголя к А. О. Смирновой,
4 июня. Гомбург.

«Вы спрашиваете, как познакомиться со стариком Аксаковым: приехавши в Москву, пошлите прямо за ним, чтобы он приехал к вам, скажите, что это мое желание. Отыщите также старушку *Шереметеву,* скажите также, что я велел вам с нею познакомиться; в минуты трудные она вам будет очень полезна. Навестите также Языкова. Он без ног, а пото⟨му⟩ к вам не в состоянии приехать. Прочих всех можете увидеть у Хомякова, который даст для вас вечер и на нем покажет вам всех».

Из письма Гоголя к Н. М. Языкову,
5 июня. Гомбург.

«С. Т. Аксакову и Шевыреву скажи, что напрасно они собираются писать в ответ на письмо, на которое просилось одного только дружеского: *да.* С тех пор прошло уже полгода, и молчанье принято, как следует, за совершенное согласие; напоминание же о чем-нибудь уже забытом будет мне неприятно.

. . . .

В Москве будет, вероятно, на днях Смирнова. Ты должен с ней познакомиться непременно. Это же посоветуй Серг⟨ею⟩ Т⟨имофеевичу⟩ Аксакову и даже Н. Н. Шереметевой. Это перл всех русских женщин, каких мне случалось знать, а мне многих случалось из них знать, прекрасных по душе. Но вряд ли кто имеет в себе достаточные силы оценить ее».

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю.

«Июня 11, 1845, Москва.

Завтра, если бог допустит, мы с Ольгой Семеновной и нашей несчастной страдалицей Оленькой отправляемся в деревню. Доктора

возлагают большую надежду на воздух и движение; но больная так слаба, так расстроена нервами, что я не смею верить в возможность переезда. Из Москвы по камням перенесем ее на руках, а за заставой положим в карету... Мрачно и страшно наше будущее! Особенно потому, что не за себя одного боишься, а за многих...

Несмотря на то, что собственное горе и еще более беспрестанное опасение за каждую минуту будущего ожесточает сердце (вопреки мнению некоторых), или, лучше сказать: лишает способности принимать живое и глубокое участие в положении друга и брата,— последнее письмо ваше к Языкову, милый друг Николай Васильевич, сильно меня поразило... Дай бог, чтоб оно было написано в припадке мрачной ипохондрии! Что можем мы делать? Только молиться богу, кто сколько может и умеет, о вашем выздоровлении... Меня сильно тревожит мое последнее к вам письмо. Постоянно находясь в огорчительном и раздражительном состоянии, я, вероятно, написал к вам что-нибудь резкое и, может быть, огорчительное для вас... Я знаю, что вы меня ту же минуту простили; но мне очень прискорбно, если я и на минуту огорчил вас. В нашем душевном союзе, с первой минуты столь чистом и прекрасном, не долженствовало быть ни одной темной минуты.

Уже давно сильно занимает меня Смирнова. Все, что свет говорит о ней с злобным наслаждением, мне хорошо известно. Живя давно на свете, я мало верю его слепым приговорам. Ваши слова возбудили во мне живейшее участие. Я дорого бы дал, чтоб узнать лично эту женщину. К сожалению, она в Москву, как говорят, не будет: ибо наняла дачу под Петербургом; я приехал бы из деревни, чтоб с ней познакомиться.

Прощайте, милый друг! Напишите мне несколько слов через Языкова. Обнимаю вас крепко и надеюсь на милость божию. Все мы вас обнимаем.

Ваш *С. Аксаков*».

Летом 1845 г. Гоголь был болен и не писал Аксакову, объяснив причину в письме к Н. М. Языкову от 25 июля:

«Поблагодари Аксаковых ⟨...⟩ за их милые письма. Отвечать же теперь совершенно не в силах, а буду, как только сколько-нибудь приду в состояние».

Из письма В. С. Аксаковой к М. Г. Карташевской,
6 июня. Москва.

«Сегодня утром получено неожиданное письмо от Смирновой (бывшей Розетти), переслал его Самарин, оно по поводу Гоголя, который теперь в такой хандре и так болен, что не знают, что с ним делать.

Он в переписке с Смирновой и пишет к ней о своем положении, и здесь также получены от него письма такого же содержания. Надобно, чтоб кто-нибудь к нему поехал или его сюда вызвать».

Вскоре Гоголь поехал лечиться холодною водою в Грефёнберг. Это леченье было для него спасительно. (Кажется, он жил там вместе с Языковым, который оттуда возвратился в Россию). Из Грефёнберга я получил от него только одно маленькое письмецо, из которого, однако, видно, что Гоголь очень поправился в своем здоровье: ибо он мог уже заниматься своим делом. Вот это письмецо без означения года[185], месяца, числа и места, откуда писано.

«Благодарю вас, бесценный Сергей Тимофеевич, за ваши два письма. Они мне были очень приятны. Здоровье мое, кажется, как будто немного лучше от купаний в холодной воде, но не могу и не смею еще предаться вполне надежде. Пишите в Рим, куда я отправляюсь; от Языкова узнаете подробнее. Не име⟨ю⟩ ни минуты свободной. Обнимаю вас всей душою, а с вами вместе и все ваше милое семейство.

Весь ваш *Гоголь».*

О. С. и С. Т. Аксаковы — Н. В. Гоголю.

«1845. Октября 9-го.

Слава богу! Мы получили известие от вас, что вам хотя немного лучше, что вы едете в Рим, а в Риме вы всегда бывали здоровее и бодрее, нежели в этой Германии. Когда вы были в Карлсбаде, я надеялась, что вы решитесь приехать в Россию, что мы увидим вас, *всем* уже тяжело становится не видать вас четвертый год. Да внушит вам господь мысль возвратиться скорее на родину, в Россию, где много людей, которые любят вас всею душою горячо, так, как вы никого не найдете в Европе, чтоб вас так любили, вы это знаете сами. Мы переехали жить в деревню, в четырнадцати верстах от Троицы, место святое. Филарет устроил скит[186], куда не пускают женщин; кто расположен молиться в уединении, тот вполне может. Оленька наша менее теперь страдает, но совершенного выздоровления она, кажется, не может получить; лекарства все оставлены; одно чудесное и видимое милосердие божие ее спасает. Константин с нами, ожидает, когда прочтут его диссертацию профессора. Гриша во Владимире ⟨...⟩ Иван переехал в Калугу, где нетерпеливо ожидает приезда Алекс⟨андры⟩ Осип⟨овны⟩.

Вот вам коротенький отчет о семье нашей, милый друг наш Николай Васильевич. Сколько могу и умею, молюсь о вас. Пишите к нам, обнимаю вас».

«P. S. Здравствуйте, милый друг Николай Васильевич! Я получил вашу записочку через Языкова, прочел также ваше письмецо к нему и знаю, что вы писали к Александре Осиповне, с которой я, к душевному моему удовольствию, познакомился заочно и даже переписываюсь. Мой Ваня служит в Калуге и живет в совершенном пустынном сиротстве: А⟨лександра⟩ О⟨сиповна⟩ заранее предлагает ему свой дом как родной, как *его собственный* (так она выражается). Я увижу эту необыкновенную женщину в проезд ее через Москву и нетерпеливо ожидаю этого свидания. Мне очень хочется сохранить ее образ в моей памяти в числе немногих утешительных воспоминаний, и я не хочу пропустить этого случая: ибо слепота моя приближается.

Молю бога, да подкрепит он ваше здоровье. В глубине души моей живет отрадное убеждение в полном вашем восстановлении. Еще дело не сделано, не кончено, и делатель не должен погибнуть... Долгое и трудное поприще вас ожидает!.. Констан⟨тин⟩ мой меня сокрушает: он бездействует в лютой хандре (это между нами). Обнимаю вас крепко и горячо: сердце мое еще молодо!

Ваш друг *С. Аксаков*».

Когда Гоголь воротился в Рим, я не знаю; но вот первое его письмо оттуда.

«Рим. Октяб⟨рь⟩ 29

Уведомляю вас, добрый друг мой Сергей Тимофеевич, что я в Риме. Переезд и дорога значительно помогли; мне лучше. Климат римский подействует, если угодно богу, так же благосклонно, как и прежде. А потому вы обо мне не смущайтесь и молитесь. Уведомьте об этом также и маменьку мою, я хотя и написал к ней письмо сей же час по приезде в Рим, и к ней первой, но вообще за письма мои к ней я сильно беспокоюсь. Двух или трех писем моих *сряду* она не получила. Два из этих писем были очень *нужны*. Это для меня неизъяснимо. Пропасть на почте, пожалуй, еще может одно письмо, но *сряду* два, писанные одно за другим,— это странно. У маменьки есть неблагоприятели, которые уже не раз ее смущали какими-нибудь глупыми слухами обо мне, зная, что этим более всего можно огорчить ее. Подозревать кого бы то ни было грешно; но все не худо бы об этом разведать каким-нибудь образом, дабы узнать, как руководствоваться вперед; последние письма я даже не смел адресовать прямо на имя маменьки, но адресовал на имя одной ее знакомой, С. В. Капнист [187]. Письмо, однако же, из Рима было послано на ее собственное имя. Оно отдано мною здесь на почту 25 октября здешнего штиля. Об этом прошу вас, друг мой С⟨ергей⟩ Т⟨имофеевич⟩, уведомить маменьку

немедленно или поручить кому-нибудь из ваших, кто с ней в переписке.

О себе, относительно моего здоровья, скажу вам, что холодное леченье мне помогло и заставило меня, наконец, увериться лучше всех докторов в том, что главное дело в моей болезни были нервы, которые, будучи приведены в совершенное расстройство, обманули самих докторов и привели было меня в самое опасное положение, заставившее не в шутку опасаться за самую жизнь мою. Но бог спас. После Греффенберга я съездил в Берлин нарочно с тем, чтобы повидаться с Шенлейном [188], с которым прежде не удалось посоветоваться и который особенно талантлив в определении болезней. Шенлейн утвердил меня еще более в сем мнении, подивился докторам, пославшим меня в Карлсбад и Гастейн. По его мнению, сильней всего у меня поражены были нервы в желудочной области, в так называемой системе nervoso fascoloso, одобрил поездку в Рим, предписал вытиранье мокрой простыней всего тела по утрам, всякий вечер пилюлю и две какие-то гомеопатические капли поутру, а с началом лета и даже весной ехать непременно на море, преимущественно северное, и пробыть там, купаясь и двигаясь на морском воздухе, сколько возможно более времени, ни в каком случае не менее трех месяцев. Затем, обнимая как вас, так и все ваше милое семейство, остаюсь

ваш ***Гоголь.***

Адресуйте письма так: Via de la Croce, № 81, 3 piano».

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю

⟨Текст письма в большей части написан под диктовку⟩.

«1845. 22 ноября. Радонежье [189].

Как вы обрадовали меня, милый друг Николай Васильевич, письмецом своим из Рима от 29 октября (вероятно, нового стиля)! Хотя и питал в душе моей теплую веру и надежду, что милосердный бог подкрепит ваши силы и проявит на вас вновь свою великую милость: ибо еще не свершен ваш подвиг, не окончено дело; хотя я ободрял этими словами и свою семью, горевавшую о вашем болезненном состоянии, и даже написал их в письме к Александре Осиповне, которая, в тревоге о вашем тяжелом положении, вошла со мною в переписку; но не без страха и внутреннего волнения повторял я утешительные слова сии!.. Будем молиться богу, чтоб он вполне восстановил ваши телесные и душевные силы. Мы уже знали через Надежду Николаевну, что ваша маменька получила от вас письмо через посторонние руки, из которого узнала, что прежние ваши письма пропали. Сообразив прежние обстоятельства, кажется, что пропажа их исходит из

того же источника, из которого выходили разные вести о вас, много причинившие вашей маменьке горя. По-моему, это гнуснейшее злодейство; я глубоко возмущен им и, признаюсь, желаю, чтоб эти добрые люди получили достойную награду. Третьего дня моя Вера писала к вашей сестрице обо всем том, о чем вы желали известить их.

Мы живем в деревне тихо, мирно и уединенно; даже не предвидим, чтобы могла зайти к нам скука; болезненное состояние нашей Оленьки продолжается, иногда несколько легче, иногда тяжелее; не смеем надеяться исцеления, но и за настоящее ее положение благодарим бога. Я ничего не вижу левым своим глазом, да и правым вижу нехорошо; но счел бы за великое благополучие, если бы мог сохранить этот остаток зрения во всю остальную мою жизнь. По первому зимнему пути, уступая желанию моего семейства, хочу съездить в Петербург для свидания с глазным доктором Кабатом[190], хотя крепко не хочется ехать. Ольга Семеновна моя часто прихварывает: теперь и у ней болит глаз; прочие все здоровы. Константин живет еще с нами; на сих днях будет возвращена из факультета его диссертация, которую профессора читали восемь месяцев; на следующей неделе он переедет жить в Москву, чтобы печатать и потом защищать на диспуте свой пятилетний труд; если он не будет совершенно искажен цензурой факультета и попечителя, то Москва услышит на диспуте много нового, и ... мы испытаем много волнения и заочного беспокойства: ибо не поедем в Москву на это время.

С одним из товарищей моих меньших сыновей, Погуляевым, мы послали вам две стихотворные пиесы («Чиновник» и «Зимняя дорога») моего Ивана; сверток оставлен у Жуковского; когда ваше здоровье восстановится совершенно, то вытребуйте его и напишите мне голую правду.

Несколько месяцев тому назад началась у меня переписка с Александрой Осиповной[191]; разумеется, предметом содержания наших писем были вы; с первой строки она умела восстановить между собой и мной искреннюю короткость. В начале ноября она приехала в Москву, проезжая в Калугу; меня известили, и я ездил туда для свидания с нею. Мы провели целый вечер в самых дружеских и откровенных разговорах большею частью о вас; она намеревалась ехать к Троице и хотела непременно заехать к нам в деревню; но совершенное бездорожие помешало ей исполнить свое намерение. Я получил от нее письмо, в котором она пишет, что непременно будет у нас зимой или весной; я нетерпеливо хочу увидеться с ней в другой раз; одного свидания слишком недостаточно. Первое мое впечатление не во всем согласно с теми понятиями, которые я составил себе об этой необыкновенной женщине; многие черты не похожи на те,

которые я придал заочно ее образу. Все это мне надобно согласить. Она захотела видеть Константина, и он был у ней в русском платье и бороде (на днях одно скидается, а другая сбривается); она с первого слова напала и на платье и образ его мыслей. Константин твердо стоял и за то и за другое. По приезде в Калугу она также просто и коротко обошлась с моим Иваном (нападая на его мысли, общие с братом), который, будучи так же неуступчив, сильно ей противоречил. Одно можно положительно заметить, что человеческие убеждения, хотя бы совершенно ложные, но тем не менее задушевные и серьезные, никогда не уступают легкому, шутливому нападению, а даже оскорбляются им. Она так умна, что, без сомнения, не думала перевоспитать этих молодых людей в первые полчаса первого своего в жизни с ними свидания. Я уверен, что она в иное время бывает иною и что даже не без намерения показалась тою, которою является по необходимости в этом душегубном омуте, называемом высшим кругом. Тихое прикосновение стали даже и к острому кремню не извлекает искр; а ничтожные нападения и пустая светская речь, там где ее не ожидали, извлекла несколько огненных искр, ярко осветивших всю внутреннюю сторону моих юношей...

Не могу долго писать: все зарябит в последнем глазу моем; а диктовать не умею. Я очень давно не видал ни Погодина, ни Шевырева, даже с Языковым не видался в последний приезд в Москву и потому ничего не могу вам сообщить о них, знаю только, что нет в Москве, между всеми нашими с вами общими знакомыми, и двух человек, согласных между собою, а потому никакое литературное дело не может иметь успеха. Погодин печатает черт знает что в «Москвитянине»... ну, да лучше не говорить о нем. Лучше расскажу вам о нашем житье-бытье.

От утреннего чая до завтрака и потом до позднего обеда все мы заняты своими делами: играют, рисуют, читают; Константин что-нибудь пишет, а я диктую. Я затеял написать книжку об уженье [192] не только в техническом отношении, но в отношении к природе вообще; страстный рыбак у меня так же страстно любит и красоты природы; одним словом, я полюбил свою работу и надеюсь, что эта книжка не только будет приятна охотнику удить, но и всякому, чье сердце открыто впечатлениям раннего утра, позднего вечера, роскошного полдня и пр. Тут займет свою часть чудесная природа Оренбургского края, какою я зазнал ее назад тому сорок пять лет. Это занятие оживило и освежило меня.

После обеда мы уже не расходимся по своим углам, а сидим вместе; весь вечер продолжается уж общее чтение. Каждый вечер мы читаем что-нибудь ваше по порядку выхода. Вчера кончили все;

через несколько месяцев станем опять читать. Собирайте, укрепляйте ваши силы; да подействует на вас благодатно и плодотворно воздух вечного Рима. Пишите к нам, когда вам захочется: мы будем делать то же. Крепко обнимаю вас.

Ваш на всю жизнь *С. Аксаков.*

Оставил было местечко, чтоб жена приписала к вам, милый друг; но глаз у ней так разболелся, что она писать не может. Прощайте! усердно молим бога, чтоб он восстановил совершенно ваше здоровье. Еще раз вас обнимаю. Все мои вас обнимают и вам кланяются».

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову.

«Рим. 25 ноября.

Письмо Шевырева меня огорчило [193]. Он заговорил вновь о том. о чем я просил, как о деле конченном, никогда не говорить мне. Вы меня все-таки больше знаете (вы утвердили обо мне свое мнение не из дел моих и поступков, а благородно поверили мне в душе своей, почувствовавши той же душой, что я не могу обмануть, не могу говорить одно, а действовать иначе); словом — вы меня все-таки больше знаете, а потому объясните Шевыреву, что все то, что я уже положил и определил в душе своей и произношу твердо, то уже не переменяется мною. Это не упрямство, но то решение, которое делается у меня вследствие многих обдумываний. Если ж он найдет исполнение моей просьбы несообразным своим правилам, то пусть передаст все в одни ваши руки. А вас прошу тогда выполнить, как святыню, мою просьбу. Не смущайтесь затруднительностью, бог вам поможет. Помните только то, что деньги не для бедных студентов, но для бедных, слишком хорошо учащихся студентов, для талантов. Имя дающего должно быть навсегда скрыто, потому что у талантов чувствительней и нежней природа, чем у других людей. Многое может оскорбить ⟨их⟩, хотя и не кажущееся другим оскорбительным. Когда же дающий скрыл свое имя — дар его примется твердо и смело, благословится во глубине благодарной души его неизвестное имя, ибо тот, кто скрыл свое имя, верно не попрекнет никогда своим благодеянием и не напомнит о нем. Не заботьтесь о том, что книга идет тупо, не хлопочите о ее распространении и берегите только экземпляры. Она пойдет потом вдруг; деньги тоже пока не нужны: таланты редки, и не скоро один после другого появляются. Нужно только, чтобы ни одна копейка не издержалась на что-нибудь другое, а собиралась бы и хранилась бы как святая: обет этот дан богу. Объявите также

Шевыреву, сколько я вам остался должен. Не бойтесь, я вам не заплачу этих денег, потому что я взял у вас их таким образом, как бы взял из моего собственного кармана; но Шевыреву нужно объявить, он, кажется, подозревает, что я вам должен гораздо больше. Хотел было попенять вас за то, что пишете весьма мало о Конст⟨антине⟩ Серг⟨еевиче⟩, но вижу в то же время, что это более следует сделать ему, нежели вам; до меня доходят только временами *слухи,* которые, как известно, даже и тогда бывают нелепы, когда бывают основательны. Передайте ему это маленькое письмецо и пришлите мне что-нибудь из стихов Иван⟨а⟩ Сергеев⟨ича⟩. Мне хвалили очень его «Зимнюю дорогу». Пришлите ее и все то, что ни было им написано в последнее время. Прилагаю вновь письмо к маменьке и вновь прошу вас переслать к ней; я все еще боюсь пропажи писем. Ольгу Семеновну благодарю много за ее милую приписку. Здоровье мое хотя и стало лучше, но все еще как-то не хочет совершенно устанавливаться. Чувствую слабость и, что всего непонятнее, до такой степени зябкость, что не имею времени сидеть в комнате: должен ежеминутно бегать, согреваться; едва же согреюсь и приду, как вмиг остываю, хотя комната и тепла, и должен вновь бежать согреваться. В такой беготне проходит почти весь день, так что не имеется времени даже написать письма, не только чего другого. Но о недугах не стоит, да и грех говорить: если они даются, то даются на добро. А потому помолитесь и всю вашу семью попросите помолиться, и все, кто ни молились обо мне, да помолятся вновь, да обратится все в добро и да пошлет господь бог попутный ветр моему делу и труду. Затем прощайте, обнимаю вас!

Ваш *Г.*

Адрес мой: Via de la Croce, № 81. 3 piano».

Книга, о которой говорит Гоголь,— полное собрание его сочинений, которое, точно, на целый год в продаже останавливалось; причина очевидна: это была петербургская контрфакция, которая на время снабдила экземплярами все книжные лавки.

1846

В этом году у меня сохранились только два письма Гоголя, но, кажется, их было больше. Впрочем, я был так болен, особенно в конце года, что письма могли легко затеряться. Гоголь также был болен и телом, и душой. В этот год составил он, втайне от всех

московских друзей, известную книгу: «Выбранные места из переписки с друзьями», да и в Петерб⟨урге⟩, кажется, знал о ней один Плетнев.

Вот первое письмо.

«1846. Рим. 23 марта.

Письмо ваше от 23 генваря я получил. Благодарю вас много за присылку стихов Ив⟨ана⟩ Серг⟨еевича⟩. В них много таланта, особенно в первом, то есть в ст⟨ихах⟩, начинающихся так:

«Среди удобных и ленивых,
Упорно-медленных работ...»

Я удивляюсь только, почему они лучше последних, тогда как бы следовало быть последним лучше первых; человек должен идти вперед. Прежних стихов, вами посланных к Жуковскому, я не получил. Жуковский не упоминает даже ни слова в письмах своих, была ли какая-нибудь к нему посылка на мое имя. Я послал, однако ж, к нему запрос, на который доселе еще нет ответа.

Благодарю также Ольгу Семеновну за сообщение прекрасной проповеди Филарета, которую я прочел с большим удовольствием. Насчет недугов наших скажу вам только то, что, видно, они нужны и нам всем необходимы. А потому как ни тяжко переносить их, но, крепя сердце, возблагодарим за них вперед бога. Никогда так трудно не приходилось мне, как теперь, никогда так болезненно не было еще мое тело. Но бог милостив и дает мне силу переносить. Дает силу отгонять от души хандру, дает минуты, за которые и не знаю и не нахожу слов, как благодарить.

Итак, все нужно терпеть, все переносить и всякую минуту повторять: да будет и да совершается его святая воля над нами. Покамест прощайте до следующего письма. Зябкость и усталость мешают мне продолжать, хотя и желал бы вам писать более. Доселе из всех средств, более мне помогавших, была езда и дорожная тряска, а потому весь этот год обрекаю себя на скитание, считая это необходимым и, видно, законным определением свыше. Летом полагаю объездить места, в которых не был, в Европе северной, на осень в южную, на зиму в Палестину, а весной, если будет на то воля божья, в Москву. А потому следующие письма адресуйте к Жуковскому. А всех вообще просите молиться обо мне, да путешествие мое будет мне во спасенье душевное и телесное и да успею, хотя во время его, хотя в дороге, совершить тот труд, который лежит на

душе. Пусть Ольга Семеновна об этом помолится и все те, которые любят молиться и находят усладу в молитвах.

Прощайте, друг мой. Обнимаю всех вас.

Н. Гоголь».

Почерк руки и самое содержание письма, если внимательно в него всмотреться, показывают внутреннее ненормальное состояние Гоголя.

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову.

«Мая 5.

На выезде из Рима [194] пишу к вам несколько слов, почтеннейший друг мой Сергей Тимофеевич. Еду я для того, чтобы ехать. Езда, как вы знаете, мое всегдашнее средство, а потому и теперь, как я ни хил и болезнен, но надеюсь на дорогу и на бога, и прошу у него быть в дороге, как дома, то есть, как у него самого в покойные минуты души, дабы быть в силах и возможности что-нибудь произвести. О том прошу молиться вас и прошу вас также попросить обо мне всех, которые обо мне молились прежде, потому что их молитвами я был доселе чудно сохраняем и среди тягости болезненных состояний зрел и укреплялся душой.

Напишите домой к маменьке моей запрос, получила ли она два моих письма, писанных после того, которое было приложено при вашем. Последнее, от 1 мая здешнего штиля, весьма нужное. Об этом пусть немедленно вас уведомит она или сестра, а вы сообщите мне.

Обнимаю вас всех.

Ваш *Г.»*

Это сомнительное письмецо написано так сбивчиво и таким дурным почерком, что должно предполагать, что Гоголь был болен или сильно расстроен нервами.

Вот еще маленькое письмецо без года и числа [195].

⟨Середина ноября н. ст. Рим.⟩

«Что вы, добрый мой, замолчали, и никто из вас не напишет о себе ни словечка. Я, однако ж, знаю почти все, что с вами ни делается: чего не дослышал слухом, дослышала душа. Принимайте покорно все, что ни посылается нам, помышляя только о том, что это посылается тем, который нас создал и знает лучше, что нам нужно. Именем бога говорю вам: все обратится в добро. Не вследствие какой-либо системы говорю вам, но по опыту. Лучшее добро, какое

ни добыл я, добыл из скорбных и трудных моих минут. И ни за какие сокровища не захотел бы я, чтобы не было в моей жизни скорбных и трудных состояний, от которых ныла вся душа, недоумевал ум помочь. Ради самого Христа, не пропустите без вниманья этих слов моих. Адресуйте мне в Неаполь. Раньше генваря последних чисел я не думаю подняться в Иерусалим.

Ваш *Г.*»

Из писем С. Т. Аксакова к И. С. Аксакову.

26 августа. Абрамцево. «Мы получили верное и секретное известие из Петербурга, что там печатается целая книга, присланная от Гоголя: *отрывки из писем или переписки с друзьями* (название хорошенько не помню). Вероятно, там помещено много из его писем к А. О. ⟨Смирновой⟩, к Языкову и ко мне [196]. Между прочим, там Гоголь признает совершенную ничтожность всего им написанного и говорит, что изорвал продолжение «Мертвых душ», объявляет, что едет в Ерусалим и делает какое-то завещание публике или России. Плетнев печатает эту книгу в возможном секрете и потому не говори об этом никому ни слова; без сомнения, А⟨лександра⟩ О⟨сиповна⟩ должна это знать. Увы, исполняется мое давнишнее опасение! Религиозная восторженность убила великого художника и даже сделает его сумасшедшим. Это истинное несчастие, истинное горе. Впрочем, ласкаю себя надеждой, что это как-нибудь да не так: может быть, он изорвал прежнее продолжение «Мертвых душ» и написал новое. Истина должна скоро открыться. Второе издание «Мертвых душ» уже печатается и к 15 октября выйдет в свет, если не задержит сам Гоголь присылкою предисловия. Меня удивляет эта несообразность: если он отказывается от всего им написанного, зачем второе издание «Мерт⟨вых⟩ ду⟨ш⟩»? Видно, Гоголь на меня сердится: пишет ко всем, кроме меня».

28 ноября. Москва. «Написал и послал сильный протест Плетневу, чтобы не выпускал в свет новой книги Гоголя, о которой ты знаешь и которая состоит из писем его ко мне и к другим и в которой точно есть завещание целой России, где Гоголь просит, чтоб она не ставила над ним никакого памятника, и уведомляет, что он сжег все свои бумаги. Требую также, чтоб не печатать «Предуведомление» к пятому изданию «Ревизора» и новой его «Развязки»: ибо все это с начала до конца ложь, дичь и нелепость, и если будет обнародовано, то сделает Гоголя посмешищем всей земли русской. То же самое объявил я и Шевыреву. Не обязывая их к полному согласию со мною, я убеждаю их написать к Гоголю с совершенной

откровенностью, что они думают. Сам же я начал диктовать большое письмо к Гоголю, в котором высказываю ему беспощадную правду. Очень жаль, что диктовка этого письма, сильно меня волнуя, увеличивает мои страдания и заставляет диктовать его понемногу: оно потеряет свою цельность и энергию. Если Гоголь нас не послушает, то я предлагаю Плетневу и Шевыреву (который со мной почти во всем согласен) [197] отказаться от исполнения поручений Гоголя: пусть он находит себе других палачей».

С. Т. Аксаков — П. А. Плетневу,
20-е числа ноября. Москва.

«Милостивый государь
Петр Александрович.

Хотя я виделся с вами только один раз в жизни, но у нас с вами так много общих друзей, мнений и оснований, что я пишу к вам как к старинному приятелю. Вы, вероятно, так же, как и я, заметили с некоторого времени особенное религиозное направление Гоголя; впоследствии оно стало принимать характер странный и, наконец, достигло такого развития, которое я считаю, если не умственным, то нервным расстройством. Вы, верно, получили «Предуведомление» к 4-му или 5-му изданию «Ревизора», и также новую его «Развязку». Все это так ложно, странно и даже нелепо, что совершенно непохоже на прежнего Гоголя, великого художника. Я слышал, что вы печатаете какое-то его сочинение, в котором также много подобных несообразностей: книга еще не вышла, а неблагоприятные слухи уже бродят по всей России, и уже ваш литературный совестдрал, Барон Брамбеус, торжественно объявил, что Гомер впал в мистицизм. Если вы, хотя не вполне, разделяете мое мнение, то размыслите, ради бога, неужели мы, друзья Гоголя, спокойно предадим его на поругание многочисленным врагам и недоброжелателям. Если милосердный бог возвратит Гоголю прежнее его духовное и телесное здравие и он спросит нас: «Друзья мои, я был болен, но где же был ваш рассудок?» — что мы станем отвечать ему?

Итак, мое мнение состоит в следующем: книгу, вероятно, вами уже напечатанную, если слухи об ней справедливы, не выпускать в свет, а «Предуведомление» к «Ревизору» и новой его развязки совсем не печатать; вам, мне и С. П. Шевыреву написать к Гоголю с полною откровенностью наше мнение. Если он его не послушает, то мы откажемся от его поручений, пусть он находит себе других исполнителей. По крайней мере, мы сделаем, что можем.

Почти уже два месяца я страдаю такою мучительною болезнью, что и теперешнее письмо мое есть торжество дружбы над физическою болью. Более диктовать не в силах⟨...⟩»

Из письма С. Т. Аксакова к И. С. Аксакову,
5 декабря. Москва.

«Я уведомлял тебя, что писал Плетневу. Вчера получил от него преглупый ответ. Довольно одного такого друга, чтобы поддержать гоголево сумасшествие.

Письмо к Гоголю лежало тяжелым камнем на моем сердце; наконец, в несколько приемов я написал его. Я довольно пострадал за то, но согласился бы вытерпеть вдесятеро более мучения, только бы оно было полезно, в чем я сомневаюсь. Болезнь укоренилась, и лекарство будет недействительно или даже вредно; нужды нет, я исполнил свой долг как друг, как русский и как человек».

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю.

«9 декабря. ⟨Москва⟩.

Давно, очень давно надобно было мне писать к вам. Давно душа моя рвалась излиться в вашу душу; но с февраля прошедшего года я жестоко страдаю и только летом имею отдых, как будто для того, чтоб собраться с силами: с 1-го же октября по настоящее число декабря я страдаю постоянно. Но главное препятствие состояло не в этом: при всяком ослаблении болезни я думал и думаю об вас и часто говорю мысленно с вами; итак, стоило только эти мысли положить на бумагу, и это-то меня до сих пор останавливало. Я хочу говорить с вами так глубоко откровенно, что только мой голос или моя рука имеет право произнести или написать такие речи; ⟨а⟩ я с трудом могу подписать мое имя! Необходимость заставляет меня употребить руку Константина, такого человека, который любит вас и предан вам беспредельно, кажется, вы не должны оскорбиться этим.

Уже давно начало не нравиться мне ваше религиозное направление. Не потому, что я, будучи плохим христианином, плохо понимал и оттого боялся, но потому, что проявление христианского смирения казалось мне проявлением духовной гордости вашей. Многие места в ваших письмах ко мне меня смущали; но они были окружены таким блеском поэзии, такою искренностью чувства, что я не смел предаться, не смел поверить моему внутреннему голосу, их охуждавшему, и старался перетолковать свое неприятное впечатление в благоприятную для вас сторону. Я бывал даже увлечен,

ослеплен вами и помню, что один раз написал к вам горячее письмо, истинно скорбя о том, что я сам, как христианин, неизмеримо далек от того, чем бы я мог быть.

Между тем ваше новое направление развивалось и росло. Опасения мои возобновились с большей силой. Каждое ваше письмо подтверждало их. Вместо прежних дружеских, теплых излияний начали появляться наставления проповедника, таинственные, иногда пророческие, всегда холодные и, что всего хуже, полные гордыни в рубище смирения. Я мог бы доказать слова мои многими выписками из ваших писем, но считаю это излишним и слишком тягостным для себя трудом. Вскоре прислали вы нам, при самом загадочном письме, душеспасительное чтение Фомы Кемпийского с подробным рецептом: как и когда и по скольку употреблять его, обещая нам несомненный переворот в духовной жизни нашей... Опасения мои превратились в страх, и я написал вам довольно резкое и откровенное письмо. В это время меня начинала постигать ужасная беда: я терял безвозвратно зрение в одном глазу и начинал чувствовать ослабление его в другом. Отчаяние овладевало мною. Я излил скорбь мою в вашу душу и получил в ответ несколько сухих и холодных строк, способных не умилить, не усладить страждущее сердце друга, а возмутить его. После этого вы были долго больны сами, и вскоре после вашего медленного выздоровления начались мои мучительные страдания, и теперь продолжающиеся. Не много было предметов, возбуждавших мое душевное участие, но вы были из первых. Телесное здоровье ваше, как видно, поправилось, и деятельность возобновилась, но какая деятельность! Каждое ваше действие было для меня ударом, и один другого сильнейшим.

Статья ваша, напечатанная в «Моск⟨овских⟩ вед⟨омостях⟩» о переводе «Одиссеи», заключая в себе много прекрасного, в то же время показывала ваш непростительно ошибочный взгляд на то действие, какое вы ему предсказываете с самоуверенностью, догматически. Похвалы ваши переводу превзошли не только меру, но и самую возможность достоинства такого труда. Одни видели в этом поэтическое увлечение, другие — пристрастие дружбы; но я знал вас хорошо: ясность и глубина взгляда и верность суда, даже в предметах, мало вам известных, были отличительными вашими качествами, и я, посреди похвал и восклицаний ваших друзей и почитателей, горестно молчал и, тоскуя, думал о будущем. Предисловие ваше ко второму изданию «Мертв⟨ых⟩ д⟨уш⟩» поразило меня глубже, и когда Шевырев читал мне его, то мои стенания от физических мучений заменялись стенаниями душевными, и я тогда же предлагал не печатать вашего объяснения с читателями. В коротких словах скажу

вам заключение, которое выведет из него здравый толк простого русского человека: *Кой черт*,— скажет он,— *сочинитель сам признается, что плохо знает Русь, и для того, чтоб избежать промахов во втором томе своего сочинения, почти пять лет живет за границей, да, видно, и еще хочет там оставаться, потому что просит нас замечать его промахи, описывать нравы наши, обычаи и вообще весь русский быт и все это пересылать к нему через его петерб⟨ургского⟩ и московского корреспондентов! Он, видно, хочет, живя на чужбине и с каждым днем забывая то, что знал о святой Руси, чужими руками жар загребать!* Нужно ли говорить, что скажут те люди, которые понимают, как ложна мысль, будто из мертвых описаний житейских фактов и анекдотов может постигаться жизнь и дух обширнейшей и разнообразнейшей страны и великого народа, в ней живущего. Вслед за этим разнеслись темные слухи, что в Петерб⟨урге⟩ печатается целая книга ваших сочинений, в которой помещена переписка ваша с друзьями, состоящая из проповедей и пророчеств, ваше признанье, что все написанное вами до сих пор ничтожно и не достойно внимания, ваше извещение, что вы сожгли продолжение «Мертв⟨ых⟩ д⟨уш⟩» и что вы отправляетесь в Иерусалим, и, наконец, ваше Завещание, чтоб не ставили никакого памятника на вашей могиле. Не зная, до какой степени справедливы эти слухи, тем не менее уже не я один, но многие из тех, для коих драгоценны вы и ваш великий талант, пришли в неописанный ужас. Враги ваши торжествовали, и уже Брамбеус торжественно и печатно объявил, что новый Гомер впал в мистицизм. Вскоре получили мы доказательства, после которых, по моему мнению, должно было всему поверить: мы получили для напечатания «Предуведомление» к четвертому изданию «Ревизора» в пользу бедных и новую его «Развязку».

Друг мой, где же то христианское смирение, которое велит делать добро так, чтоб шуйца не ведала, что творит десница? Вы всенародно, во услышание всей России, устраиваете свое благотворительное общество, назначаете поимянно членов оного и с подробностью предписываете им образ их действия, невозможный в исполнении, несообразный ни с чем до последней крайности. Как вы могли подумать, что лица, назначаемые вами, особенно женщины, могли быть так неразборчивы, так нескромны, что согласились бы принять публичные обязанности благотворения, вами на них возлагаемые?.. Разумеется, никто не согласится, и ваше «Предуведомление» уничтожается само собою. Но где же ваш прежний ясный и здравый взгляд на публичность, гласность в деле благотворения? Давно ли вы сами поручали такие дела Шевыреву и мне под условием глубокой тайны? Этой тайны не знают даже наши семейства.

На́конец, обращаюсь к последнему вашему действию — к новой развязке «Ревизора». Не говорю о том, что тут нет никакой развязки, да и нет в ней никакой надобности; но подумали ли вы о том, каким образом Щепкин, давая себе в бенефис «Ревизора», увенчает сам себя каким-то венцом, поднесенным ему актерами? Вы позабыли всякую человеческую скромность. Вы позабыли, вы уже не знаете, как приняла бы все это русская образованная публика. Вы позабыли, что мы не французы, которые готовы бессмысленно восторгаться от всякой эффектной церемонии. Но мало этого, скажите мне, ради бога, положа руку на сердце: неужели ваше объяснение «Ревизора» искренно? [198] Неужели вы, испугавшись нелепых толкований невежд и дураков, сами святотатственно посягаете на искажение своих живых творческих созданий, называя их аллегорическими лицами? Неужели вы не видите, что аллегория внутреннего города не льнет к ним, как горох к стене, что название Хлестакова светскою совестью не имеет смысла: ибо принятие Хлестакова за ревизора есть случайность?

Вы некогда обвиняли меня в неполной искренности, вы требовали беспощадной правды — вот она. Если выражения мои резки, то вы, зная меня, не должны ими оскорбиться; но берегитесь подумать, что это вспышка моей горячей, страстной, как вы называете, натуры,— вы жестоко ошибетесь. Пятый год душа моя наполняется этими чувствами и убеждениями, и, наконец, переполнилась ме́ра. Осердитесь на меня, лишите меня вашей дружбы, но внемлите правде, высказанной мною».

Плетнев не послушал моих убеждений, и книга вышла, а от Гоголя я получил ответ уже в 1847 году.

1847

И́з писем, написанных по прочтении «Выбранных мест из переписки с друзьями».

С. Т. Аксаков — И. С. Аксакову,
Москва.

11 января. «Наконец, третьего дня получили мы новую книгу Гоголя. Алекс⟨андра⟩ Осип⟨овна⟩, верно, ее имеет и даст тебе прочесть. Увы, она превзошла все радостные надежды врагов Гоголя и все горестные опасения его друзей! Самое лучшее, что можно сказать об ней,— назвать Гоголя сумасшедшим. Мы прочли только половину: читать ее долго сряду слишком тяжело, да и времени как-то нет.

В первом номере «Современника» я выслушал только две статьи Белинского: о русской литературе и втором издании «Мертвых душ». С обеими статьями я совершенно согласен, они мне очень нравятся».

Приписка В. С. Аксаковой: «...у нас чтения и толки беспрестанные. Получена книга Гоголя, и мы пришли в ужас и уныние. Ты сам прочтешь и увидишь, слов нет, чтоб выразить всю эту нелепость. Как сделался пошл и вял его язык в последних годах! Лучше, если б это было простое сумасшествие.

Мы получили также «Современник», в котором много интересного, статья Белинского о «М⟨ертвых⟩ д⟨ушах⟩» очень справедлива, и теперь нельзя восставать ни против каких браней и нападений».

14 января. «Сейчас получил письмо твое, милый друг Иван, от 11 янв⟨аря⟩. Не будучи в состоянии заниматься теперь никаким другим делом, кроме разговора с тобою, я принимаюсь диктовать письмо, хотя оно пойдет еще послезавтра. Письмо твое не изумило, не поразило меня, а просто уничтожило на некоторое время. Я также прочел всю книгу Гоголя. Если б я не имел утешения думать, что он на некоторых предметах помешался, то жестким бы словом я назвал его. Я вижу в Гоголе добычу сатанинской гордости, а не христианское смирение. Я никогда не прощу ему выходок на Погодина: в них дышит дьявольская злоба, а он изволит утопать в сладости любви христианской. Меня оскорбило письмо его к Веневитиновой [199], которое и написать совестно, не только напечатать, которое нашпиговано *ангельскими устами и небесным голосом,* где определяется чисто католическое воззрение на красоту женщины и употребление оной и, между прочим, говорится о *рукоплесканиях на небесах.* Я не мог читать без отвращения печатное завещание человека живого и здорового, в каждом слове которого дышат неимоверная гордость и опять-таки злоба на Погодина; где эстамп «Преображения господня» так и ложится рядом с его портретом [200]. Боже мой, какое впечатление произведет это завещание на его бедную мать! Я не мог без горького смеха слушать его наставленья помещикам, как надобно им пахать, жать и косить впереди своих крестьян; как заставлять их прикладываться к некоторым словам священного писания, *тыкая* в них пальцем, как чинить суд и расправу и как уверить умный русский народ, что помещик для того только справляет барщину, чтоб они в поте лица снедали хлеб свой; как раскладывать свой годовой доход, которого никогда при начале года в руках не бывает, на семь куч и если в куче, назначенной для благотворения, недостанет денег, то дать людям умирать возле себя, а из другой кучи не брать! Я не мог без жалости слышать этот

язык, пошлый, сухой, вялый и безжизненный, которым ты упиваешься, и только статья о русской литературе и литераторах и письмо об Иванове [201] напомнили мне прежнего Гоголя. Неужели не поразило тебя выражение: *прекрасный небесный отец наш* и рядом: *прекрасный друг мой* (говоря о Жуковском). Я теперь уже готов услышать от тебя, что статья, которой не называю [202], непосредственно вытекает из духа христианского! Этот дух по крайней мере неглуп. Я прочел книгу и отдал читать другим: пишу теперь на память, которая стала у меня плоха. Я уверен, что найду в ней десятки подобных доказательств. Я не буду знать, что мне возразить тому человеку, который скажет: это — хохлацкая штука: широко замахнулся, не совладел с громадностью художественного исполнения второго тома, да и прикинулся проповедником христианства.

Мы все сбираемся писать к Гоголю, более или менее в одинаковом смысле. Разумеется, все, что я написал тебе, я не только никому не скажу, но и не позволю сказать при мне, кроме истинных друзей Гоголя».

О. С. Аксакова — И. С. Аксакову,
после 11 января. Москва.

«С изумлением, разиня рты и поднявши руки, слушали мы письмо твое о книге Гог⟨оля⟩. Вот тебе, Ванечка, семейная картина при чтении твоего письма; больше ничего не скажу; отец так много и сильно написал, что прибавлять уже не стоит ⟨...⟩ Одно сильное действие возбудила во мне эта книга: *сильное негодование* —вот и польза его книги; до сих пор не могу истребить этого ощущения, оно же и поддерживается вестями (которые привез Боткин и переданные нам Константином), что *он* иначе не ходит, как потупя взор, и ему говорят тихо, с подобострастием: «Ник⟨олай⟩ Вас⟨ильевич⟩, Ник⟨олай⟩ Вас⟨ильевич⟩, хорошо ли это блюдо?», а он, кушая, отвечает: «Соф⟨ья⟩ Петр⟨овна⟩ [203], думайте о душе вашей».— Эта картина Тартюфа так мне противна, что я не могу ее выносить хладнокровно.

Много виноваты в том и А⟨лександра⟩ Ос⟨иповна⟩, и прочие дамы, а здесь обвиняют меня, но я любила в нем истину, а не притворство».

С. Т. Аксаков — И. С. Аксакову.
Москва.

16 января. «Обстоятельства переменяются. Мы не можем молчать о Гоголе, мы должны публично порицать его. Шевырев даже хочет напечатать беспощадный разбор его книги [204]. Дело в том, что хвали-

тели и ругатели Гоголя переменились местами: все мистики, все ханжи, все примиряющиеся с подлою жизнию своею возгласами о христианском смирении, весь скотный двор Глинки и особенно женская свита К. В. Новосильцевой утопают в слезах и восхищении [205]. Я думал, что вся Россия даст ему публичную оплеуху, и потому не для чего нам присоединять рук своих к этой пощечине; но теперь вижу, что хвалителей будет очень много, и Гоголь может утвердиться в своем сумасшествии. Книга его может быть вредна многим. Вчера был у меня Погодин. Он признается, что в первые минуты был оскорблен до глубины души (Шевырев сказывал, что он горько плакал); но скоро успокоился и теперь искренно смеется. Он хочет написать к Гоголю: *Друг мой, Иисус Христос учит нас подставлять правую ланиту, получив пощечину в левую; но где же учит он давать публичные оплеухи?* Вся его книга проникнута лестью и страшной гордостью под личиной смирения: он льстит женщине, ее красоте, ее прелестям; он льстит Жуковскому; он льстит власти. Он не устыдился напечатать, что нигде нельзя говорить так свободно правду, как у нас. Может ли быть безумнее гордость, как требованье, чтоб, по смерти его, его завещание было немедленно напечатано во всех журналах, газетах и ведомостях, дабы никто не мог отговориться неведением оного? Чтоб не ставили ему памятника, а чтоб каждый вместо того сделался *лучшим?* Чтоб все исправлялись *о имени его?..* Все это надобно повершить фактом, который равносилен *41 числу мартобря* (в «Записках сумасшедшего»). Известное стихотворение Пушкина к Гнедичу: *С Гомером долго ты беседовал один* Гоголь принял за стансы к царю. Неужели это не бросилось тебе в глаза?

Сейчас получили письмо твое от 14 янв⟨аря⟩ и вместе с ним письмо от матери Гоголя, которая еще не получила его книги, но получила его завещание... добрый, нежный сын! ⟨...⟩ Книги Гоголя в продаже нет: ибо всего было прислано тридцать пять экземпляров, а тысяча двести выслано из Петербурга в прошедший понедельник. Итак, ты не скоро еще ее получишь. Я уверен, что мысли твои о книге Гоголя должны измениться. Ты обольстил сам себя предположением чистого христианского направления в Гоголе. Что Ал⟨ександра⟩ Ос⟨иповна⟩? Если ты захочешь, то можешь показать ей или прочесть в моем письме все, касающееся до книги Гоголя. Я даже желал был сообщить ей письмо мое к нему, читанное тобою. Неужели необыкновенный ум этой женщины не поймет меня?»

23 января. «О книге Гоголя надо говорить или писать много и долго, я читаю ее во второй раз и очень медленно. Благодаря бога, я уже совершенно убежден в полной искренности сочинителя, и его духовное состояние объясняется для меня: он находится в состоянии пере-

хода, всегда исполненного излишеств, заблуждений, ослепления. Мне блещет луч надежды, что Гоголь выйдет победоносно из этого положения; но книга его чрезвычайно вредна: в ней все ложно, следственно и впечатления ее будут ложны. Самым близким и живым доказательством тому служишь ты сам ⟨...⟩ Говоря о примирении искусства с религией, он всеми словами и действиями своими доказывает, что художник погиб в нем... дай бог, чтобы это было только на время! ⟨...⟩ Вчера вечером мне перечли письмо *О значении женщины в свете.* Большую статью надо написать на это письмо. Боже мой, до какой степени оно противно духу христианскому! Это письмо не только католическое, но языческое! Нигде так ярко не изобличается ложность направления Гоголя ⟨...⟩ Вера думает со мною одинаково, а Костя строже нас обоих к Гоголю. Мать находится еще в волнении, следовательно предается излишеству. Загоскин говорит, что надо ехать в Неаполь и расцеловать Гоголя. Филарет сказал, что хотя Гоголь во многом заблуждается, но надобно радоваться его христианскому направлению. Понятно, что ничего другого он сказать не может».

30 января. «Прочитав в другой раз статью *О лиризме наших поэтов,* я впал в такое ожесточение, что, отправляя к Гоголю письмо Свербеева, вместо нескольких строк, в которых хотел сказать, что не буду писать к нему письма об его книге до тех пор, пока не получу ответа на мое письмо от 9 декабря,— написал целое письмо, горячее и резкое, о чем очень жалею ⟨...⟩.

Вчера прочли мы, едва ли не в третий раз, письмо об Иванове, которое понравилось мне гораздо менее прежнего. Они оба погибают от лукавого мудрствования: верить надобно в простоте сердца. Это ужасная ошибка и даже дерзость, по-моему, мешать имя бога во все наши дела. Разумеется, всякий талант от бога; но мысль, что прежде надо сделаться святым, чтоб изобразить святое,— нелепость. Из этого выйдет, что Иванов не кончит картины «Богоявления господня», а Гоголь — «Мертвых душ». Кто может осмелиться сказать самому себе: я теперь готов, я добродетелен, я свят? Много, много надобно говорить об этом. Я хочу переплесть книгу Гоголя с белыми листами, вновь перечитать ее и записать все мои замечания. Эту книгу я отошлю к нему, разумеется, с оказией. Я сделаю все, что может сделать друг для друга, брат для брата и человек с поэтическим чувством — теряющий великого поэта. До тех пор я не успокоюсь совершенно. Как мне больно слышать твои слова: «все это может быть полезно людям... просветленный художник уразумеет всю жизнь». Какая мечта! Мы сходимся в одном с Ал⟨ександрой⟩ Ос⟨иповной⟩, что Гоголь не в состоянии кончить «Мер⟨твых⟩ душ».

1847

Друг мой! Если вы желали произвести
шум, желали чтоб высказались и хвалители
и порицатели ваши, которые теперь, отчасти,
переменились местами, то вы вполне достигли
своей цели. Если это была с вашей стороны
шутка, то успех превзошел самые смелые
ожидания: все одурачены! Противники и защитники
представляют бесконечно-разнообразный ряд
комических явлений... но увы! нельзя мне обма-
нуть себя: вы искренно подумали, что призвание
ваше состоит в возвещении людям высоких
нравственных истин в форме рассуждений
и поучений, которых образчик содержится
в вашей книге... Вы грубо и жалко ошиблись.
Вы совершенно сбились, запутались, противоре-
чите сами себе — беспрестанно и думая служить
небу и человечеству — оскорбляете и бога и
человека. Если б эту книгу написал
обыкновенный писатель — бог бы с ним!

Автограф письма С. Т. Аксакова к Н. В. Гоголю от 27 января 1847 г.

ЦГАЛИ

В. С. Аксакова — М. Г. Карташевской,
20 января. Москва.

«Ты не можешь себе представить, какие шумные толки идут об несчастной книге Гоголя. Все эти дни у нас с утра до вечера кто-нибудь, и первое слово — о Гоголе. Мы хотим перечесть эту книгу снова.

Если ты читала ее, то, вероятно, была поражена словами о царе, но я убеждена, что это вытекает из его религиозных взглядов».

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю,
27 января. Москва.

«Друг мой! Если вы желали произвести шум, желали, чтоб высказались и хвалители и порицатели ваши, которые теперь отчасти переменились местами, то вы вполне достигли своей цели. Если это была с вашей стороны шутка, то успех превзошел самые смелые ожидания: все одурачено! Противники и защитники представляют бесконечно разнообразный ряд комических явлений... Но, увы! нельзя мне обмануть себя: вы искренно подумали, что призвание ваше состоит в возвещении людям высоких нравственных истин в форме рассуждений и поучений, которых образчик содержится в вашей книге... Вы грубо и жалко ошиблись. Вы совершенно сбились, запутались, противоречите сами себе беспрестанно и, думая служить небу и человечеству,— оскорбляете и бога и человека.

Если б эту книгу написал обыкновенный писатель — бог бы с ним; но книга написана вами; в ней блещет местами прежний могучий талант ваш, и поэтому книга ваша вредна: она распространяет ложь ваших умствований и заблуждений. Издали предчувствовал я эту беду, долго горевал и думал встретить грозу спокойно; но когда разразился удар, то разлетелось мое разумное спокойствие. О, недобрый был тот день и час, когда вы вздумали ехать в чужие края, в этот Рим, губитель русских умов и дарований! Дадут богу ответ эти друзья ваши, слепые фанатики и знаменитые * маниловы, которые не только допустили, но и сами помогли вам запутаться в сети собственного ума вашего, дьявольской гордости, которую вы принимаете за христианское смирение. Горько убеждаюсь я, что никому не проходит безнаказанно бегство из отечества: ибо продолжительное отсутствие есть уже бегство — измена ему.

---

* Очевидная описка. Ср. в ответном письме Гоголя от 28 августа 1847 г.: «...каких-то знатных маниловых...» (стр. 182).— *Ред.*

Я не хотел писать к вам до получения ответа на письмо мое от 9 декабря; но сердце не вытерпело. Вероятно, вы получите много писем. Вы просили печатно всех сказать свое мнение откровенно, и многие это сделают. Прилагаю письмо Д. Н. Свербеева, которое он пишет почему-то ко мне, а не прямо к вам. Прощайте. Обнимаю вас и молю бога, чтоб он укрепил ваше здоровье и успокоил ваш дух. Я не страдаю от своей болезни и понемногу оправляюсь.

Друг ваш *С. Аксаков.*

P. S. Я не хотел и не хочу касаться до частностей вашей книги; но не могу умолчать о том, что меня всего более оскорбляет и раздражает: я говорю о ваших злобных выходках против Погодина. Я не верил глазам своим, что вы даже в завещании (я верю вам, что вы писали точно завещание, а не сочинение, хотя этому поверить довольно трудно), расставаясь с миром и со всеми его презренными страстями,— позорите, бесчестите человека, которого называли другом и который точно был вам друг, но *по-своему*. Погодин сначала был глубоко оскорблен; мне сказывали даже, что он плакал; но скоро успокоился. Он хотел написать к вам следующее: «Друг мой! Иисус Христос учит нас, получив оплеуху в одну ланиту, подставлять со смирением другую; но где же он учит давать оплеухи?» Желал бы я знать, как бы вы умудрились отвечать ему.

Мой адрес: в Мокриевском переулке, в доме Рюмина».

Из писем С. Т. Аксакова к И. С. Аксакову.
Москва.

6 февраля. «Книгу Гоголя мы прочли окончательно, иные статьи даже по три раза; беру назад прежние мои похвалы некоторым письмам или, правильнее сказать, некоторым местам: нет ни одного здорового слова, везде болезнь или в развитии, или в зерне».

8 февраля. «Белинский не так написал о книге Гоголя, как я ожидал. Впрочем, хорошенько подумав, я почти соглашаюсь, что так и следовало ему написать: он не был в дружеских сношениях с Гоголем. Не мог сказать голой правды о многих статьях и притом болен. Несмотря ни на что, Гоголь не перестает занимать меня с утра до вечера: он точно помешался, в этом нет сомнения; но в самом помешательстве много плутовства — должно в этом признаться. Сумасшедшие бывают по-своему плуты и надуватели: это я видел не один раз, и помешательство их делается не жалко, а гадко. Мне пришла странная и вместе утешительная мысль в голову, что, если Гоголь, получив множество печатных и письменных отзывов, скажет: «я вижу, что мои читатели еще не в состоянии понять

второго тома «Мерт⟨вых⟩ душ», да и я еще не созрел для написания его в настоящем виде, а потому оставляю этот труд до времени и начинаю писать прежние побасенки»... и напишет нам чудные побасенки».

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову.

Ответ Аксакову на его письмо от 9 декабря. Он был получен после отправления Аксаковым его письма Гоголю от 27 января.

«Неаполь. 1847. Генваря 20, нов. стиля.

Я получил ваше письмо, добрый друг мой Сергей Тимофеевич. Благодарю вас за него. Все, что нужно взять из него к соображению, взято. Сим бы следовало и ограничиться; но так как в письме вашем заметно большое беспокойство обо мне, то я считаю нужным сказать вам несколько слов: вновь повторяю вам еще раз, что вы в заблуждении, подозревая во мне какое-то новое направление.

От ранней юности моей у меня была одна дорога, по которой иду. Я был только скрытен, потому что был неглуп,— вот и все. Причиной нынешних ваших выводов и заключений обо мне (сделанных как вами, так и другими) было то, что я, понадеявшись на свои силы и на (будто бы) совершившуюся зрелость свою, отважился заговорить о том, о чем бы следовало до времени еще немножко помолчать, покуда слова мои не придут в такую ясность, что и ребенку стали бы понятны. Вот вам вся история моего мистицизма. Мне следовало несколько времени еще поработать в тишине, еще жечь то, что следует жечь, никому не говорить ни слова о внутреннем себе и не откликаться ни на что, особенно не давать никакого ответа моим друзьям насчет сочинений моих. Отчасти неблагоразумные подталкиванья со стороны их, отчасти невозможность видеть самому, на какой степени собственного своего воспитанья нахожусь, были причиной появления статей, так возмутивших дух ваш. С другой стороны, совершилось все это не без воли божией.

Появление книги моей, содержащей переписку со многими весьма замечательными людьми в России (с которыми я бы, может быть, никогда не встретился, если бы жил сам в России и оставался в Москве), нужно будет многим (несмотря на все непонятные места) во многих истинно существенных отношениях. А еще более будет нужно для меня самого: на книгу мою нападут со всех углов, со всех сторон и во всех возможных отношениях. Эти нападения мне теперь слишком нужны: они покажут мне ближе *меня самого* и покажут мне в то же время *вас*, то есть *моих читателей*. Не увидевши яснее,

что такое в настоящую минуту я сам и что такое мои читатели, я был бы в решительной невозможности сделать дельно свое дело. Но это вам покуда не будет понятно, возьмите лучше это просто на веру, вы чрез то останетесь в барышах. А чувств ваших от меня не скрывайте никаких! По прочтении книги тот же час, покуда еще ничто не простыло, изливайте все наголо, как есть, на бумагу. Никак не смущайтесь тем, если у вас будут вырываться жесткие слова: это совершенно ничего, я даже их очень люблю. Чем вы будете со мной откровенней и искренней, тем в больших останетесь барышах. Руку для этого употребляйте первую, какая вам подвернется; кто почетче и побойчее пишет, тому и диктуйте. Секретов у меня в этом отношении нет никаких. Один только секрет и был [206], о котором я просил вас никогда даже и мне не напоминать и о котором вы неблагоразумно упомянули в вашем письме. Сами сказали: что о нем и семейство ваше не знает, и дали написать эти слова не вашей руке. Это нехорошо. Если вы почувствовали надобность упомянуть об этом деле для того, чтобы сделать сравнение с распоряжением по части продажи «Ревизора» (которого издание и представление мною отложено), то лучше было обойтись просто, без этого сравнения, тем более, что оно совсем неверно и невпопад. Есть дела, которые действительно нужно производить так, чтобы и другая рука наша не видела того, и есть дела, которые нужно производить открыто, в виду всех, которые суть просто наш непременный долг, а не подвиг благотворения. Если почти все наши писатели издавали книги для бедных, если даже Булгарин, Греч [207] и многие другие, укоряемые в корыстолюбии, производили в пользу бедных пожертвованья, публичные чтения и тому подобные,— почему же я не могу также и что же я за исключение? и отчего копейка от другого есть долг, а от меня подвиг благотворения? Друг мой, вы не взвесили как следует вещи. И слова ваши вздумали подкреплять словами самого Христа! Это может безошибочно сделать один только тот, кто уже весь живет в Христе, внес его во все дела свои, помышленья и начинанья, им осмыслил всю жизнь свою и весь исполнился духа Христова. А иначе во всяком слове Христа вы будете видеть свой смысл, а не тот, в котором оно сказано. Но довольно с вас. Не позабудьте же: откровенность во всем, что ни относится в мыслях ваших до меня! Обнимаю вас! Передайте поклон всем вашим.

Вас очень любящий *Г.*»

Из этого ответа видно, что, если мое письмо и поколебало Гоголя, то он не хотел в этом сознаться; а что он поколебался, это доказы-

вается отменением прежних его распоряжений, на которые я нападал всего более.

Из письма С. Т. Аксакова к И. С. Аксакову,
17 февраля. Москва.

«Я желаю, чтоб ты показал или прочел ей ⟨А. О. Смирновой⟩ все, что я писал о Гоголе. Я желал бы, чтоб все, мною писанное и сказанное о нем, было тогда же напечатано: ибо теперь, после его ответа на мое письмо, я уже не стану ни говорить, ни писать о нем. Ты не знаешь этого письма. Я перенес его спокойно и равнодушно; но самые кроткие люди, которые его прочли, приходили в бешенство».

Из письма И. С. Аксакова к С. Т. Аксакову,
15 февраля, Калуга.

«Смирнова задержала меня расспросами о том, что делается в Москве, о Гоголе. У меня в кармане было Ваше письмо, и я ей хотел сообщить известие о письме Гоголя к Щепкину и, добираясь до этого места, прочитывал про себя, однако же вслух, Ваши, правда, жесткие рассуждения о сумасшествии Гоголя и о плутовстве в его сумасшествии. Подняв случайно глаза, я ужаснулся. Смирнова вся вспыхнула, потом побледнела, потом затряслась, потом подняла руки кверху, и пошла потеха. Я вовсе этого не хотел, стал извиняться, успокаивать ее, сказал, что не буду ей возражать... Не тут-то было. Она оскорбилась Вашими выражениями о Гоголе. Это бы еще ничего, но, по свойственной женщинам манере, заехала бог знает куда, так что и я под конец рассердился. Начала с того, что Гоголь ошибался в «вашей» семье, он думал найти друзей и нашел вместо того людей, которые дорожат только его талантом, что «вы» его надули и надуваете, но ее не надуете, и что она откроет глаза Гоголю и т. п. Потом стала ругать всю Москву, вас вообще и меня в особенности. Вы (т. е. Москва и вы), которые с утра до ночи твердите о христианстве и любви христианской... Тут я не выдержал. «Прошу покорно оставить христианство в покое в теперешнем разговоре»,— сказал я ⟨...⟩ Еще поругавшись, я ушел из комнаты, не простясь».

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову.

Ответ на письмо Аксакова от 27 января 1847 г. о «Выбранных местах».

«6 марта. Неаполь.

Благодарю вас, мой добрый и благородный друг, за ваши упреки; от них хоть и чихнулось, но чихнулось во здравие. Поблагодарите

XI. 348 1847 6 Марта. Неаполь.

Благодарю васъ, мой добрый и благородный
другъ за ваши упреки; отъ нихъ хоть и чихнулось
но чихнулось во здравiе. Поблагодарите также
добраго Дмитрiя Николаевича Свербеева и скажите
ему, что всегда дорожу замечанiями умнаго чело-
вѣка высказанными откровенно. Онъ правъ что
обратился къ вамъ а не ко мнѣ. Въ письмѣ его есть
точно нѣкоторая жесткость которая была бы
неприлична въ объясненiяхъ съ человѣкомъ не очень
коротко знакомымъ но этимъ самымъ письмомъ
къ вамъ онъ открылъ себѣ [тѣмъ] дорогу высказывать съ
подобной откровенностью мнѣ самому все то
внушалъ вамъ. Поблагодарите также и милую
супругу его за ея письмецо. Скажите ей что мно-
гое изъ ея словъ взято въ соображенiе и заставило
меня лишнiй разъ построже взглянуть на самого
себя. Мы уже такъ странно устроены что по сю
пору не увидимъ ничего въ себѣ, покуда другiе не наведутъ
насъ на это. Замѣчу только что одно обстоя-
тельство ~~ими~~ непринято ими въ соображенiе
которое можетъ быть ~~иное~~ иное показало бы имъ
въ другомъ видѣ, именно что человѣкъ который
съ такой жадностью ищетъ слышать все о себѣ
такъ ловитъ всѣ сужденiя и такъ умѣетъ дорожить
замѣчанiями умныхъ людей даже и тогда когда
они жестки и суровы, такой человѣкъ не можетъ
находиться въ полномъ и совершенномъ само-
ослѣпленiи. А вамъ другъ мой, скажу и
маленькой упрекъ не сердитесь. Уговоръ былъ
принимать несердясь взаимно другъ отъ друга
упреки. Не слишкомъ ли вы уже положились
на вашъ умъ и на непогрѣшительность его
выводовъ. Внимать замѣчанiямъ это другое дѣло

Автограф письма Н. В. Гоголя к С. Т. Аксакову от 6 марта 1847 г.
Гос. библиотека им. В. И. Ленина.

также доброго Дмитрия Николаевича Свербеева и скажите ему, что я всегда дорожу замечаньями умного человека, высказанными откровенно. Он прав, что обратился к вам, а не ко мне: в письме его есть, точно, некоторая жесткость, которая была бы неприлична в объяснениях с человеком, не очень коротко знакомым. Но этим самым письмом *к вам* он открыл себе теперь дорогу высказывать с подобной откровенностью мне самому все то, ⟨что⟩ высказал вам. Поблагодарите также и милую супругу его за ее письмецо [208]. Скажите им, что многое из их слов взято в соображение и заставило меня лишний раз построже взглянуть на самого себя. Мы уже так странно устроены, что по тех пор не увидим ничего в себе, покуда другие не наведут нас на это. Замечу только, что одно обстоятельство не принято ими в соображение, которое, может быть, иное показало бы им в другом виде, а именно: что человек, который с такой жадностью ищет слышать все о себе, так ловит все сужденья и так умеет дорожить замечаньями умных людей даже и тогда, когда они жестки и суровы, такой человек не может находиться в *полном* и *совершенном* самоослеплении.

А вам, друг мой, сделаю я маленький упрек. Не сердитесь. Уговор был принимать, не сердясь, взаимно друг от друга упреки. Не слишком ли вы уже положились на ваш ум и на непогрешительность его выводов. Делать *замечания* — это другое дело, это имеет право делать всякий умный человек и даже просто всякий человек. Но выводить из своих замечаний *заключение* обо всем человеке — это есть уже некоторого рода самоуверенность. Это значит признать свой ум вознесшимся на ту высоту, с которой он может обозревать *со всех сторон* предмет.

Ну что, если я вам расскажу следующую повесть: повар вызвался угостить хорошим и даже необыкновенным обедом тех людей, которые сами не бывали на кухне, хотя и ели довольно вкусные обеды. Повар сам вызвался; ему никто не заказывал обеда. Он сказал только вперед, что обед его иначе будет сготовлен и потому потребуется больше времени. Что следовало делать тем, которым обещано угощение? Следовало молчать и ожидать терпеливо. Нет, давай кричать: «Подавай обед!» Повар говорит: «Это физически невозможно, потому что обед мой совсем не так готовится, как другие обеды, для этого нужно поднимать такую возню на кухне, о которой вы и подумать не можете». Ему в ответ: «Врешь, брат!» Повар видит, что нечего делать, решился, наконец, привести гостей самих на кухню, постаравшись, сколько можно было, расставить кастрюли и весь кухонный снаряд в таком виде, чтобы из него хотя какое-нибудь могли вывести заключенье об обеде. Гости увидели множество таких странных и необыкновенных кастрюль и, наконец, таких орудий,

о которых и подумать бы нельзя было, чтобы они требовались для приуготовленья обеда, что у них закружилась голова. Ну, что, если в этой повести есть маленькая частица правды?

Друг мой! Вы видите, что дело покуда еще темно. Хорошо делает тот, кто снабжает меня всеми замечаниями, все доводит до ушей мои⟨х⟩, упрекает и склоняет других упрекать. Но сам в то же время не смущается обо мне, а вместо того тихо молится в душе своей, да спасет меня бог от всех обольщений и самоослеплений, погубляющих душу человека. Это лучше всего, что он может для меня сделать, и, верно, бог за такие чистые и жаркие молитвы, которые суть лучшие благодеяния, какие может сделать на земле брат брату, спасет мою душу даже и тогда, если бы, по-видимому невозвратно, одолели ее всякие обольщения. Но покуда прощайте. Передавайте мне все толки и сужденья, какие откуда ни услышите, и свои, и чужие. Первые, вторые, третьи и четвертые впечатления. Душевный поклон доброй Ольге Семеновне и всем вашим.

Весь ваш *Г.*

Насчет Погодина есть тоже недоразумения, но, вероятно, он уже с вами об этом объяснился, потому что я ему писал подробно третьего дня, т. е. 4 марта. К Шевыреву было также послано письмо от 4 марта. При сем письмецо Надежде Николаев⟨не⟩ Шереметьевой».

Из писем С. Т. Аксакова к И. С. Аксакову.
Москва.

28 марта. «Не знаю, писал ли я тебе о самой радостной новости, о письмах Гоголя? Вот уже теперь четыре письма, написанные им с четвертого марта: два к Шевыреву, одно ко мне и одно к Погодину, и все эти письма писаны уже другим человеком! Уже нет ни высокомерного спокойствия, ни лицемерного смирения; но положение его ужасно! Кипяток последнего моего письма и ледяной холод письма Свербеева, обрушившиеся на него в одно и то же время, образумили и оскорбили его душу. Он благодарит меня, но в то же время негодует. Письмо его начинается так: «Благодарю вас, мой добрый и благородный друг, за ваши упреки! Хотя мне и чихнулось от вашего письма, но чихнулось во здравие!» Зато вся его нежность обратилась на Шевырева и Погодина: к последнему он пишет даже страстное письмо, что показывает еще продолжающееся болезненное состояние духа. Пусть он никогда ко мне не обратится, для меня это все равно. Для спасения Гоголя я готов сделаться и презренным орудием казни и отвратительным палачом».

3 апреля. «Второму тому ⟨«Мертвых душ»⟩ я не верю: или его не будет, или будет дрянь. Добродетельные люди — не предметы для искусства. Эта задача неисполнимая. Я надеюсь, что Гоголь примется за прежние *пустячки и побасенки:* тут я надеюсь опять наслаждаться творческими произведениями...»

Самому Гоголю Аксаков не писал до получения следующего письма от него:

«Франкфурт. Июнь ⟨июль⟩ 10.

Погодин мне сделал запрос: отчего я так давно не писал к вам и не сердит ли я на вас, Сергей Тимофеевич? Я к вам не писал, потому что, во-первых, вы сами не отвечали мне на последнее письмо мое, а во-вторых, потому что вы, как я слышал, на меня за него рассердились. Ради самого Христа, войдите в мое положенье, почувствуйте трудность его и скажите мне сами: как мне быть, как, о чем и что могу я теперь писать? Если бы я и в силах был сказать слово искреннее — у меня язык не поворотится. Искренним языком можно говорить только с тем, кто сколько-нибудь верит нашей искренности. Но если знаешь, что пред тобою стоит человек, уже составивший о тебе свое понятие и в нем утвердившийся, тут у найискреннейшего человека онемеет слово, не только у меня, человека, как вы знаете, скрытного, которого и скрытность произошла от неуменья объясниться.

Ради самого Христа, прошу вас теперь уже не из дружбы, но из милосердия, которое должно быть свойственно всякой доброй и сострраждущей душе, из милосердия прошу вас взойти в мое положение, потому что душа моя изныла, как ни креплюсь и ни стараюсь быть хладнокровным. Отношенья мои стали слишком тяжелы со всеми теми друзьями, которые поторопились подружить со мной, не узнавши меня. Как у меня еще совсем не закружилась голова, как я не сошел еще с ума от всей этой бестолковщины, этого я и сам не могу понять! Знаю только, что сердце мое разбито и деятельность моя отнялась. Можно еще вести брань с самыми ожесточенными врагами, но храни бог всякого от этой страшной битвы с друзьями. Тут все изнеможет, что ни есть в тебе. Друг мой! я изнемог. Вот все, что могу вам сказать теперь. Что же касается до неизменности моих сердечных отношений — то скажу вам, что любовь, более чем когда-либо прежде, теперь доступнее душе. Если я люблю и хочу любить даже тех, которые меня не любят, то как могу я не любить тех, которые меня любят? Но я прошу вас теперь не о любви. Не имейте ко мне любви, но имейте хотя каплю милосердия, потому что положенье

мое, повторяю вам вновь, тяжело. Если бы вы вошли в него хорошенько, вы бы увидели, что мне трудней, нежели всем тем, которых я оскорбил. Друг мой, я говорю вам правду! Обнимаю вас от всей души.

Весь ваш *Г*.

Передайте поклон мой добрейшей Ольге Семенов⟨не⟩, а за ней Конст⟨антину⟩ Серг⟨еевичу⟩ и всем вашим. Не знаю сам, хорошо ли делаю, что пишу, может быть, и это письмо приведет вас в неудовольствие. Я теперь раскаиваюсь, что завел переписку с Погодиным. Хотя я только и думаю, принимаясь за перо, как бы не оскорбить его, но, однако же, замечаю, что письма мои не приносят ему никакого успокоенья. При тех же понятиях, какие у него обо мне, ныне всякое слово с моей стороны обо мне самом может только его еще больше спутать. Друг мой, тяжело очутиться в этом вихре недоразумений! вижу, что мне нужно надолго отказаться от пера во всех отношеньях и от всего удалиться.

Адресуйте во Франкфурт, poste restante».

Я считаю это письмо очень нужным для биографии, потому что оно достаточно показывает, в каком положении находился Гоголь после издания известной своей книги.

В письмах ко мне Гоголь не вполне сознавался в своей ошибке, но мне случилось прочесть его письмо к совершенно незнакомому для него человеку [209], который, по преданности своей к Гоголю, написал к нему свое мнение об его книге, вероятно, выраженное весьма кротко и почтительно. В ответе Гоголя, между прочим, есть следующее место: «Одно помышление о том, с каким неприличием и самоуверенностью сказано в ней многое, заставляет меня гореть от стыда. Стыд этот мне нужен». И еще в другом месте: «Но книга моя была не от дурного умысла, на ней только лежит печать неразуменья человеческого или, лучше, моего, а потому я верю в божью милость, что не допустит он, чтобы из книги моей почерпнули вред». Эти строки были тогда же выписаны мною: в них заключается полное признание.

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю.

«1847, июля 26. Подмосковная: Радонежье.

Я получил письмо ваше, милый друг Николай Васильевич, из Франкфурта от 10 июня: оно меня очень огорчило, и я глубоко упрекаю себя, что так давно не писал к вам. Не знаю, почему Погодин сделал вам допрос: отчего вы так давно не пишете ко мне и не серди-

тесь ли на меня? Я ничего подобного ему не говорил. Я даже не ожидал от вас письма, потому что сам не отвечал вам на два. Прежде всего спешу уверить вас, что я никогда на вас не сердился (принимая это слово в настоящем его значении) и что я никогда не переставал верить искренности вашей. Грех тому опрометчивому человеку, который внушил вам такие мысли. Я подозреваю, что это сделала Смирнова: она случайно услыхала несколько строк из письма моего к сыну об вас, не поняла их и не могла понять хорошо, потому что они получали полный смысл в связи с другими, а в отрывке имели даже превратный смысл. Смирн⟨ова⟩ сделала горячую схватку с моим сыном, наговорила ему, мне и всему моему семейству много грубостей, сама получила их столько же и грозилась открыть вам глаза. Я вижу, она это исполнила; но безрассудная женщина, в которой многие достоинства я ценю высоко и которую, именно за эту вспышку, я полюбил больше, вместо открытия глаз ваших несколько отуманила их, разумеется, на время. Она не подозревала, что прежде всего я с полною, жестокою искренностью излил в письмах к вам самим всю горечь огорченной дружбы к человеку и оскорбленного чувства уважения к великому таланту. Она не различила во мне любящей души от озлобления и гнева. По моему убеждению, вы книгой своей нанесли себе жестокое поражение, и я кинулся на вас самих, как кинулся бы на всякого другого, нанесшего вам такой удар, без пощады осыпая вас горькими упреками. Вы так мне дороги, что всякий действительный вред, всякое помрачение вашей славы как писателя и человека — мне тяжкое оскорбление! Но оставим это. Если вы сами не объяснили себе моих чувств и поступков и поняли их не так, как следует, то мое объяснение не поможет. Я готов даже признать, что выражение не соответствовало чувству.

Вы, мой друг, имеете право спросить: отчего я так давно не писал к вам? Мое последнее письмо требовало продолжения, ваше — ответа. Я очень это чувствовал. Много раз принимался писать, писал и — жег написанное: ибо был им недоволен... Трудно сказать, что мешало мне писать, но что-то мешало. Попытаюсь, однако, объяснить себе и вам эту странную помеху. Для этого необходимо поднять дело, хоть в нескольких словах, сначала. Первое, большое письмо мое (кажется, от 12 января) [210] было написано и послано к вам до выхода вашей книги. Второе, небольшое письмо, с приложением письма Свербеева, написано по прочтении книги, но *до получения* вашего ответа на мое большое письмо. Ответ ваш был ужасен... Вы не признали, не оценили, не почувствовали истинной дружбы человека, писавшего это письмо; и боже мой! в каком положении я писал его!.. Я даже не желаю, чтоб вы вполне поняли мое тогдашнее положение. Ваш ответ дышал

холодом, высотою величия, на котором вы тогда думали стоять в непроницаемом вооружении вашего нового, мнимого призвания. Если б я получил это письмо до отправления моего второго, то не послал бы его — в этом я должен признаться: я счел бы невозможностью достигнуть до вашего ума и сердца. Но милосердный бог устроил иначе...

Ответ ваш на мое второе письмо, начинающийся замечательными словами, что вам *чихнулось во здравие,* обрадовал меня чрезвычайно; письмо же ваше к кн⟨язю⟩ Львову[211] обрадовало еще более. Хотя в обоих этих письмах есть выражения и мысли, которые были мне не по сердцу, которые показывали, что вы еще не совсем здоровы; но вдруг выздороветь совершенно нельзя. Для этого нужно время. Я видел, что вы очнулись, что часть пелены спала с глаз ваших. Этого для меня было довольно: я был (и теперь остаюсь) убежден, что вы сами докончите дело. Вот тут-то я и не знал, что и как писать вам: продолжать в прежнем тоне было уже неуместно, не нужно и для самого меня невозможно. Высказать свою радость я не смел: я боялся помешать процессу вашего восстановления. Теперь вижу, что я сделал большую глупость. Вы имели причину растолковать мое молчание в другую сторону, и эта мысль вас огорчала.

Поверьте, друг мой, что я не только хорошо понимаю трудность настоящего вашего положения, но и хорошо его предвидел! Оттого-то ваша книга свела было с ума меня самого, оттого-то скорбь моя была так мучительна. Но бог милостив. Он подкрепит ваши расстроенные душевные и телесные силы, а время залечит раны вашего сердца... Вы исполните свой обет, помолитесь у гроба господня, талант ваш явится с новым блеском, и все забудут вашу несчастную книгу.

Конечно, вам нельзя было воротиться в Россию скоро; но будущей весной приезжайте *непременно к нам*. Полное выздоровление вы получите только на родной почве, подышав родным воздухом своей земли. Если вам почему-нибудь будет тяжело жить в Москве постоянно, то у меня есть премилый уголок в пятидесяти верстах от Москвы, в котором я надеюсь жить даже по зимам, кроме нынешнего года: ибо я тогда только поверю своему выздоровлению, когда проведу благополучно осень и зиму. Дом у нас большой и хорошо расположенный. Вы будете иметь спокойное и удобное помещение: при нас или без нас — это все равно. Не нужно говорить, рады ли будут вам ваши искренние друзья.

К тому же вам необходимо поездить по России. Надобно заглянуть в глубь ее: в степную и приволжскую сторону. Константин может быть вашим товарищем, если вы захотите. Я сам имею намерение, если бог подкрепит мое здоровье, уехать на целый год

в Оренбургскую губернию; но это еще впереди. Теперь же надобно только успокоиться, забыть, сколько возможно, обо всем случившемся с вами и укрепить свое здоровье. Истребите всякую мысль, что моя дружба к вам изменилась: это нелепость и оскорбление для меня.

Хотелось мне написать все письмо своей рукой, но глаз утруждается. Мы теперь все живем в нашей подмосковной, кроме больной нашей Оленьки, которая живет в Москве, вместе с братом своим Иваном, который там служит в Сенате обер-секретарем. Не знаю, дошла ли до вас диссертация Константина? 7 марта был его диспут: несмотря на многие гонения, все кончилось благополучно. Прощайте, милый друг. Не могу больше писать. Обнимаю вас крепко. Вы можете адресовать одно письмо *в Сергиевский посад, Московской губернии,* на мое имя; но всего вернее через Шевырева. Все мое семейство вас обнимает.

Душою ваш *С. Аксаков».*

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову.

«Остенде. Август 28.

В любви вашей ко мне я никогда не сомневался, добрый друг мой Сергей Тимофеевич. Напротив, я удивлялся только излишеству ее, тем более, что я на нее не имел никакого права: я никогда не был особенно откровенен с вами и почти ни о чем том, что было близко душе моей, не говорил с вами, так что вы скорее могли меня узнать только как писателя, а не как человека, и этому, может быть, отчасти способствовал милый сын ваш Конст⟨антин⟩ Сергеевич [212]. В противность составившейся в Москве обо мне сказке, которой вы так охотно верите, что я, т. е. люблю угождения и похвалы каких-то знатных маниловых, скажу вам, что я скорее старался отталкивать от себя, чем привлекать всех тех, которые способны слишком сильно любить; я и с вами обращался несколько не так, как бы следовало. Обольстили меня не похвалы других, но я сам обольстил себя, как обольщаем себя мы все, как обольщает себя всяк, кто сколько-нибудь имеет свой собственный образ мыслей и слышит в чем-нибудь свое превосходство, как обольщает себя, в великодушных мечтах своих, и любезный сын ваш Конст⟨антин⟩ Сергеевич, как обольщаем мы себя все до единого, грешные люди; и чем кто больше получил даров и талантов, тем больше себя обольщает. А демон излишества, который теперь подталкивает всех, раздует так наше слово, что и смысл, в котором оно сказано, не поймется.

Не сердитесь на ⟨Смирнову⟩; не называйте ее безрассудною женщиною. Женщина эта почтена была короткою дружбой Пушкина и Жуковского, которые любили ее именно за здравый рассудок и за

добрую душу. Она меня знала еще прежде, чем вы меня знали,— знала как человека, а не как писателя, видела меня в те душевные состояния мои, в которые вы меня не видели. С ней мы были издавна, как брат и сестра, и без нее, бог весть, был ли бы я в силах перенести многое трудное в моей жизни; а потому и немудрено, что, несмотря на пристрастие ее ко мне, многое в моей книге она почувствовала полней и не перетолковала в такую превратную сторону, как перетолковали вы.

Да, книга моя нанесла мне пораженье; но на это была воля божия. Да будет же благословенно имя того, кто поразил меня! Без этого поражения я бы не очнулся и не увидал бы так ясно, чего мне недостает. Я получил много писем очень значительных, гораздо значительнее всех печатных критик. Несмотря на все различие взглядов, в каждом из них, так же как и в вашем, есть своя справедливая сторона. Но вывести вполне верного заключения о всей книге вообще никто не мог, и немудрено. Осудить меня за нее справедливо может один тот, кто ведает помышления и мысли наши в их полноте. Из нас же, грешных людей, может справедливее других произнесть ей окончательный суд только тот, кто имеет полный ум, способный обнимать все стороны дела, и не влюбился еще сам ни в какую свою собственную мысль; потому что, как бы то ни было, несмотря на все ребячество и незрелость этой книги, в ней видны следы взгляда более полного, чем у тех, которые делают на нее замечания и критики, несмотря на то, что в авторе ее и нет тех знаний, какие могут быть по частям у всякого критика.

К чему вы также повторяете нелепости, которые вывели из моей книги недальнозоркие, что я отказываюсь в ней от звания писателя, переменяю призванье свое, направление и тому подобные пустяки? Книга моя есть законный и правильный ход моего образования внутреннего, нужного мне для того, чтобы стать писателем не мелким и пустым, но почувствовавшим святость и своего звания, как и всех других званий, которые все должны быть святы. Выразилось все это заносчиво, получило торжественный тон от мысли приближения к такой великой минуте, какова смерть. А дьявол, который надмевает всякого из нас самоуверенностью, раздул до чудовищности кое-какие места. Невоздержание заставило меня издать мою книгу. Видя, что еще не скоро я совладаю с моими «Мертвыми душами», и скорбя истинно о бесхарактерности направления и совершенной анархии в литературе, проводящей время в пустых спорах, я поспешил заговорить о тех вопросах, которые меня занимали и которые готовился развить или создать в живых образах и лицах. Опрометчивая, а по-вашему, *несчастная*, книга вышла в свет. Она меня покрыла позором, по словам

вашим. Она мне, точно, позор; но благодарю бога за этот позор, благодарю за то, что попустил он явиться ей в свет. Не увидел бы я без ней ни неряшества моего, ни самоослепления, ни многого того, чего не хочет видеть в себе человек; не изъяснилось бы без нее много того, что мне необходимо нужно знать для моих «М⟨ертвых⟩ д⟨уш⟩», и не узнал бы, ни в каком состоянии находится наше общество, ни какие образы, характеры, лица ему нужны и что именно следует поэту-художнику избрать ныне в предмет творения своего.

Друг мой! не будьте и вы так же самоуверенны в непреложности своих заключений. Повторяю вам вновь: по частям разбирая мою книгу, вы можете быть правы, но произнести так решительно окончательный суд моей книге, как вы произносите, это гордость в уме своем. Мне показалось даже, как бы в устах ваших раздались не ваши, а какие-то юношеские речи, как бы в этом месте вашего письма сказал, несколько понадеясь на себя, Конст⟨антин⟩ Сергеевич, а не вы. В них отзывается такой смысл: «Твоя голова не здрава, а моя здрава; я вижу ясно вещь и потому могу судить о тебе». Друг мой, теперь такое время, что вряд ли у кого из нас здрава, как следует, голова. Глядеть на меня, как на блудного сына, и ожидать моего возвращения на путь истинный может только тот, кто сам стоит уже на этом истинном пути. А это один только бог ведает, кто из нас на каком именно месте стоит. Лучше всем нам иметь больше смирения и меньше уверенности в непреложной истине и верности своего взгляда. Что касается до меня, я буду от всех моих сил, сколько их есть во мне, молиться богу на тех самых местах, которые зрели его в образе Христа, чтобы простил мне за все, на что подтолкнула меня моя самоуверенность, гордость и самоослепление.

За ваше гостеприимно-дружеское приглашение остановиться у вас во время приезда моего в Москву благодарю от души, но не воспользуюсь им только потому, что в рассуждении помещения своего гляжу просто на материальные удобства. Во всяком случае, у кого бы то ни остановился, вы этого никак не считайте знаком какого-нибудь предпочтения или чего другого, тому подобного. Притом, если бог благословит возврат мой в Россию, я в Москве не думаю пробыть долго. Мне хочется заглянуть в губернии: есть много вещей, которые для меня совершенная покуда загадка, и никто не может мне дать таких сведений, как бы я желал. Я вижу только то, что и все другие так же, как и я, не знают России.

Что касается до зимнего моего пребывания, то я еще не уверен, останусь ли на зиму в России. После моей последней тяжкой болезни во мне осталась такая зябкость, что даже Рим стал для меня холоден, и я должен был переехать в Неаполь. Последняя зима, про-

веденная мною в Москве, мне была очень тяжела и оставила грустное воспоминание. Натура моя сделалась несколько похожею на стариковскую, требующую юга: крови мало, и та движется медленно; а нервы в то же время так чувствительны, что малейшая северная мгла действует сильно, от морозного же дня у меня захватывает дух в груди. Вы говорите, что воздух родины подействует благотворно на мое здоровье, и сами надеетесь тоже себе возобновления сил. Друг мой, не позабудем того, что вы находитесь уже в тех летах, когда невозможен совершенный возврат прежнего здоровья; а я, будучи слабым и болезненным от дня рождения моего и перешедши за лучшую половину жизни моей, не могу тоже быть тем, чем был прежде. Будем лучше просить бога о том, чтобы остальные дни наши помог нам провести в полном мире с совестью нашей, где бы ни случилось нам провесть их, и чтобы хоть чем-нибудь дал нам возможность загладить часть прежнего, искупя хоть чем-нибудь бесполезность и праздность нашей жизни.

Мне кажется, что, если бы вы стали диктовать кому-нибудь воспоминания прежней жизни вашей и встречи со всеми людьми, с которыми случилось вам встретиться, с верными описаниями характеров их, вы бы усладили много этим последние дни ваши, а между тем доставили бы детям своим много полезных в жизни уроков, а всем соотечественникам лучшее познание русского человека. Это не безделица и не маловажный подвиг в нынешнее время, когда так нужно нам узнать истинные начала нашей природы, которые покуда мы рассматриваем только в мужике, да и то плохо.

Но прощайте. Бог да хранит вас! Благодарю Ольгу Семеновну: мне кажется, что она обо мне молится. Это лучшая услуга, какую только на земле мы можем оказать своему брату (...)»

Это письмо было вложено Гоголем в письмо к Шевыреву. Не желая отвечать Гоголю, Аксаков направил следующее письмо Шевыреву:

«Почтеннейший Степан Петрович!

Я переехал в Москву и сегодня ожидаю свою старуху с детьми. Живу от вас очень далеко и не надеюсь скоро вас увидеть, а потому покорнейше прошу написать к Н. В. Гоголю (когда будете писать к нему), что я отвечать на его письмо не буду. Пора нам оставить ⟨друг⟩ друга в покое.

Преданный вам

С. Аксаков.

3 октября [213]».

Из письма С. П. Шевырева к Н. В. Гоголю,
4/16 октября. Москва.

Письмо к С. Т. Аксакову я доставил, прочитавши сам, и сожалею о том, что не остановил его ⟨...⟩ Письмо твое огорчило Ольгу Семеновну, которая не хотела было даже его и показывать С⟨ергею⟩ Т⟨имофееви⟩чу ⟨...⟩ Мне тут показались две вещи жесткими. Они считали тебя всегда другом семейства. Ты же начинаешь с того, что как будто бы отрекаешься от этой дружбы и потому даешь себе право быть с ними неискренним. Далее, говоря о Константине, ты несколько раз повторяешь: «с любезнейшим вашим сыном» ⟨...⟩ Могу сказать одно: не знаю в Москве другого семейства и других людей (включая в то число и самого себя), которые бы имели большее право на полную твою дружбу и любовь, как Аксаковы».

Из письма М. П. Погодина к Н. В. Гоголю,
5/17 ноября, Москва.

«Аксаковых ты сильно огорчил. Если они виноваты, то идолопоклонством пред тобою. И не тебе за то наказывать. Мои отношения к ним также изменились внутренно, потому что у них стало два семейства в одном [214]: старое и молодое, которого крайностей я не разделяю, а старики наоборот».

Из письма Н. В. Гоголя к С. П. Шевыреву,
2 декабря, Неаполь.

«Весьма жалею, если моим письмом огорчил моего доброго Сергея Тимофеевича Аксакова. Но что делать? Ты видишь, что я именно уже как бы рожден на то, чтобы огорчать тех, которые меня наибольше любят. Уговор ведь у нас был — писать все, что ни есть на душе. Я писал, что в ней было. В письмах С. Т. было тоже немало того, от которого бы другой огорчился. Но зачем же один я только не вправе огорчаться ничем, а прочие вправе огорчаться? Слово *размолвка* напрасно ты употребил. Храни бог от размолвки даже с людьми менее мне близкими, чем Аксаков! Что я меньше любил Аксаковых, чем они меня, это совершенная правда, и зачем мне это скрывать? Но дело в том, что я теперь больше люблю все то, что достойно любви, чем когда-либо прежде; стало быть, неминуемо должно быть, что и любовь моя к друзьям моим стала большею, чем когда-либо прежде. Это также правда, и ее ты передай Сергею Тимофеевичу, если только он действительно на меня в неудовольствии».

Из письма Н. В. Гоголя к С. П. Шевыреву,
18 декабря, Неаполь.

«При сем следует также письмецо к Серг⟨ею⟩ Т⟨имофеевичу⟩ Аксакову. Хотя я уверен, что неудовольствие его на меня прошло, но тем не менее пусть он из этих строк увидит, что совсем не нужно давать серьезного, строгого толкования многим нашим словам, которые вырываются весьма часто без расчета и намерения».

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову,
18 декабря, Неаполь

«Шевырев мне пишет, что в моем письме к вам было что-то для вас огорчительное, так что он даже не хотел его вам показывать, опасаясь им расстроить вас. Правда ли это, любезный друг мой? Ведь мы обещали писать друг другу все чувства и ощущения, как они есть, не скрывая ничего, хотя бы в них было и неприятное для нас. Если в письме моем нашлось кое-что занозистое и колкое, то это ничуть не дурно. Это новые горючие вещества, подкладываемые в костер дружбы, который без того пламенел бы лениво и вяло, что всегда почти бывает, если друзья живут вдали друг от друга. Рассудите сами, что за соус, если не поддадут к нему лучку, уксусу и даже самого перцу,— выйдет пресное молоко.

В письме моем к вам я сказал сущую правду: я вас любил, точно. гораздо меньше, чем вы меня любили. Я был в состоянии всегда (сколько мне кажется) любить всех вообще, потому что я не был способен ни к кому питать ненависти. Но любить кого-либо особенно. предпочтительно я мог только из *интереса*. Если кто-нибудь доставил мне *существенную* пользу и чрез него обогатилась моя голова, если он натолкнул меня на новые наблюдения или над ним самим, над его собственной душой, или над другими людьми, словом, если чрез него как-нибудь раздвинулись мои познания, я уже того человека люблю, хоть будь он и меньше достоин любви, чем другой, хоть он и меньше меня любит. Что ж делать, вы видите, какое творенье человек, у него прежде всего свой собственный интерес. Почему знать, может быть, я и вас полюбил бы несравненно больше, если бы вы сделали что-нибудь собственно для головы моей, положим хоть бы написаньем записок жизни вашей, которые бы мне напоминали, каких людей следует не пропустить в моем творении и каким чертам русского характера не дать умереть в народной памяти. Но вы в этом роде ничего не сделали для меня. Что ж делать, если я не полюбил вас так, как следовало бы полюбить вас. Кто же из нас властен над собою? и кто умеет принудить себя к чему бы то ни было? Мне кажется, что я теперь

все-таки люблю вас больше, нежели прежде, но это потому только, что любовь моя ко всем вообще увеличилась, она должна была увеличиться, потому что это *любовь во Христе*. Так я уверен. А на самом деле, может быть, и это ложь, и я ничуть не умею любить лучше, чем прежде. Поэты лгут иногда невинным образом, обманывая сами себя. Рожденные понимать многое, постигать мыслию красоту чувств и высокие явленья в душе человеческой, они часто думают, что уже вмещают в самих себе то, что могут только несколько оценить и с некоторой живостью выставить на глаза другим, и величаются *чужим*, как своим *собственным* добром. Напишите мне что-нибудь. Письмо ваше еще застанет меня в Неаполе. Пожалуйста, не глядите на то, если какая колкость слетит с пера. Что толку в пресном молоке.

Весь ваш *Г*.»

1848

Аксаков не отвечал Гоголю, который в письме к Шевыреву от 23 января 1848 г. с о. Мальты писал:

«Проси всех и особенно доброго Сергея Тимофеевича совокупно с Конст(антином) Серге(евичем) и всем семейств(ом) писать ко мне в Константинополь».

В 1848 году Гоголь возвратился из Иерусалима прямо на свою родину в Васильевку.

В мае Гоголь послал Аксакову не дошедшее до нас письмо, о котором Константин Аксаков писал: «Ваша *простая* записочка так просто отозвалась в нас...»

Константин, узнав о возвращении Гоголя на родину, откуда через два месяца он намеревался переехать в Москву, захотел прежде свиданья с ним высказать все, что было на душе, так, чтобы при свиданьи находиться уже в прямых отношениях; до сих же пор Константин не писал к нему ни слова о его книге.

Из письма К. С. Аксакова к Н. В. Гоголю, май.

«Полная откровенность необходима... Я должен сказать вам все, что у меня на душе ⟨...⟩ Во всем, что вы писали в письмах, и в книге

вашей особенно, вижу я прежде всего один главный недостаток: это *ложь*. Ложь не в смысле обмена и не в смысле ошибки, нет, а в смысле *неискренности* прежде всего. Это внутренняя неправда человека с самим собою.

Ваши важные и еще более важничающие письма с их глубокомыслием, часто наружным, часто ложным, ваши благотворительные поручения с их неискреннею тайною, ваше возмутительное предисловие к второму изданию «М⟨ертвых⟩ д⟨уш⟩», наконец, ваша книга, повершившая все,— далеко оттолкнули меня от вас. Я нападал на вас и дома, и в обществе почти так же горячо, как прежде стоял за вас. Не знаю, дошли ли до вас слухи об этом; я думаю, что дошли. Ваши дополнительные письма еще больше усиливали негодование. Знакомство ж с Смирновой, воспитанницей вашей, еще более объяснило и вас, и ваш взгляд, и состояние души вашей, и учение ваше, учение ложное, лживое, совершенно противоположное искренности и простоте⟨...⟩ Потом; самые мысли ваши ложны; вы дошли до невероятных положений: таково письмо о семи кучках, непостижимое, возмутительное; о, сколько хитрости и искусственности в нем. Таково письмо ваше к Жуковскому, письмо, так сильно противоречащее, по-моему, вере православной, да и мало ли еще других мест ложных уж и по мысли своей в письмах ваших. В подробности вдаваться я не стану; я укажу еще на великий проступок ваш: на презрение к народу, к русскому простому народу, к крестьянину. Это выражается в вашем предисловии ко второму изданию «М⟨ертвых⟩ д⟨уш⟩», это выражается в письмах ваших, в вашей книге, особенно в наставлении помещика, где грубо и необразованно является незнаемый и, к сожалению, не подозреваемый вами даже народ, и где помещик поставлен выше как помещик и в нравственном отношении. Странная нравственная аристократия; странное основание духовного достоинства; недостает, чтобы вы сказали, что тот, у кого больше душ, выше в нравственном отношении. Вот великая вина: *поклонение перед публикой и презрение к народу*[215]. Знаете ли вы знаменитое восклицание полицмейстера: *публика вперед, народ назад!* Это может стать эпиграфом к истории Петра; это слышно и в вашей книге. Но знаете ли вы, которые говорите о простоте и смирении, что простота и смирение есть только у русского крестьянина. Вот почему так высок он, выше всех нас, выше писателей, вкривь и вкось о нем толкующих и не знающих его. Как же могло это случиться, что вы, Николай Васильевич, человек русский, так не понимаете, не предполагаете русского народа, что вы, столько искренний в своих произведениях, стали так глубоко неискренни⟨...⟩»

Ответ Гоголя показывает, что он уже пережил тяжкое время испытания и мог выслушивать спокойно самые несправедливые и оскорбительные нападения, в которых более всех виноват — я. Умеренность и кротость его ответа поразительны. Вот это письмо.

Н. В. Гоголь — К. С. Аксакову.

«Июня 3. Василевка.

Откровенность прежде всего, Константин Сергеевич. Так как вы были откровенны и сказали в нашем письме все, что было на языке, то и я должен сказать о тех ощущениях, которые были вызваны при чтении письма вашего. Во-первых, меня несколько удивило, что вы, наместо известий о себе, распространились о книге моей, о которой я уже не полагал услышать что-либо по возврате моем на родину. Я думал, что о ней уже все толки кончились и она предана забвению. Я однако же прочел со вниманием три большие ваши страницы. Многое в них дало мне знать, что вы с тех пор, как мы с вами расстались, следили (историческим и философическим путем) существо природы русского человека и, вероятно, сделали немало значительных выводов.

Тем с большим нетерпением жажду прочесть вашу драму, которой покуда в руках еще не имею. Вот еще вам одна мысль, которая пришла мне в то время, когда я прочел слова письма вашего: *Главный недостаток книги (моей) суть тот, что она ложь.* Вот что я подумал: да кто же из нас может так решительно выразиться, кроме разве того, который уверен, что он стоит на верху истины. Как может кто-либо (кроме говорящего разве святым духом) отличить, что ложь, а что истина. Как может человек, подобный другому, страстный, на всяком шагу заблуждающийся, изречь справедливый суд другому в таком смысле. Как может он, неопытный сердцезнатель, назвать ложью сплошь, с начала до конца, какую бы то ни было душевную исповедь. Он, который и сам есть ложь, по слову апостола Павла. Неужели вы думаете, что и в ваших сужденьях о моей книге не может также закрасться ложь. В то время, когда я издавал мою книгу, мне казалось, что я ради одной истины издаю ее, а когда прошло несколько времени после издания, мне стало стыдно за многое, многое, и у меня не стало духа взглянуть на нее. Разве не может случиться того же и с вами? Разве и вы не человек? Как вы можете сказать, что ваш нынешний взгляд непогрешителен и верен, или что вы не измените его никогда, тогда как, идя по той же дороге исследований, вы можете найти новые стороны, дотоле вами не замеченные, вследствие чего и самый взгляд уже не будет совершенно тот, и что казалось прежде

целым, окажется только частью целого. Нет, Константин Сергеевич, есть дух обольщенья, дух-искуситель, который не дремлет и который так же хлопочет и около вас, как около меня, и, увы! чаще всего бывает он возле нас в то время, когда думаем, что он далеко, что мы освободились от него и от лжи и что сама истина говорит нашими устами. Вот какие мысли пришли мне в то время, когда я читал приговор ваш книге, на которую до сих пор еще я не имею духу взглянуть. Скажу вам также, что мне становится теперь страшно всякий раз, когда слышу человека, возвещающего слишком утвердительно свой вывод как непреложную, непогрешительную истину. Мне кажется, лучше говорить с меньшей утвердительностью, но приводить больше *доказательств.*

Драму вашу я прочту со вниманьем и даю вам слово не скрыть своего мненья. Она тем более для меня интересна, что, вероятно, в ней я отыщу яснейшее изложение всего того, о чем вы говорите в письме вашем несколько неопределенно и неясно. Прощайте, Константин Сергеевич. Бог в помощь! Когда-нибудь переговорим о многом лично, и это, вероятно, будет лучше всяких письменных рассуждений. Покуда не сердитесь на критики в журналах и не называйте их также следствиями вражды, зависти и тому подобного. Во всякой из них может быть та частица правды, которая только сначала колет в глаза, но если прочтешь несколько раз, она будет целительна и полезна.

Искренно желающий вам добра и любящий вас *Н. Г.»*

Еще до получения ответа Гоголя К. С. Аксакову С. Т. Аксаков писал Гоголю:

«21 мая.

Здравствуйте, здравствуйте на святой Руси, мой любезный друг Николай Васильевич! Давно должны были написаться эти строки, но... все человеческие предположенья — прах и суета! Не написал 4 мая, отложил до 7-го, а 6-го я захворал... Теперь оправляюсь понемногу. Но должно все рассказать подробно и по порядку, а для этого нужна чужая рука.

В самых последних числах апреля приехал ко мне рано поутру Щепкин и сказал, что вы в Одессе. Я так обрадовался, что ту же минуту хотел писать к вам, хотя решился было бросить письменные разговоры и ожидать личного свидания; но я уже был готов к отъезду в деревню (куда давно манила меня ранняя весна) и остался только до 2 мая, потому что 1-го был день рожденья Хомякова. 2-го я переехал в деревню с Константином и Любенькой [216], остальная семья должна была переехать через неделю. Хотел было писать 4-го

или 5 мая, но отложил до 9-го, чтоб тут же и поздравить вас со днем ангела; но 6 мая сделалась такая жаркая, летняя погода, что я забыл числа и подумал, что это июнь или июль, оделся полегче, посидел с удочкой на пруду подольше и тот же вечер получил воспаление в правой стороне груди и нижней части печени. Болезнь, как водится, сопровождалась сильной лихорадкой и кровохарканьем. Можете себе представить положение бедных моих детей! На Константина до сих пор еще страшно смотреть. По счастию, у Троицы (в двенадцати верстах от моей деревни) есть очень порядочный лекарь, которого мы выписали и который мне очень скоро помог. Нельзя было скрыть моей болезни от остальной моей семьи, и потому все, перепуганные, прискакали ко мне *. Как нарочно, на другой день их приезда, 12 мая, получил я рецидив воспаления уже в одной печени, но со всеми прежними явлениями. Тот же лекарь помог мне опять, и через несколько дней усадили меня в карету и благополучно перевезли в Москву, где я поправлялся очень быстро до вчерашнего дня; с вчерашнего же утра я постоянно чувствую шум в голове и какую-то нервическую слабость, которая мешает мне даже диктовать письмо. Но все это, я надеюсь, скоро пройдет, и с наступлением настоящей летней погоды мы переедем уже все в нашу прекрасную деревеньку. Именинник мой с матерью у обедни. Успеют ли они сегодня написать к вам — не знаю; но сам уже откладывать не хочу.

На днях вы получите драму Константина [218]. Прочтите ее на досуге, сбросив с себя все чужие понятия, усвоенные всеми нами с младенчества. Вдумайтесь глубоко в старую русскую жизнь и произнесите суд нелицеприятный. Погодин облаял ее, как взбесившаяся собака [219]. Давно затаенная злоба на Константина (в которой он и сам много виноват), наконец, выбилась ключом бешеной слюны и помрачила даже его рассудок...

Прощайте, друг мой. Обнимаю вас крепко. Будьте здоровы, освежитесь и укрепитесь родным воздухом и приезжайте к нам. Пишите в Сергиевский посад, Московской губернии.

Ваш душою *С. Аксаков*».

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову

«Июня 8. Василевка.

Как вы меня обрадовали вашими строчками, добрый друг Сергей Тимофеевич. Но меня печалит, что вы так часто хвораете. Ради бога, берегите себя. Не позабывайте ни на час, что ваша натура, нервически-пылкая, склонна более других к простудам. Теперь вечера очень

* Они привезли мне ваше милое письмецо, которое мне было целебно [217].

опасны. Именно оттого, что дни невыносимо жарки и в воздухе засухи. Имейте всегда кого-нибудь при себе с плащом, который бы мог набросить его на вас в ту же минуту, как только станет холодеть. Теперь тысячами вокруг болеют и мрут. В Полтавской губернии свирепствует холера почти повсеместно и в самой Полтаве. Бог да хранит вас. Драмы Константина Сергеевича я еще не имею: сегодня, однако, пришло объявленье о посылке на рубль с половиной серебром. Вероятно, это она. Я ее прочту с любопытством уже и потому, что в ней должен заключаться вопрос, решеньем которого я серьезно теперь занят не менее самого Конст⟨антина⟩ Сергеевича. Поблагодарите Ольгу Семеновну и милых дочерей ваших за то, что они не позабывали матушку и сестер.

Весь ваш *Н. Г.*»

В ⟨этом письме⟩ обнаруживается *последнее* направление Гоголя, т. е. жажда понять русский народ в его прошедшем и настоящем.

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю

«21 июня ⟨Абрамцево⟩

Я получил письмо ваше, милый друг Николай Васильевич, от 8 июня и очень ему обрадовался. Благодарю вас за добрые советы: они совершенно справедливы, и я волею-неволею следую им постоянно. Вы знаете, сколько за мною блюстителей. Боюсь только, чтоб сохраненье меня от простуды не было доведено до излишества. С 8 июня мы живем в нашей прелестной деревеньке, и я вполне наслаждался бы природою, если б мы не были встревожены нездоровьем Веры: у ней сильное раздражение желудка и всей нервной системы. Когда мы уезжали из Москвы, там была сильная холера; но теперь, благодаря бога, стала гораздо потише. У Троицы и кругом около нас также есть эта болезнь, но в слабом виде и, кажется, исчезает.

Вы не можете себе представить, с каким нетерпением стану ждать я каждую почту вашего письма *по прочтении* драмы. Если б я не был отцом сочинителя, то непременно напечатал бы об ней критическую статью. Эту статью вмещу я в письмо к вам и непременно пришлю ее. Завтра же начну писать и, каков бы ни был ваш суд, не переменю в ней ни одного слова.

Два года тому назад провел я зиму в деревне и, между прочим, написал книжку под названием: «Записки об уженье»[220], которую к вам и посылаю. Она невелика, вы прочтете ее на досуге. Я писал

ее с большим наслаждением. Воспоминание прошедшего освежало и оживляло меня. Если бог исполнит мое желание и я проведу эту зиму в деревне, то начну писать другую книжку «об охоте с ружьем» [221]: с двенадцатилетнего возраста до тридцатишестилетнего я был предан этой охоте страстно, безумно. Я уже написал «Прилет птицы весною» и думаю, что даже не охотник может прочесть с удовольствием этот отрывок. «Семейная хроника» пишется как-то вяло [222]. Кажется, надобно переменить план: сократить подробности и не соблюдать строгой последовательности. Вот как много наболтал я вам о себе. Прощайте! Да сохранит вас бог здрава и невредима. Обнимаю вас. Мое почтение вашей доброй матушке и сестрицам.

Душою ваш С. Аксаков.

Все мои вас обнимают. Костя вам кое-что посылает» [223].

Н. Н. Гоголь — С. Т. Аксакову.

«Июля 12. Василевка.

И за письмо и за книги благодарю вас, добрый Сергей Тимофеевич. Как ни слаб я после недуга, от которого еще не оправился как следует *, но не могу отказать себе написать к вам несколько строчек. Какое убийственно-нездоровое время и какой удушливо-томительный воздух. Только три или четыре дни по приезде моем на родину я чувствовал себя хорошо. Потом беспрерывные расстройства в желудке, в нервах и в голове от этой адской духоты, томительнее которой нет под тропиками. Все переболело и болеет вокруг нас. Холера и все роды поносов не дают перевести дух. Тоска (еще более оттого, что никакое умственное занятие не идет в голову). Даже читать самого легкого чтенья не в силах. А потому не ждите от меня покуда никаких отчетов относительно впечатлений, произведенных присланными книгами. Я после напишу Константину Сергеевичу мое мненье о его драме. Статья его о современном споре [224] мне понравилась, может быть, оттого, что во время чтенья голова моя была свежа и вниманья достало на небольшую статью. Ваш разбор драмы я бы желал нетерпеливо прочесть хотя по кусочкам. Мне кажется, вы сделаете очень нелишнее дело, если займетесь ⟨им⟩, тем более, что самый предмет, о котором пойдет речь, так важен для всех нас, что и сама драма и сам сочинитель могут остаться почти в стороне. В драме постигнуто *высшее свойство* нашего народа — вот ее главное достоинство! Недостаток — что, кроме этого высшего свойства, народ не слышен другими своими сторонами, не имеет грешного тела

* У меня был изнурительный понос, расслабивший меня до nec plus ultra (dissenteria).

нашего, бестелесен. Зачем Конст⟨антин⟩ Серг⟨еевич⟩ выбрал форму драмы? Зачем не написал прямо историю этого времени? Странное дело, когда я разворачиваю историю нашу, мне в ней видится такая живая драма на каждой странице, так просторно открывается весь кругозор тогдашних действий и видятся все люди и на первом и на втором плане, и действующие и молчащие. Когда же я читаю извлеченную из нее нашу так называемую историческую драму, кругозор предо мною тесен, я вижу только те лица, которые выбрал сочинитель для доказанья любимой своей мысли. Полнота жизни от меня уходит; запаха свежести, первой весенней свежести, я не слышу. Наместо действия я слышу словопрения, и мне кажется все бледно. Не распространяю этих слов на драму Константина Сергеевича. В ней вялости нет, язык свеж, речь жива. Но зачем, не бывши драматургом, писать драму? Как будто свойства драматурга можно приобресть! Как будто для этого достаточно живо чувствовать, глубоко ценить, высоко судить и мыслить! Для этого нужно *осязательное, пластическое* творчество, и ничто другое. Его ничем нельзя заменить. Без него история всегда останется выше всякого извлеченного из нее сочинения.

Может быть, все это, что я вам теперь говорю, есть плод нынешнего мутного состоянья моей головы, неспособной рассуждать отчетливо и ясно; может быть, в другой раз, когда прочту внимательней это сочинение, и притом в минуту более свежую, я выражусь иначе и лучше, но мне кажется, я и тогда не соглашусь с Констант⟨ином⟩ Сергеев⟨ичем⟩, будто драма есть художественное понимание истории в известную эпоху. Скорей разве можно сказать художественное *воспроизведенье* ее. Пониманья одного мало для драмы. Но обо всем этом потолкуем после. Сочиненье во всяком случае *немаловажно* и навсегда останется замечательно тою высокою задачей, которую оно задало нам и над которою стоит всякому истинно русскому поразмыслить и порассудить сурьезно.

Прощайте, добрейший Сергей Тимофеевич. Обнимаю вас крепко. Не знаю, когда с вами увижусь. Хотел было ехать теперь, несмотря на болезненную слабость, но узнал, что дилижансы из Харькова в Москву уничтожились. Заводить свой экипаж нет средств и скука. Попутчика покуда не отыскивается. Напишите мне слова два о Михале Семеновиче, не будет ли он в Харькове? Он, кажется, имеет обыкновенье заглядывать туда в августе около ярмарки. Как бы мне было приятно прокатиться с ним. Пишите.

Весь ваш *Н. Г.*

Всем вашим дружеский поклон».

Из писем В. С. Аксаковой к М. Г. Карташевской. Москва.

30 сентября. «Гоголь теперь в Петерб⟨урге⟩. Он был в Москве, мы его видели, он мало наружно переменился, но кажется как будто не тот Гоголь. Константин в минуту свидания забыл все и задушил, было, его обнимая».

13 октября. «Ты меня спрашиваешь о Гоголе, Иван тебе может передать подробно наше свидание. Примирение произошло еще на письмах; все ему обрадовались, и отношения остались по-прежнему дружеские, но казалось, что это не тот Гоголь».

В сентябре 1848 года Гоголь приехал из Малороссии в Москву и поселился у графа А. П. Толстого. Я это время был в деревне и переехал в город уже в октябре. В тот же вечер пришел к нам Гоголь, и мы увиделись с ним после шестилетней разлуки. Гоголь очень мне обрадовался; но я, к сожалению моему, не мог встретиться с ним по-прежнему. Многими письмами Гоголя я был недоволен. По горячности моей я много высказал лишнего нашим общим друзьям еще задолго до появления книги Гоголя, высказал свои сомнения: не погиб ли в Гоголе художник в борьбе с мистиком-христианином. Я имел полное право так думать, потому что некоторые распоряжения, прибавления и поправки прежних сочинений изобличали или запутанность головы, или потерю художнического чутья. Мне было известно, что Гоголь знал об этом. Я сам написал к нему много таких резких выражений, что вспоминал о них с огорчением и стыдом. Конечно, только дружба моя к нему и благоговение к его таланту были причиною моей горячности; но тем не менее я чувствовал неразумность моих поступков. Все это вместе смущало меня и производило некоторое охлаждение в моих чувствах. Мне было досадно, но я не мог преодолеть себя. Разумеется, Гоголь это заметил, но бывал у нас почти каждый день, и любовь самая искренняя ко мне выражалась в каждом его слове и движении ⟨...⟩

Гоголь в эту зиму прочел нам всю «Одиссею», переведенную Жуковским.

Из письма С. Т. Аксакова к И. С. Аксакову,
28 ноября, Москва.

«Мы прочли все 12 песен «Одиссеи»: стих вообще очень хорош, и есть места даже превосходные; но в частностях можно сделать много замечаний, которые и были деланы мною и особенно Конст⟨антином⟩, всегда доказывавшим неверность перевода сличением его с подлинником. Гоголь сначала принимал эти замечания очень хорошо, убеждался в их справедливости и просил все запи-

сывать для сообщения Жуковскому; но впоследствии стал раздражаться словами Констант⟨ина⟩, иногда несколько неуместными и резкими; ибо дело непосредственно касалось до него самого. Третьего дня так рассердился за упреки, в долгом пребывании на чужой стороне, Жуковскому, что убежал и унес с собой «Одиссею». Вчера не был, увидим, придет ли сегодня. Нет, не восстановляться прежним отношениям между нами: искренности нет, и очень явно его недоброжелательство к Конст⟨антину⟩, которого, разумеется, он считает причиною всех моих писем. Признаюсь, мне часто бывает досадно. Неужели я, проживши столько лет, не умел нажить себе имени неглупого и самобытного человека? Все, что я говорю и делаю, решительно приписывается Константину! Это обстоятельство нередко заставляет меня противоречить ему при свидетелях в том, с чем я внутренно согласен. Вот это, конечно, глупо».

Из письма В. С. Аксаковой к М. Г. Карташевской,
29 ноября. Москва.

«Гоголь у нас по-прежнему бывает так же часто; он веселее и разговорчивее, нежели был прежде; говорит откровенно и о своей книге, и вообще стал проще, как все находят. Он твердо намерен продолжать «М⟨ертвые⟩ д⟨уши⟩».

Очень часто также читал вслух Гоголь русские песни, собранные Терещенкою [225], и нередко приходил в совершенный восторг, особенно от свадебных песен. Гоголь всегда любил читать; должно сказать, что он читал с неподражаемым совершенством только все комическое в прозе или, пожалуй, и чувствительное, но одетое формою юмора. Все же чисто патетическое, как говорится, и лирическое Гоголь читал нараспев. Он хотел, чтобы ни один звук стиха не терял своей музыкальности, и, привыкнув к его чтению, точно можно было чувствовать силу и гармонию стиха. Из писем его к друзьям видно, что он работал неуспешно и жаловался на свое нравственное состояние. Я же думал, напротив, что труд его подвигается вперед хорошо, потому что сам он был довольно весел и читал всегда с большим удовольствием. Я в этом ошибался; но вот что верно: я никогда не видал Гоголя так здоровым, крепким и бодрым физически, как в эту зиму, то есть в ноябре и декабре 1848-го и в январе и феврале 1849 года. Не только он пополнел, но тело на нем сделалось крепко; обнимаясь с ним ежедневно, я всегда щупал его руки. Я радовался и благодарил бога. Надобно заметить, что зима была необыкновенно жестокая и постоянная, что Гоголь прежде никогда не мог выносить сильного холода и что он одевался очень легко.

1849

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову,
начало 1849 года. Москва.

«Статья мне нужная[226] напечатана в С.-П⟨етер⟩бургск⟨их⟩ сенат⟨ских⟩ ведомостях 1848, № 66.— Попросите у Констан⟨тина⟩ Сергеев⟨ича⟩ на несколько дней «Достопамятности Москвы» Снегирева и препроводите с подателем записки, чем много обяжете.

Весь ваш *Н. Гоголь»*.

С появлением первых оттепелей Гоголь стал задумчивее, вялее, и хандра, очевидно, стала им овладевать. Однако 19 марта, в день его рожденья, который он всегда проводил у нас, я получил от него следующую довольно веселую записку:

«Любезный друг Сергей Тимофеевич.

Имеют сегодня подвернуться вам к обеду два приятеля: Петр Михайлович Языков и я[227], оба греховодники и скоромники. Упоминаю об этом обстоятельстве по той причине, чтобы вы могли приказать прибавить кусок бычачины на одно лишнее рыло.

Весь ваш *Н. Гоголь*.

Суббота».

В начале мая 1849 года он начал хворать и физически. Перед своими именинами, которые он собирался праздновать и праздновал у Погодина в саду, Гоголь перепугал нас всех, говоря серьезно и с уверенностью о самых нелепых бреднях суеверных людей. Я приписывал и теперь приписываю нравственное состояние Гоголя пребыванию его в доме Толстых. Попы, монахи с их изуверными требованиями, ханжество, богомольство и мистицизм составляли его атмосферу, которая, конечно, никому не вредила, кроме Гоголя: ибо он один со всею искренностью предавался этому направлению.

7 мая я получил от Гоголя записку. Меня с сыновьями Гоголь не мог приглашать, потому что еще в начале 1848 года мы перестали видеться с Погодиным.

«Мне хотелось бы, держась старины, послезавтра отобедать в кругу коротких приятелей в погодинском саду. Звать на именины самому неловко. Не можете ли вы дать знать или сами, или через Константина Сергеевича Армфельду, Загоскину, Самарину и Павлову совокупно с Мельгуновым[228]? Придумайте, как это сделать ловче, и дайте мне потом ответ. Если можно, заблаговременно.

Весь ваш *Н. Гоголь»*.

Из письма И. С. Аксакова к А. О. Смирновой,
16 мая. Москва.

«Я нашел Гоголя самого хуже здоровьем, чем оставил: он опять расстроился было нервами, похудел очень; но теперь стал несколько вновь бодрее. Я полагаю, что мистицизм Александра Петровича Толстого с супругою в состоянии навести невыносимую хандру и расстроить всякие нервы⟨...⟩ Он говорил нашим, что пишет, но лениво».

Лето 1849 года Гоголь провел в разъездах. Долго гостил у Смирновой в ее подмосковной и потом у Шевырева на даче. Наконец, 14 августа Гоголь приехал к нам в подмосковную. Много гулял и забавлялся тем, что, находя грибы, собирал их и подкладывал мне на дорожку, по которой я должен был возвращаться домой. Я почти видел, как он это делал. По вечерам читал с большим одушевлением переводы Мерзлякова древних [229], особенно гимны Гомера ему нравились. Так шли вечера до 18 числа. Но 18-го вечером Гоголь, сидя на своем обыкновенном месте, вдруг сказал:

— Да не прочесть ли нам главу «Мертвых душ»?

Мы были озадачены его словами и подумали, что он говорит о первом томе «Мертвых душ». Константин даже встал, чтоб принести их сверху, из своей библиотеки; но Гоголь удержал его за рукав и сказал:

— Нет, уж я вам прочту из второго,— и с этими словами вытащил из своего огромного кармана большую тетрадь.

Я не могу передать, что сделалось со всеми нами. Я был совершенно уничтожен. Не радость, а страх, что я услышу что-нибудь недостойное прежнего Гоголя, так смутил меня, что я совсем растерялся. Гоголь был сам сконфужен. Ту же минуту все мы придвинулись к столу, и Гоголь прочел первую главу 2-го тома «Мертвых душ». С первых страниц я увидел, что талант Гоголя не погиб,— и пришел в совершенный восторг. Чтение продолжалось час с четвертью. Гоголь несколько устал и, осыпаемый нашими искренними и радостными приветствиями, скоро ушел наверх, в свою комнату, потому что уже прошел час, в который он обыкновенно ложился спать, т. е. одиннадцать часов.

Я не стану описывать, в каком положении были мы все, особенно я, который считал его талант погибшим.

Тут только мы догадались, что Гоголь с первого дня имел намерение прочесть нам первую главу из второго тома «Мертвых душ», которая одна была отделана, по его словам, и ждал от нас только

какого-нибудь вызывающего слова. Тут только припомнили мы, что Гоголь много раз опускал руку в карман и хотел что-то вытащить, и вынимал пустую руку.

На другой день рано поутру я пришел наверх к Гоголю, обнял его и высказал всю мою радость, и Гоголь сказал мне с светящимся, радостным лицом: «Фома неверный». В этот день поутру Гоголь должен был непременно ехать к нашим соседям Путятам, где его дожидался Россет [230], чтоб вместе с ним ехать в Москву. Мы с Константином поехали его провожать; только что мы отъехали с версту, как Гоголь обратился ко мне и Константину и весьма серьезно сказал: «Ну, говорите же мне теперь все, что вы заметили в первой главе». Мы не были готовы к такому вопросу; только что я начал соображать мои впечатления, как нас догнал нарочный с известием, что к нам приехал Хомяков на самое короткое время и в первый раз. Мы должны были воротиться, что было неприятно Гоголю. На возвратном пути говорили уже совсем о другой материи. Повидавшись с Хомяковым, через полчаса Гоголь уехал один и как-будто не так весел. Мне это было очень досадно. Через несколько дней Константин поехал в Москву. Гоголь требовал от меня замечаний на прочитанную главу, и я написал к нему письмо, в котором откровенно признался ему во всех моих сомнениях, уничтоженных первою гл⟨авою⟩ 2-го тома «Мер⟨твых⟩ д⟨уш⟩». Тут же я сделал ему несколько замечаний и указал на особенные, по моему мнению, красоты.

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю.

«27 августа. Радонежье.

Я чувствую душевную потребность сказать вам несколько слов, милый друг Николай Васильевич! Я должен перед вами покаяться. После всего случившегося в течение последних семи лет я, Фома неверный, как вы сами меня назвали, потерял было веру в дальнейшее существование вашего творческого таланта. Мне показалось несовместным ваше духовное направление с искусством. Я ошибся. Слава богу! Благодарю вас, что вы, наконец, решились рассеять мое заблуждение. Вы знали его; но не знали, как тяжело было мне смотреть на вас, на мнимого страдальца, утратившего плодотворную силу своего творчества, но не потерявшего стремления, необходимости творить. Много вытерпел я сердечной скорби от моей грубой ошибки. Но теперь все забыто! Слава богу, я чувствую только одну радость. Талант ваш не только жив, но он созрел. Он стал выше и глубже, что я и сказал вам сейчас после чтения.

Может быть, вы хотели бы слышать от меня критическую оценку, но я не могу этого сделать. Я слушал с таким волнением, а сначала



Кабинет С. Т. Аксакова в музее «Абрамцево» АН СССР

Фотография 1959 г.

и с предубеждением, что подробности впечатлений скоро поглотились одним чувством наслаждения. Притом же я никогда не могу судить верно о подробностях, *слушая в первый раз:* мне надобно прочесть своим глазом. Но вот что у меня осталось в памяти. 1) Мне показалось, что сначала как-то трудно и тяжело выражались вы. 2) Мне показался несколько длинным и натянутым рассказ об Александре Петровиче. 3) Встреча в деревне крестьянами молодого барина как будто жидка и одностороння. Но я не ручаюсь за верность моих замечаний. Если вы захотите их иметь, то дайте мне тетрадь в руки.

Да подкрепит бог ваше здоровье и благословит окончательные труды ваши: ибо я считаю, что «Мертвые души» написаны и что теперь остается последняя отделка. Я прошу у бога милости дожить до их появления, при настоящем моем уме и чувствах. Я хочу вполне насладиться не только восстановлением вашей славы, но и полным торжеством вашим на всем пространстве Руси...

Как утешили вы меня, Константина и все наше семейство! Как долго мы были полны только одним чувством, о которое притуплялось даже горе... Прочь все теории и умствования: да будет благословенно искусство на земле!

Крепко вас обнимаю.

Душой ваш *С. Аксаков.*

Иван вам кланяется. Он спрашивает: читали ли вы стихотвор⟨ения⟩ Григория Богослова? Если нет, то прочтите.

В Рыбинске играли «Ревизора» [231]; в половине пиесы актеры, видя, что зрители больше их похожи на действующие лица,— помирали все со смеха».

Получив мое письмо, Гоголь был так доволен, что захотел видеть меня немедленно. Нетерпение его было так велико, что он не захотел подождать Константина, который только на несколько часов должен был остаться в Москве и мог привезти его в своем экипаже. Он нанял карету, лошадей и в тот же день прискакал к нам в Абрамцево [232]. Он приехал необыкновенно весел, или, лучше сказать, светел, долго и крепко жал мне руку и сейчас сказал:

— Вы заметили мне именно то, что я сам замечал, но не был уверен в справедливости моих замечаний. Теперь же я в них не сомневаюсь, потому что то же заметил другой человек, *пристрастный* ко мне.

Гоголь прожил у нас целую неделю; до обеда раза два выходил гулять и остальное все время работал. После же обеда всегда что-нибудь читали. Мы просили его прочесть следующие главы, но он убедительно просил, чтоб я погодил. Тут он сказал мне, что он про-

чел уже несколько глав С⟨мирновой⟩ и Ш⟨евыреву⟩, что сам увидел, как много надо переделать, и что прочтет мне их непременно, когда они будут готовы.

6 сентября Гоголь уехал в Москву вместе с О⟨льгой⟩ С⟨еменовной⟩. Прощаясь, он повторил ей обещание прочесть нам следующие главы М⟨ертвых⟩ д⟨уш⟩» и велел непременно сказать это мне.

Из письма О. С. Аксаковой к И. С. Аксакову,
20-е числа сентября. Абрамцево.

«Время делается холодно, и я боюсь, что Гоголь не приедет сюда к нам, а как хочется послушать. Какой был для меня соблазн, когда Гоголь оставил портфель, и все тетради сбоку так и виднелись, что можно было что-нибудь прочесть, но я никак не решилась».

Из письма С. Т. Аксакова к И. С. Аксакову
5 октября. Абрамцево.

«Проводив мать и Веру, примусь за свои охотничьи записки; если не пойдет описание птиц, то попробую заняться кратким описанием технической части оружейной охоты, которого у меня уже довольно написано, только в отрывках. Если же и это не пойдет, то напишу о знакомстве своем с Державиным [233], что я обещал Гоголю».

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову,
ноябрь 1849 г. Москва.

«Посылаю вам 1-й том [234] и желаю, чтобы доставил вам развлечение. Ради бога, берегите здоровье и делайте все с *умеренностью*. Это большая добродетель. Жалко, если до весны не увидимся. Известие о кончине Панова меня опечалило. Все позабывается, что чем далее, тем более с каждым годом должны убывать и отходить все близкие сердцу, а не прибывать. Бог да хранит вас и да поможет благодарить его благодарно за все.

Весь ваш *Н. Г.*

Из письма О. С. Аксаковой к И. С. Аксакову,
25 ноября. Москва.

«Гоголь был у меня два раза, он очень рад, что я наняла большой дом, и зовет всех сюда...».

1850

1850 года генваря 7-го Гоголь прочел нам в другой раз первую главу «Мертвых душ». Мы были поражены удивлением: глава показалась нам еще лучше и как будто написанною вновь.

Из письма И. С. Аксакова к С. Т. Аксакову,
9 января, Ярославль.

«Как-то Вы провели ночь эту, милый отесинька, после чтения Гоголя и моего отъезда? ⟨...⟩ Спасибо Гоголю! Все читанное им выступало передо мною отдельными частями, во всей своей могучей красоте... Если б я имел больше претензий, я бы бросил писать: до такой степени превосходства дошел он, что все другие перед ним пигмеи».

Из письма С. Т. Аксакова к И. С. Аксакову,
10 января. Москва.

«Вчера целый вечер провели мы с Гоголем ⟨...⟩ Гоголь был необыкновенно любезен, прост и искренен; при сестрах говорил о том, как он трудно пишет, как много переменяет, так что иногда из целой главы не остается ни одного прежнего слова. Когда все вышли в другую комнату, он наклонился ко мне и спросил: «Ну, а заметили вы, как я все переправил по вашему письму? Теперь вы должны сделать мне свои замечания на второе чтение». Я сказал, что решительно не могу ничего заметить, и в то же время спросил его, что это значит, что при втором чтении я слышал все как будто новое, так что я забыл теперь прежнее? Он объяснил мне это тем, 1) что при втором чтении выступила наружу глубина содержания и второе, что он дал последнюю гармоническую отделку. Он прибавил, что трудно это объяснить и что только живописец понимает, что такое значит *тронуть* в последний раз картину, что после этого ее не узнаешь. Он потребовал вторично, чтоб я ему что-нибудь заметил. Я напряг свою память и точно вспомнил, что в описании девушки мне показалось слишком обыкновенным, даже избитым то, что, *когда надобно дать что-нибудь — она отдает все, что у нее есть,* и потом выражение, *что, казалось, она готова была сама улететь вслед за своими словами*, мне не нравится своей идеальностью. На оба замечания Гоголь сказал: «точно так» весьма проворно и таким тоном, что, вероятно, он и прежде это думал. Я заставил его признаться, что все наши замечания бесполезны и что он сам это видит лучше других, но в то же время он сказал, что для него важно совпадение моих замечаний с его собственными, и прибавил,

что при третьем чтении я, может быть, больше замечу. Я решился ему сказать мое опасение, что при его ясновидящем взгляде, так глубоко и широко все обнимающем, он при каждом новом воззрении увидит что-нибудь новое, если не в главном, не в существенном, то в подробностях, в полноте... Гоголь улыбнулся и сказал: успокойтесь; этому есть мера; художник почувствует гармонию своего создания и ни за что в свете ничего не переменит, кроме каких-нибудь ошибочных слов или сведений».

Из письма В. С. Аксаковой к И. С. Аксакову, первая половина января. Москва.

«Гоголь был так доволен слушанием *болота* *; говорит, вообще нельзя ни вставить, ни выпустить ни одного слова».

Из писем С. Т. Аксакова к И. С. Аксакову. Москва.

17 января. «Вчера читали Гоголю *дупельшнепа* и *гаршнепа*, и он чрезвычайно был доволен, даже выпросил себе все, чтобы перечесть у себя дома...»

20 января. «До сих пор не могу еще придти в себя: Гоголь прочел нам с Конст⟨антином⟩ 2-ую главу. Вот как было дело.

Пришел он к нам вчера обедать ⟨...⟩ Часу в 7-м вдруг говорит: «А что бы куличка прочесть?» Я отвечал, что теперь все маленькие кулички, но что если он хочет, то Конст⟨антин⟩ принесет все мои записки и прочтет их в гостиной. Гоголь сказал, что лу́чше пойти наверх. Я, ничего не подозревая, согласился; но Вера догадалась и, провожая меня, сказала: «Он будет вам непременно читать». Мы пришли наверх, я выбрал маленького куличка и заставил Костю читать. Гоголь решительно ничего не слушал и едва Конст⟨антин⟩ дочитал, как он выхватил тетрадь из кармана, которую давно держал в руке, и сказал: «Ну, а теперь я вам прочту».

Что тебе сказать? Скажу одно: вторая глава несравненно выше и глубже первой. Раза три я не мог удержаться от слез. Рассказывать содержание, в котором ничего нет особенно интересного для тебя, мне не хочется; даже как-то совестно, потому что в голом рассказе анекдота ничего не передается. Впрочем, если ты захочешь его знать, то напиши: я расскажу его со всею возможною подробностью. Такого высокого иску́сства: показывать в человеке пошлом высокую человеческую сторону, нигде нельзя найти, кроме Гомера. Так раскрывается духовная внутренность человека, что для всякого из нас, способного что-нибудь чувствовать, открывается собственная

* Здесь и дальше речь идет о «Записках ружейного охотника Оренбургской губернии», над которыми в это время работал С. Т. Аксаков.— *Ред.*

своя духовная внутренность. Теперь только я убедился вполне, что Гоголь может выполнить свою задачу, о которой так самонадеянно и дерзко, по-видимому, говорит он в первом томе ⟨...⟩ Что за образы, что за картины природы без малейшей картинности... Нет, я уж не стану описывать вод так, как хотел было, а расскажу их просто словами охотника, а не поэта.

Гоголю хотелось прочесть третью главу: ибо, по его словам, нужно было прочесть ее немедленно, но у него недостало сил. Да, много должно сгорать жизни в горниле, из которого истекает чистое злато».

27 января. «Я написал *гуся и лебедя:* Гоголь и то и другое очень хвалит, но я недоволен; впрочем, я надеюсь исправить ⟨...⟩

Гоголь еще ничего не читал нам нового; но, кажется, раза два приходил с намерением читать, но всегда что-нибудь мешало».

31 января. «Гоголь нам нового не читал, но часто у нас бывает, и вместе с Максимовичем они бывают так веселы и забавны, особенно, когда Наденька поет [235] малороссийские песни, что поистине весело и умилительно на них смотреть. По необыкновенному расположению духа Гоголя я заключаю, что он пишет много и доволен тем, что написал».

Н. В. Гоголь — К. С. Аксакову,
первая половина февраля. Москва.

«Зайдите ко мне, любезнейший Константин Сергеевич, я прихворнул и не выхожу. Навестить больного все-таки доброе дело.

Ваш весь *Н. Г.»*

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову,
первая половина февраля. Москва.

«Чувствую лучше [236]. Простуда и жар в голове уменьшается. Овер одобрил [237] все, сделанное моим доктором. Надеюсь, если не сегодня, то завтра выйти на воздух. Рад, что вы также чувствуете лучше. За все слава богу.

Ваш весь *Н. Г.»*

Из письма С. Т. Аксакова к И. С. Аксакову,
3 марта. Москва.

«Гоголь ⟨с А. О. Смирновой⟩ провел у нас вечер до *исхода 1-го часа!* ⟨...⟩ Что такое Гоголь в ее присутствии — описать невозможно.

Таким схвачен он на портрете Моллера[238], который, верно, ты видел у Хомякова. Таким бывает он в счастливые минуты творчества ⟨...⟩ Ал⟨ександра⟩ Ос⟨иповна⟩ очень мне обрадовалась; Гоголя еще не было; живой разговор завязался между нами и скоро перешел в горячий спор, который, разумеется, я сейчас прекратил, сказав, что об этом предмете нам никогда спорить не должно. Она успела *протвердить* мне, *что она любит Гоголя, Гоголя, а не поэта...* Я улыбнулся и сказал, что *и я люблю его.* Когда я между слов промолвил, что, слава богу, талант Гоголя жив и что он здраво смотрит на предметы,— Смирнова расхохоталась и, разгорячась, высказала мне, что Гоголь точно так же смотрит на все, как смотрел в своих письмах, что без них он никогда бы не написал второго тома «Мерт⟨вых⟩ душ», что он не отступился ни от одного слова, в них написанного, и что он решился меня обманывать в этом отношении, со всеми другими ⟨...⟩ Она рассказала мне кое-что в дальнейшем развитии «Мерт⟨вых⟩ д⟨уш⟩», и по слабости моего ума на все легла тень ложных их убеждений».

Из письма В. С. Аксаковой к И. С. Аксакову,
март. Москва.

«Гоголь при ней ⟨Смирновой⟩ совершенно счастлив, она его очень любит, у них есть свой особый мир, так сказать, в котором у них совершенно одинакие взгляды, понятия, впечатления, язык. Гоголь очень мало сообщает другим из него, потому что видит разность взглядов, но Ал⟨ександра⟩ Осип⟨овна⟩ менее осторожна и несколько раз проговаривалась; напр⟨имер⟩, она говорила Константину: «Сдайтесь, обратитесь к нашим началам». Гоголь спросил ее, к каким началам; она ему на ухо что-то пошептала — разумеется, это мир религиозный, мистический, который очень опасен для всех, особенно для Гоголя; конечно, его книга была плодом этого направления».

Из письма С. Т. Аксакова к И. С. Аксакову,
21 марта. Москва.

«Я здоров совершенно ⟨...⟩ 19-го марта даже обедал вместе со всеми в маленькой гостиной и пил за здоровье Гоголя, который был целый день так весел и светел, как он был только в присутствии Александры Осиповны».

Из письма В. С. Аксаковой к М. Г. Карташевской,
25 мая. Москва.

«Гоголь уезжает опять надолго; зиму ему необходимо провести в теплом климате, он опять расстроился здоровьем».

Н. В. Гоголь — К. С. Аксакову,
май. Москва.

«Оказывается, что вам очень недурно съездить в Киев, Константин Сергеевич: во-первых, чтобы не обидеть первопрестольной столицы, а во-вторых, чтобы, задавши работу ногам, освежить голову, совершая путь пополам с подседом на телегу и с напуском пехондачка, совокупно с нами оттопавши дорогу до Глухова, откуда Киев уже под носом, и потом по благоусмотрению можете устроить возврат».

Из письма С. Т. Аксакова к И. С. Аксакову,
2 июня. Москва.

«Гоголь третьего дни прочел мне одному, даже без Конст⟨антина⟩, 3-ю главу «М⟨ертвых⟩ д⟨уш⟩». Вчера прочел половину ее в другой раз при мне Конст⟨антину⟩ и сегодня хотел дочитать другую. До того хорошо, что нет слов. Конста говорит, что это лучше всего, но что бы он сказал, если б услышал в другой раз то же? Я утверждаю, что нет человека, который мог бы вполне все почувствовать и все обнять с первого раза. Гоголь приготовил и отделал главу для прочтения всему нашему семейству; но не читал, потому что она так чувствительна, что меня должна расстроить... Как это досадно! Проклятое последнее мое нездоровье тому причиной.— Теперь чтение откладывается на год...».

Н. В. Гоголь — О. С. Аксаковой,
13 июня, Москва.

«Мы с Максимовичем [239] заедем к вам на дороге, то есть перед самым отъездом, часу во втором, стало быть во время вашего завтрака, чтобы и самим у вас чего-нибудь перехватить: одного блюда, не больше, или котлет, или, пожалуй, вареников, и запить бульонцем.

Весь ваш *Н. Г.*»

Из письма С. Т. Аксакова к И. С. Аксакову,
после 13 июня. Абрамцево.

«Если Гоголь в эту зиму ничего не сделает, то я крепко буду бояться за окончание его великого подвига. Гоголь отправился в путь прямо из нашего дому, позавтракав на дорогу варениками и пр., что, без сомнения, доставило большое удовольствие матери.

В последнее время я замечал в Гоголе необыкновенное ко мне чувство: или записки мои ему очень понравились, а также и замечания на его второй том, или болезненность моя его разжалобила».

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову.

«7 ноября. Одесса.

Уведомляю вас, бесценный друг Сергей Тимофеевич, что я в Одессе и, может быть, останусь здесь всю зиму, хоть, признаюсь, здешняя зима мало чем лучше московской. Но нечего делать, с пашпортом я опоздал. А отсюда подыматься на север тоже поздно. Видел я Казначеева [240], который мне показался весьма добрым человеком. Часто видаюсь со Стурдзой, с кн⟨язьями⟩ Репниными, Титовыми [241] и со многими старыми товарищами по школе; но чувствую, что вас недостает. Пожалуйста, уведомьте меня о себе, о всех ваших и о всем, что до вас относится, о сем прошу и Конст⟨антина⟩ Сергеевича. Продолжаете ли записки? [242] Смотрите, чтобы нам, как увидимся, было не стыдно друг перед другом и было бы что прочесть. Константину и Ивану Сергеевичам также.

Пишите: В Одессу. В доме генерал-майора Трощинского [243].

Весь ваш *Н. Г.*

Душевный поклон Ольге Семеновне, Вере Сергеевне и всему дому!»

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю.

«Москва. Декабря 5-го.

Наконец, я получил прямую весточку от вас, милый друг Николай Васильевич! Итак, вы в Одессе и ваше намерение провесть зиму под теплым небом Бейрута — не состоялось. Я должен признаться вам, что обрадовался этому известию. Одесса близехонько благодаря легкости и удобству сообщений! Мне страшно было думать, что вы опять заедете так далеко, и я не верил и не верую в мысль, чтоб это чужое тепло было полезно вашему здоровью, а ведь о нем-то и речь идет. Поверьте, что я не увлекаюсь эгоизмом и не подкуплен возможностью скорого свиданья с вами, возможностью: сесть да и приехать в Москву. Будьте здоровы, доканчивайте успешно свой великий труд и не ездите в Москву хоть целый год.

Я один раз только имел известие, что вы живете в Васильевке, что вы здоровы и сбираетесь в Одессу, чтоб оттуда ехать дальше. О Максимовиче до сих пор ничего не знаем.

Теперь следует рассказать вам по порядку все, что случилось с нами в продолжение шестимесячной разлуки: 4 июня я переехал в свою подмосковную, где я прожил до 21 ноября. До наступления зимы, которая явилась у нас почти месяцем ранее обыкновенного,

я неутомимо удил и ходил за грибами и был довольно здоров; последний же месяц я писал ежедневно свои охотничьи записки и кончил отделенье степной, или полевой, дичи, начатое в Москве; написал даже кое-что в техническое отделенье моих записок: по совести должен сказать, что я доволен только некоторыми местами.

Я переехал в Москву с гораздо большею неохотою, чем когда-нибудь. Послезавтра две недели, как я переехал, и до сих пор еще не начал примиряться с своим положением. Не могу возбудить в себе никакого интереса к окружающим меня предметам. Все мне чуждо и скучно. Писать ничего не могу. Событие, которое в другое время не только бы занимало, но и волновало меня, т. е. постановка на сцену драмы Константина [244], я точно вижу как во сне. Кроме личного участия в сочинителе, тут решаются два важные вопроса: можно ли перенесть с успехом на сцену, в ее настоящем значении, драматизм исторической старой русской жизни хотя в одном моменте, или простота ее так велика, что для сцены не годится? Второй вопрос еще важнее: сохранилось ли настолько в низших слоях общества (а не народа) и развилось ли в нас русского чувства, чтоб мы способны были почувствовать эту жизнь? Эту пиесу выпросил себе в бенефис один плохой актер Леонидов [245], и Константин дал мимоходом согласие, предполагая, что это дело, по многим причинам, не состоится; а между тем оно состоялось, и 13 декабря драма идет. Я предполагал, что все актеры, особенно по нерасположению к бенефицианту, будут весьма недовольны постановкой этой пиесы. Может быть, оно сначала так и было; но когда Конст⟨антин⟩, при первой считке, прочел ее с совершенною простотою и горячим одушевлением, все были увлечены и многие растроганы до слез. Лучшие актеры захотели играть по нескольку лиц в народе, и со вчерашнего дня начались уже репетиции, которые будут продолжаться даже по ночам, после спектаклей, за недостатком времени и свободной сцены. Признаюсь, этого я никак не ожидал и начинаю думать, что многие места произведут сильное действие. Святость содержанья драмы и простота, никому не заметная, в совершении великих дел понята толпой актеров, вполне оторванных от народа, недостаточно образованных, чтоб понять его, и забитых представлением лиц, почти всегда совершенно им чуждых!.. Согласитесь, что этого никак нельзя было ожидать.— Хочу сделать глупость: ехать на первое представление в литерную ложу, где бы я мог спрятаться от блеска ламп и от зрителей: ибо я никого не хочу соблазнять своим нарядом [246]. Непременно напишу подробно обо всем вам.

Константин, Вера и Надя съездили в Киев и остались очень довольны своим путешествием: чудное местоположение Киева в соеди-

нении с его историческим и религиозным значением произвело глубокое впечатление на всех. Малороссия поэтически подействовала на моих дочерей и смягчила даже непреклонного Константина. Впрочем, главная цель поездки не достигнута: здоровье Веры находится в прежнем положении, как и здоровье главной больной, Оленьки; все же остальные — слава богу. Гриша мой служит покуда в Петербурге, а Иван продолжает неутомимо подвизаться в Ярославской губернии. Много нового, любопытного и важного открыл он своим следствием; от него же узнает правительство и все те, кому сие знать надлежит.

Вот вам, милый друг, рапорт обо всех нас. Старуха моя с прежним самозабвением хлопочет обо всем, и покуда бог хранит ее здоровье. Хомякова еще нет: я крепко звал его к 13 декабря, но он ничего не отвечает. Кошелевы [247], Томашевский и брат кланяются вам. Жена и вся моя семья вас обнимают. В Москве обдали меня потоком таких гадких вестей, что я затыкаю уши. Старинный друг мой и ваш хороший знакомый Кавелин кончил жизнь.

Казначеев — добрейший человек и самый старший из моих друзей: мы дружны с ним сорок два года. Я напишу к нему.

Крепко вас обнимаю и молю у бога сил и здоровья вам.

Ваш *С. Аксаков.*

Мы живем там же: в Филиповском переулке, в доме Орловской, бывшем Высотцкого».

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову.

«Одесса. Декабря 23.

Очень обрадовали меня вашим письмецом, добрый друг Сергей Тимофеевич. Слава богу, вы здравствуете, хоть и не так, может быть, как хотелось бы, но... за все слава богу! Если будем довольствоваться малым, дастся и больше. Меня тоже бог милует и хранит: зима здешняя благоприятна мне. Занятия мои потихоньку идут. Весной хочется быть в Москве, повидаться с вами и с Москвой. Очень рад, что драма Константина Сергеевича попала на сцену. Весьма меня обяжете, если уведомите, как она шла, каково общее впечатление и что говорят о ней порознь. Затем обнимаю вас от всей души и поздравляю совокупно со всем милым вашим семейством всех с Новым наступающим годом. Дай бог, ⟨чтоб⟩ он каждому из вас принес в душу много радостей таких, за которые беспрерывно хочется благодарить бога.

Ваш весь *Н. Гоголь».*

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю

«25 декабря. Понедельник. ⟨*Москва.*⟩

Поздравляю вас, милый друг Николай Васильевич, с великим праздником. Давно бы следовало мне написать вам о представлении драмы Константина, которое было 14 декабря; но в продолжение этих десяти дней много было у меня смущений разных и нездоровья. Не знаю, как сказать вам об успехе драмы? Если сильное раздражение в одной части публики, внимание в другой и сочувствие — в третьей, небольшой, части общества может назваться успехом, то успех был огромный: до сих пор Москва полна разговоров, брани и клевет на автора. Я был сам в театре, который битком набился народом. Еще до поднятия занавеса можно было видеть, что везде рассыпаны шикальщики, которые мешали всему без разбора и с такою наглостью, что общий голос публики называет их полицейскими служителями. Впрочем, мы убеждены, что это было сделано без дозволения графа Закревского [248], и слышали, что он был очень недоволен. Мнимая русская аристократия и высшее дворянство, не знаю почему, изволили обидеться и бояться донельзя, особенно Трубецкие и Салтыковы [249]. Я имел счастие услышать, что про моего Константина говорили те же речи, какие я слыхал про вас после «Ревизора» и «Мертвых душ», то есть: «В кандалы бы автора да в Сибирь!»

Пиеса остановлена до разрешения из Петербурга; но, вероятно, не будет представляться. Да и в самом деле, зачем предлагать публике душеспасительную духовную пищу, если она производит в ней физическую тошноту и рвоту.

Вы знаете драму; она никогда не назначалась для театра и написана без всякого сценического искусства; но строгая истинность исторических событий и горячее чувство автора очень слышны на сцене, и многие места производят сильное впечатление. Для меня по крайней мере вопрос русской драмы решен: она может и должна быть; но непременно древняя, ибо в настоящее время русской жизнию живет один крестьянин. Что касается до русского чувства, то оно и сохранилось и пробудилось в доказательство, как хорошо актеры поняли пьесу. Посылаю стихи Ленского, прочтенные на обеде Константину.

Крепко вас обнимаю. Все голова болит. Все вам кланяются.

Ваш душою *С. Аксаков.*

Несмотря на шиканье, автора два раза и горячо вызывали».

1851

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю.

«1851, 19 марта, Москва.

Здравствуйте, милый друг Николай Васильевич, в новый ваш год! Крепко вас обнимаю и поздравляю. Несколько любящих вас приятелей заранее согласились было сегодня обедать у нас; но, как нарочно, что-то угораздило Погодина с Шевыревым устроить сегодня обед Иордану! [250] Не только все наши гости обедают там, но и Константина утащили. Надеюсь, однако, что Бодянский [251] отобедает и придет к нам. Хотя вареников есть не будем, но послушаем: «Ой, на дворе метелица».

Давненько не писал я к вам... а от вас уж и не помню, когда получил грамотку. Хоть ваше молчанье я считаю добрым знаком — но это чересчур. В последнее время я крепко расстроился было своими нервами, которые расплясались у меня, как у истерической женщины: теперь понемногу поправляюсь. Причину такой передряги перескажу вам лично [252]. Странное дело: эта нервическая хворь не только не мешала, но даже помогала мне работать над моими записками, которые кончены, и это меня даже огорчает. Конечно, возни за ними осталось еще довольно; но она не может так сильно меня занимать, а без занятия нашему брату плохо. Мне кто-то сказывал, что вы до приезда в Москву поедете на южный берег Крыма. Если это правда, то я боюсь, что это письмо не застанет вас в Одессе и что вы не скоро к нам приедете.

Жду вас с нетерпением: хочу слушать и читать. Прощайте, друг мой! Обнимите за меня Казначеева и скажите ему, что его грамотка шла ко мне два месяца. Прощайте!

Всею душою ваш *С. Аксаков».*

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову.

«Мая 14, д. Васильевка.

Милое ваше письмо, добрый друг Сергей Тимофеевич, получил уже здесь, в Малороссии. Благодарю вас за поздр⟨авление⟩ со днем рожденья моего, и вас, и Ольгу Семеновну, и Константина Сергеевича, и всю семью. На днях выезжаю в Москву. Вероятно, вы уже будете в вашей подмосковной, но постараюсь заглянуть к вам и туда. О Максимовиче не имею никаких вестей, слышал только, что был он болен, и ничего больше. Весна здесь так благоприятна, как давно не было. Обнимаю вас — до свиданья!

Ваш *Н. Гоголь».*

В 1851 году Гоголь был у нас в деревне три раза...[253]

Из заметок В. С. Аксаковой о Гоголе.

«Сегодня вспомнила я, как в 1851 году ⟨в июне⟩ Гоголь был у нас при тетушке Надежде Тимофеевне. Мы за ним посылали к Троице, вечером были малороссийские песни. На другой день утром я пришла в залу, Гоголь уже давно там был и разговаривал с Иваном, погода была очень дурная. Поздоровавшись с Гоголем, я стала жаловаться на погоду. Гоголь сказал: «Все хорошо, зачем жаловаться, за все надобно благодарить». Видно было, что ему было тяжело слышать всякое неудовольствие. Не помню, как зашел у Гоголя с Иваном разговор, но помню, что он коснулся до всего состояния современного неустройства, разладу и т. д. Гоголь говорил с душевным участием. Видно было, что эти мысли не раз тревожили его душу и возбуждали его самое глубокое соболезнование, и как бы все само собою устроилось, все недоразумения, раздоры прекратились, говорил, если б каждый человек был полон любви».

Летом 1851 года С. Т. Аксаков ездил с сыновьями в свои заволжские имения. В Москве, по пути из Абрамцева, он виделся с Гоголем.

Из письма В. С. Аксаковой к М. Г. Карташевской,
26 июня, Москва.

«В воскресенье ⟨24 июня⟩ в ожидании наших я сидела у окна. Слышу, что кто-то напевает малор⟨оссийскую⟩ песню, это был Гоголь, он приходил осведомляться, приехали ли все из деревни; мы переговорили с ним в окно, он ушел, прося дать знать, когда приедут. Через полчаса после того показались три экипажа, это были все наши (в этот день, впрочем, Гоголю не давали знать, потому что нашли, что уже было поздно, тем более, что он рано ложится спать). На другой день Гоголь пришел к обеду, принес новые малор⟨оссийские⟩ песни (записанные у него дома в деревне), за которые мы и принялись после обеда ⟨...⟩

Потом отесенька прочел Гоголю из своих записок, после чего он сам принес свою тетрадь и прочел только отесеньке и братьям четвертую главу. Мы могли насилу удержать Сашу[254] от вторжения в кабинет и даже употребили физическую силу. Гоголь слышал этот шум на лестнице, улыбнулся, когда узнал после его причину, и сказал: «Почему же вы его не пустили?» ⟨...⟩

Сегодня отесенька рассказывал нам, что читал Гоголь. Он и все в восхищении, только эта глава далеко не так окончена, как предыдущие. Со стороны Гоголя это была маленькая жертва прочесть то,

что он думает потом сам изменить. С Гоголем мы вчера простились (он уехал в деревню к Смирновой). Несмотря на неоконченность главы, говорят, Гоголь захватывает такие разнообразные стороны жизни в среде уже более высокой, так глубоко зачерпывает с самого дна, что даже слишком полны по впечатлению выходят его главы».

Из письма В. С. Аксаковой к С. Т. Аксакову,
14 июля, Москва.

«Вчера явился Гоголь, который с большим участием расспрашивал и говорил о вас. Спрашивал, точно ли вы поехали в четверг, как собирались, что он об вас думал в этот день и радовался, что погода была хороша; я сказала ему, что вы хотели писать к нему письмо, но не успели. — «Так мы в одно время думали друг о друге. Напишите это Сергею Тимоф⟨еевичу⟩» и т. д. Кланяется всем, разумеется. Просил прочесть письма, очень забавлялся письмом Константина: говорит, что братья надели очки заранее и уже так все видят, а вы без очков [255] горячо все принимаете, потому что так чувствуете».

Из письма Н. С. Аксаковой к С. Т. Аксакову,
21 июля. Абрамцево.

«Все, что вы пишете в ваших письмах, приводит нас к одному результату, это — жить нам всем в деревне. Это нужно и для наших финанс⟨овых⟩ обстоятельств, и для крестьян. Не думайте, что мы бы не были на это готовы».

Из письма И. С. Аксакова к С. Т. Аксакову,
3 сентября, Москва.

«В воскресенье я был у ⟨...⟩ Гоголя и у Смирновой. Гоголь обрадовался чрезвычайно, но в деревню ехать не хочет. На мой взгляд он очень похудел и переменился. Он полагает, что вам непременно следует зиму проводить в Москве, что это выгоднее, и рассуждает при этом случае с очень забавною серьезною важностью. По всему видно, что в Москве дом наш ему существенно нужен. Он хочет, чтоб переехала вся семья, с вашими записками, с константиновыми речами и сочинениями, с малороссийскими песнями и с варениками (это уже я говорю)».

С. Т. Аксаков. «Выписка... из моих кратких заметок».

«Возвратясь из моего путешествия в Оренбургскую губернию в Москву 15 августа, я не нашел в ней Гоголя: он был у Шевырева

на даче. В половине сентября Гоголь приехал к нам в подмосковную; он был необыкновенно со мной нежен и несколько раз, взяв меня за руки, смотрел на меня с таким выражением, которого ни описать ни забыть невозможно. Он хотел приехать 20 сентября, то есть в день моего рожденья, но не мог, потому что дал обещание быть на свадьбе у сестры своей в Полтавской губернии, назначенной 29 сентября или 1 октября. Он выехал из Москвы 21 сентября, написав ко мне два письмеца, самые нежные и дружеские: одно 20 сентября, а другое в самый день отъезда, и все очень тревожился, что не провел со мною день моего рожденья».

Из письма Н. В. Гоголя к С. Т. Аксакову,
20 сентября. Москва.

«От всей души и от всего сердца поздравляю вас, бесценный друг Сергей Тимофеевич, со днем вашего рождения, весьма жалею, что не с вами сижу за кулебякой, но тем не менее и душой и мыслями с вами. Здравствуйте, бодрствуйте, готовьте своих птиц, а я приготовлю вам душ, пожелайте только, чтобы они были живые живьем так же, как живы ваши птицы ...»

На обороте:

«Бесценному другу Сергею Тимофеевичу».

Из письма Н. В. Гоголя к С. Т. Аксакову,
21 сентября, Москва.

«Перед выездом захотелось мне еще раз поздравить вас, бесценный друг Сергей Тимофеевич, и со днем рожденья и с наступающим днем именин. Вспомните обо мне, а я о вас, и мысленно помолимся друг о друге, чтобы дал господь сил ⟨...⟩»

С. Т. Аксаков. «Выписка... из моих кратких заметок».

«Пробыв осень в деревне у матери, Гоголь намеревался уехать на зиму в Одессу, где провел он предыдущую зиму очень хорошо, в отношении к своему здоровью и успешной работе над «Мертвыми душами». Он поехал очень грустен, что не успел еще повидаться со мною и проститься как следует. По неожиданной надобности я приехал в Москву 24 сентября и на другой день, к удивленью моему, узнал, что Гоголь воротился. 30-го я увез его с собой в деревню, где его появление, никем не ожиданное, всех изумило и обрадовало. По каким причинам воротился Гоголь — положительно сказать не могу: он говорил, что в Оптиной пустыни почувствовал нервное расстройство, прибавил, смеясь, что «к тому же нехорошо со мной простился»

Он улыбался, но глаза его были влажные и в смехе слышалось что-то особенное. Притом, он все надеялся, что я перееду на зиму со всем семейством в Москву, ибо желал чрезвычайно провести ее вместе с нами. Но обстоятельства не позволили мне исполнить его желание. Заметно было, что Гоголь смущался своим возвращением без достаточной причины по-видимому и еще более тем, что мать и сестры будут огорчены, обманувшись в надежде его увидеть. 1 октября, ⟨в⟩ день рождения своей матери и ⟨в⟩ день назначенной свадьбы сестры, поутру Гоголь был невесел; он поехал к обедне в Троицкую лавру и на возвратном пути заехал за Ольгой Семеновной в Хотьковский монастырь и сам заходил за ней к игуменье. За обедом мы пили здоровье его матери и молодых: Гоголь поразвеселился, а вечером сделался очень весел. Наденька пела малороссийские песни, и он сам пел с живостью и очень забавно. Это было последнее посещение Гоголя нашего Абрамцева. 3 октября он уехал в Москву; он взял у нас лошадей ⟨...⟩ Наемный кучер наш был несколько груб и попивал иногда. Я встревожился и писал к Гоголю, спрашивая, не случилось ли чего-нибудь неприятного».

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову.
4 или 5 октября. Москва.

«Очень вас благодарю, бесценный друг Сергей Тимофеевич. Доехал я весьма благополучно; кучер не грубил. Здоровье мое идет понемногу, нервы еще успокоились не совсем, но, кажется, как будто покрепче. Работается крайне туго, и времени не хватает ни на что, точно крадет его лукавый. Как вы? Я боялся за вас в эти сырые солнечные дни, чтобы вы, сидя над прудом, не простудились. Пожалуйста, не поддайтесь сами на удочку, которою поддевает нас нынешняя обманчивая погода. Если будет тепло, то на следующей неделе, может быть, загляну к вам. Ольге Семеновне душевный поклон! Константина Сергеевича обнимаю, а с ним вместе и весь дом.

Ваш весь *Н. Гоголь»*.

Из заметок В. С. Аксаковой о Гоголе.

«Вскоре после того, как Николай Васильевич уехал от нас ⟨3 октября⟩, мы с маменькой и Надей также должны были ехать в Москву. Маменька искала квартиры для Оленьки, мы же все по обстоятельствам решились провести зиму в деревне. Ник⟨олай⟩ Вас⟨ильевич⟩ часто навещал нас по вечерам, всегда расспрашивал подробно о домах, которые мы смотрели, уговаривал маменьку нанять большой, для того чтоб батюшка и все могли переехать в город; но мы не могли этого

сделать, как сами того ни желали. «Хоть еще бы одну только зиму вы провели в Москве»,— сказал он один раз, и как больно вспоминаются эти слова теперь.

Часто по вечерам пела Наденька малороссийские песни. Ник⟨олай⟩ Вас⟨ильевич⟩ сам напевал, я клала на ноты. Один раз собралось у нас еще несколько малороссов, и все пели песни, Ник⟨олай⟩ Вас⟨ильевич⟩ был доволен. Наконец, маменька наняла домик, мы переехали. Ник⟨олай⟩ Вас⟨ильевич⟩ пришел к нам на новоселье во время нашего вечернего чая и принес хлеб для больной сестры. Даже в этот день уговаривал маменьку переменить дом на большой и все надеялся, что до рождества батюшка и все переедут в город».

Из письма В. С. Аксаковой к С. Т. Аксакову,
8 октября. Москва.

«...Вечером был Гоголь. Он мне показался веселее и бодрее, хотя говорит, что теплое время будит в нем сожаление, что он не в дороге. Первое его слово об вас, мой милый отесинька».

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову.
октябрь. Москва.

«Слава богу за все. Дело кое-как идет. Может быть, оно и лучше, если мы прочитаем друг другу зимой, а не теперь. Теперь время еще какого-то беспорядка, как всегда бывает осенью, когда человек возится и выбирает место, как усесться, а еще не уселся. Месяца через два мы, верно, с божьей помощью приведем в больший порядок тетради и бумаги, тогда и чтенье будет с большим толком и с большей охотой. Обнимаю вас от всей души. Здоровье приберегайте да и приготовляйтесь тоже понемногу к сооружению конторки для писанья, предоставляя работу, требующую силы, Конст⟨антину⟩ Сергеевичу, а все, что относится до аккуратности и мелкой отделки, себе.

Ваш весь *Н. Г.»*

С. Т. Аксаков. «Выписка... из моих кратких заметок».

Гоголь хотел непременно еще осенью побывать у нас; но не вдруг собрался, а потом захватила осенняя погода. Между тем, бодрость к нему воротилась, и он писал ко мне, что работает успешно ⟨...⟩

Мы переписывались довольно часто. Я подстрекал его тем, что мои «Записки ружейного охотника» скоро будут готовы. Гоголь отвечал весело, что от меня не отстанет, но это продолжалось недолго.

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову,
конец года. Москва.

«Поздравляю вас от всей души[256], что же до меня, то хотя и не могу похвалиться тем же, но если бог будет милостив и пошлет несколько деньков, подобных тем, какие иногда удаются, то, может быть, и я как-нибудь управлюсь.

Ваш весь *Н. Г.*»

Из заметок В. С. Аксаковой о Гоголе.

«Мы возвратились в деревню 9 ноября. На рождество маменька должна была опять ехать в Москву ⟨...⟩ К новому году маменька опять уже была в деревне. В Москве виделась несколько раз с Ник⟨олаем⟩ Вас⟨ильевичем⟩, и он один раз сказал маменьке на вопрос — скоро ли думает печатать: «Нет, не скоро, многого недостает, и если б теперь пришлось начинать, совсем бы иначе начал».

1852

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю,
9 января. Абрамцево.

«Здравствуйте, милый друг Николай Васильевич! Как поживаете? Я кое-как перебиваюсь. Посылаю с Иваном половину моих Записок, чтоб процензуровать и печатать; остальную половину пришлю через неделю.

Поздравляю вас с прошедшими праздниками и наступившим новым годом. 1852 год должен быть ознаменован появлением второго тома «Мертвых душ». Каково ваше здоровье и как идет дело? По слухам, кажется, недурно. Я не надеюсь скоро вас обнять. Не могу и подумать о зимней дороге и возке; да и жить мне в нашей квартире неудобно. Я уже дал доверенность Ивану по всем моим делам. Крепко вас обнимаю. Молю бога, чтоб он подкрепил ваши силы.

Душою ваш *С. Аксаков.*

9 января.

Все мои вас обнимают и поздравляют».

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову,
после 9 января. Москва.

«Очень благодарю за ваши строчки. Дело мое идет крайне тупо. Время так быстро летит, что ничего почти не успеваешь. Вся надежда

моя на бога, который один может ускорить мое медленно движущееся вдохновенье.

Ваш весь *Н. Г.*

Обнимаю вместе с вами весь дом ваш» *.

Из заметок В. С. Аксаковой о Гоголе.

«...Приехали опять в Москву 1852 года 19 января. Гоголь нас навещал через день до 4 февраля».

Из письма В. С. Аксаковой к М. И. Гоголь.

«После половины января ⟨1852 г.⟩ я с сестрою Надей поехала в Москву. Как приехали, дали знать Николаю Васильевичу. Он навестил нас, и мы нашли его довольно бодрым; но в это время занемогла жена Хомякова, сестра Языкова, с которым Николай Васильевич был так дружен. Всех очень встревожила и огорчила болезнь такой молодой женщины. Николай Васильевич навещал нас через день; хотя на короткое время, но приходил непременно узнать, что у нас делается, какие вести из деревни... Вы, может быть, слышали, что у нас как-то певались малороссийские песни, и Николай Васильевич сам их напевал для того, чтобы класть на ноты. Желая ему сделать приятное, сестра предложила ему заняться опять песнями. Хомяковой сделалось получше, и мы назначили день, чтобы собраться; но больной сделалось опять хуже, и накануне назначенного дня она скончалась, тридцати пяти лет, оставя семь маленьких детей и мужа, любившего ее всею душой. Эта кончина поразила и огорчила всех, но Николая Васильевича она особенно расстроила. Он был на первой панихиде и насилу мог остаться до конца. На другой день он был у нас и говорил, что его это очень расстроило. «Вот как!..» — сказал он, грустно здороваясь с нами; говорил, что боялся в тот день посылать узнавать о ее здоровье и только ждал извещения от Хомяковых, которое и не замедлило прийти. Спросил, где ее положат. Мы сказали: в Даниловом монастыре, возле Языкова Николая Михайловича. Он покачал головой, сказал что-то об Языкове и задумался так, что нам страшно стало: он, казалось, совершенно перенесся мыслями туда и оставался в том же положении так долго, что мы нарочно заговорили о другом, чтоб прервать его мысли. На другой день, во вторник, мы не видали Николая Васильевича; в этот день — похороны. На них

* На подлиннике рукою С. Т. Аксакова: «Последняя записка Гоголя в 1852 г.» — *Ред.*

он не был. На третий день, в середу, пришел он; мы его спросили, отчего он не был. Он сказал, что слишком был расстроен, не мог. Разговор, разумеется, все был о том же. Он сказал: «Я отслужил сам один панихиду по Екатерине Михайловне и помянул вместе всех близких, прежде отшедших; и она, как будто в благодарность, привела их всех так живо перед меня. Мне стало легче. Но страшна минута смерти».— «Почему же страшна? — сказал кто-то из нас.— Только бы быть уверену в милости божией к страждущему человеку, и тогда отрадно думать (о смерти)».— «Ну, об этом надобно спросить тех, кто перешел через эту минуту»,— сказал он. И в самом деле, с этих пор (после того, как отслужил панихиду) он сделался спокоен, как-то светел духом, почти весел; по крайней мере таким мы его видели во все последние раза. Через день опять он пришел, и именно утром. Братья наши разъехались: один в Курск, другой в деревню; к нам принесли корректуру Николаю Васильевичу. Я послала ему с запиской. Он приходит и говорит, что получил записку, но корректуры не получал; сказал, что только что от обедни. Это была пятница перед масленой; в субботу приходилось сретение, и потому поминальную субботнюю службу служили в пятницу. Видно было, что он находился под впечатлением этой службы; мысли его были все обращены к тому миру. Он был светел, даже весел, говорил много и все об одном и том же. Он говорил, что надобно посоветовать Хомякову читать самому псалтырь по своей жене, что это для него и для нее будет утешение и что тогда только имеет смысл чтение псалтыри по умершим, когда читают близкие; говорил о впечатлении смерти на людей, о том, возможно ли человека воспитать так с малых лет, чтоб он понимал значение жизни и смерти, чтобы смерть не поражала, как будто нечаянность. Говорил об одной знакомой старушке, которая по своему дурному нраву возбудила против себя негодование всех. Он говорил о том, как гнев опасен: раздражает других; хвалил очень своего приходского священника и всю службу в его приходе. День был прекрасный, ясный; мы спросили его, работал ли он сегодня. «Нет еще,— сказал он, улыбаясь,— вышел с утра из дома».— «Надобно вам теперь позаняться (сказали мы)». — «Надобно,— отвечал он,— но не знаю, как пойдет». В воскресенье он опять пришел после обедни пешком из своего прихода, несколько усталый; опять хвалил очень своего приходского священника и все служение; видно, что он был полон службой; говорил опять о псалтыри. Сказал также: «Всякий раз как иду к вам, прохожу мимо Хомякова дома и всякий раз, и днем и вечером, вижу в окне свечу, теплящуюся в комнате Екатерины Михайловны (там читают псалтырь)». Говорил также и о другом, о печатании, хотел прийти к нам держать корректуру, чтобы научить нас.

Мы сказали, что на другой день ждали брата из деревни. На другой день, это было в понедельник на масленой, после обеда мы сидели и разговаривали с приезжими из деревни; слышим, что кто-то взошел; оглядываемся: Николай Васильевич! Мы очень удивились и обрадовались ему. Он спросил, приехал ли брат и где он. Узнавши, что у Хомякова, сказал, что пойдет туда. В нем было видно несколько утомление; сказал, что скоро уйдет, что должен лечь ранее, потому что чувствовал какой-то холод ночью, который его, впрочем, не беспокоил. Мы сказали: «Это нервный!» — «Да, нервный»,— сказал он совершенно спокойно. Видно, что он сам не придавал тому значения; сказал, что пойдет сейчас. Мы простились, по обыкновению, и он ушел. Это было в последний раз. К Хомякову он не заходил. В середу его навестили; он сказал, что не совсем хорошо себя чувствует. Видя, что он не идет к нам несколько дней, я написала записочку, чтоб узнать о его здоровье: велели сказать, что не в состоянии отвечать. На другой день посылали узнать; сказали, что ему лучше».

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю,
11 февраля. Абрамцево.

«Зачем же вы хвораете, друг мой? Я третий день опять болен и начал лечиться земляничным корнем. Константин уехал с тем, чтоб побывать у нас. Крепко вас обнимаю.

Ваш душою *С. Аксаков.*

11 февр⟨аля⟩. [257]»

Из заметок В. С. Аксаковой о Гоголе.

«15 февраля 1852 года в пятницу Гоголь был уже в постели и так изменился в лице, что брат был поражен, взойдя к нему. Гоголь спросил: «Что у вас в деревне?» — Слава богу, все благополучно.— «Дай бог, чтоб было все благополучно»,— сказал Гоголь.

16, 17 числа мы справлялись о здоровье Гоголя; все говорили, что лучше, лучше, что он даже встает. 18 числа мне не удалось послать узнать о нем, но я не тревожилась, зная, что ему лучше, и была уверена, что через несколько времени он выздоровеет, но 19 числа утром, часов в 11, приехал к нам В. Бé [258]. Между прочими пустыми разговорами он вдруг сказал: «А знаете ли, вчера Гоголь совсем умирал, его причащали и соборовали». Мы были поражены. Как мы провели этот день, тяжело вспомнить; посылали к Гоголю, те же вести, даже хуже; говорили, что он с ума сошел и т. д. К вечеру, однако же, сказали, что ему лучше несколько. На другой день, однако же, плохие вести. Часов в 5, после вечерни, мне сказали, что нет никакой надеж-

ды. Тут приехал Иван с Самб⟨урскими⟩[259]. Весь этот вечер провели мы так смутно, что я почти не помню; на другой ⟨день⟩ утром сказали, что Гоголю лучше, но только сильная слабость; я догадалась, что это последнее, но только часа в два или три узнала я, что Гоголя уже не стало.

На первой панихиде вечером уже начался спор о Г⟨оголе⟩[260].

С. Т. Аксаков — К. С. и И. С. Аксаковым.
Абрамцево.

«Одним сыновьям.

23 февраля.

Ровно двое суток, как Гоголя нет на свете. Гоголь умер... Странные слова, совсем не производящие обыкновенного впечатления. Если вчера была во мне некоторая борьба частного моего чувства с общею потерею, то сегодня первое совершенно исчезло, так что я не могу отыскать его... и я совершенно подавлен общею бедою. Я не знаю, любил ли кто-нибудь Гоголя исключительно как человека. Я думаю, нет; да это и невозможно. У Гоголя было два состояния: творчество и отдохновение. Первое давно уже, вероятно вскоре после выхода «Мерт⟨вых⟩ душ», перешло в мученичество, может быть, сначала благотворное, но потом перешедшее в бесполезную пытку. Как можно было полюбить человека, тело и дух которого отдыхают после пытки? Всякому было очевидно, что Гоголю ни до кого нет никакого дела; конечно, бывали исключительные мгновения, но весьма редкие и весьма для немногих. Я думаю, женщины любили его больше и особенно те, в которых наименее было художнического чувства, как, например, Смирнова.— Вот до какой степени Гоголь для меня не человек, что я, который в молодости ужасно боялся мертвецов и которых не видывал до смерти ⟨собственных⟩ детей, я, постоянно боявшийся до сих пор несколько ночей после смерти каждого знакомого человека, не мог произвести в себе этого чувства во всю последнюю ночь! Несколько раз просыпался, думал о Гоголе, воображал его труп, лежащий в гробе со всем страшным для меня окружением, и, не чувствуя никакого страха, вскоре засыпал.

Я признаю Гоголя святым, не определяя значения этого слова. Это истинный мученик высокой мысли, мученик нашего времени и в то же время мученик христианства. Я это предчувствовал, и еще в 1844 году, когда он прислал нам подарки, написав прежде такое письмо, что я ждал второго тома «Мертвых душ», писал к обоим этим Петровичам[261] о своем отчаянии. Долго хохотали надо мною

эти ослы, прочитав в моем письме, что или художник погиб и выйдет святой отшельник, или Гоголь умрет в сумасшедшем доме. Слава богу, не сбылось последнее, но зато он ничего не произвел нового и умер. Правда, я предавался надежде, услышав первые главы «Мер⟨твых⟩ душ» второго тома, но с каким-то страхом и даже подшпоривая себя; притом ведь это было написано *прежде* и только воспроизведено или, может быть, только повторено даже в слабейшем виде. Нельзя исповедовать две религии безнаказанно. Тщетная мысль совместить и примирить их. Христианство сейчас задаст такую задачу художеству, которую оно выполнить не может, и сосуд лопнет. Жалею, что я не в Москве. Меня не расстроили бы все эти церемонии. Напротив, мне было бы весело увидеть все улицы около церкви, покрытые толпами людей... Но едва ли это будет?.. Десять лет молчания, шесть лет пропаданья из России, слухи об отчаянной болезни и даже смерти, наконец, похороны самого себя в известной книге — ослабили общее участие. Бедный, бедный страдалец Гоголь! Боюсь, что чувство жалости сильно мною овладеет; а притом это еще вопрос: как-то мы будем жить при мысли, что нет Гоголя. Прощайте, друзья мои. Крепко обнимаю и благословляю вас.

Отец и друг *С. Аксаков*».

Из письма С. Т. Аксакова к М. Г. Карташевской,
25 февраля. Абрамцево.

«Вот, милая Машенька, что случилось с нами: Гоголь умер... страшные слова! Умереть-то ему нельзя, потому что он вошел в жизнь нашу; но вот беда: он сжег все «Мертвые души». Вероятно, ханжа гр. Толстой, попы и монахи подвигнули его на это.

Нельзя служить двум владыкам; нельзя исповедовать двух религий: христианства и художества ⟨...⟩

Кажется, что дальше, то тяжелее этот удар».

Из письма И. С. Аксакова к И. С. Тургеневу,
26 февраля. Москва.

«Вчера мы похоронили Гоголя[262]. Точно будто хоронил самого себя; знаю, что Вы испытываете то же самое чувство, и потому мне захотелось писать к Вам. Какое тяжкое чувство сиротства овладело всеми, для которых в Гоголе заключалась вся надежда, все утешение, единственная светлая точка в России. Теперь все лопнуло. Надо начать жить *без Гоголя!* Он изнемог под тяжестью неразрешимой задачи, от тщетных усилий найти примирение и светлую сторону там, где ни то, ни другое невозможно,— в обществе. Двенадцать лет

трудился он над этой задачей, двенадцать лет писал он второй том «М⟨ертвых⟩ д⟨уш⟩», писал, переписывал, переделывал и все не считал оконченным, ни разу не мог удовлетвориться... И вот он сам сжигает их и, сжегши, умирает. Все это полно страшного, огромного смысла. Вся мученическая, художественная деятельность Гоголя, все его существование, писание «М⟨ертвых⟩ душ», сожжение их и смерть — все это составляет такое огромное историческое событие, с таким необъятным значением, от которого дух захватывает. «Ну, кажется, теперь больше хоронить некого»,— сказал нам вчера Грановский ⟨...⟩

Гоголь постоянно смотрел на свой труд как на подвиг; в нем не было двух жизней и двух лиц отдельных: писателя и человека, члена общества. Когда я присутствовал при чтении двух глав из второго тома «М⟨ертвых⟩ д⟨уш⟩», то мне делалось страшно: так каждая строка казалась написанною — кровью и плотью, всею его жизнью. Казалось, он принял в свою душу всю скорбь России. Как поразительны теперь слова, заканчивающие первый т⟨ом⟩ «М⟨ертвых⟩ д⟨уш⟩»: «Русь, Русь, куда несешься ты, дай ответ... Не дает ответа!..» И не нашел он ответа!

Все сожжено им, ничего не осталось!

P. S. Я уезжал из Москвы недели на 3 в Курскую губернию и вернулся только накануне смерти Гоголя».

Из письма С. Т. Аксакова к А. О. Смирновой,
28 марта. Абрамцево.

«С 21 февраля я погружен в одно занятие: я пишу или диктую о Гоголе. Я сначала писал без плана, что приходило мне в голову; но потом начал писать «Историю знакомства и переписки с Гоголем».



ПРИЛОЖЕНИЯ



С. Т. АКСАКОВ И ЕГО КНИГА «ИСТОРИЯ МОЕГО ЗНАКОМСТВА С ГОГОЛЕМ»

В 1959 г. советская общественность отметила две памятные даты: 150 лет со дня рождения Гоголя и столетие со дня смерти С. Т. Аксакова. Оба писателя при жизни были тесно связаны между собой; эта дружеская связь, длившаяся целое двадцатилетие, представляет собой значительный эпизод в истории русской литературы. Едва ли будет преувеличением сказать, что без Гоголя С. Т. Аксаков не написал бы «Семейную хронику» и «Детские годы Багрова-внука». В то же время С. Т. Аксаков, по словам Чернышевского, «лучше всех других друзей Гоголя знал его» [1], и этим определяется ценность его воспоминаний о Гоголе.

Встает вопрос, насколько верно, полно, правдиво воссоздает автор воспоминаний образ великого писателя. Надо сразу признать, что С. Т. Аксаков не вскрывает в публикуемой книге все общественное значение творчества Гоголя, не дает его полного анализа и оценки. Но автор и не ставил перед собой этой задачи; в своих мемуарах он занимает позицию не историка и литературоведа, а просто добросовестного современника, стремящегося сохранить для потомства все, вплоть до незначительных мелочей, из жизни великого человека. В этом плане воспоминания С. Т. Аксакова являются ценным документом, дающим в целом ряде моментов подлинную летопись жизни Гоголя. И поскольку личность Гоголя была необычайно сложной, часто загадочной для современников, значение такого подробного и обстоятельного рассказа о жизни писателя трудно переоценить. Однако, выдвигая на первый план как самую важную именно эту сторону воспоминаний С. Т. Аксакова, мы вовсе не хотим сказать, что он вообще не понял творчества Гоголя. Если бы это было так, публикуемая книга представляла бы неизмеримо меньший интерес для читателя. Между тем, нельзя не заметить, что в своих суждениях о Гоголе С. Т. Аксаков часто бывает очень близок к Белинскому. Обратимся к фактам.

---

[1] Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. III, М., Гослитиздат, 1947, стр. 525. В дальнейшем даются ссылки на это издание.

Раннее творчество Гоголя воспринимается в доме Аксаковых примерно так же, как воспринимал его тогда и Белинский. Интерес и любовь к Гоголю идут в дом Аксаковых из кружка Станкевича, членами которого были дружные между собой в студенческие годы Белинский и Константин Аксаков, старший сын автора воспоминаний. «В те года только что появлялись творения Гоголя; дышащие новою небывалою художественностью, как действовали они тогда на все юношество, и в особенности на кружок Станкевича!» — пишет К. С. Аксаков в «Воспоминании студентства» [2]. «Надобно сказать правду, что, кроме просвещенных любителей литературы во всех слоях общества, молодые люди лучше и скорее оценили Гоголя. Московские студенты все пришли от него в восхищение и первые распространили в Москве громкую молву о новом великом таланте»,— рассказывает сам С. Т. Аксаков в своей книге [3]. Таким образом, С. Т. Аксаков как бы присоединяется к той оценке раннего творчества Гоголя, которая была дана в кружке Станкевича.

Близость эстетических позиций С. Т. Аксакова и Белинского в 30-е годы по целому ряду отдельных вопросов очевидна. С. Т. Аксаков в этот период выступает в основном как театральный критик. Общее направление его статей, в которых он стремился к демократизации театра и прокладывал дорогу реализму на сцене, совпадает с направлением деятельности Белинского, сотрудничавшего с Аксаковым в «Молве» Надеждина. Аксаков и Белинский оказались солидарными в своих выступлениях против «аристократического» искусства Каратыгина, ярым защитником которого был Шевырев. Те же качества, за которые Аксаков боролся в сценическом искусстве,— демократизм, простота, естественность,— привлекли его и в первых произведениях Гоголя. Еще до появления статьи Белинского «О русской повести и повестях Гоголя», где достоинства повестей Гоголя сводятся к одному источнику: «Гоголь — поэт, поэт жизни действительной» [4], С. Т. Аксаков писал Надеждину: «Скажи Гоголю ⟨...⟩ что я от него без ума, что «Старосветских помещиков» предпочитаю даже «Тарасу», хотя многими местами в нем истинно очарован. К чорту гофманщину: он писатель действительности, а не фантасмагорий» [5].

В 1835 г., когда Гоголь собирался прочесть в доме Аксаковых раннюю редакцию «Женитьбы», в числе близких хозяину людей на чтение были приглашены Станкевич и Белинский.

---

[2] К. С. Аксаков. Воспоминание студентства. СПб., 1911, стр. 27.

[3] Наст. издание, стр. 13.

[4] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. I, М., Изд-во АН СССР, 1953, стр. 284. В дальнейшем даются ссылки на это издание.

[5] ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 3, № 47, л. 5.

Очень выразителен следующий отрывок из письма С. Т. Аксакова к жене, написанного из Петербурга 2 декабря 1839 г.: «Вчера заходил ко мне Белинский, но не застал дома. Очень хочется с ним отвесть душу и поговорить языком, понятным для нас! Я не могу выучиться здешнему пошлому разговору, особливо относительно искусства» [6]. С другой стороны, и сам Белинский пишет 10 января 1840 г. К. С. Аксакову, что уважает его отца, наряду с другими качествами, и за «верное чувство поэзии» [7].

Если стихийное тяготение С. Т. Аксакова к реализму сближало его в ряде эстетических вопросов с Белинским, то еще ближе к Белинскому был в те годы К. С. Аксаков. И поскольку С. Т. Аксаков в своих воспоминаниях неоднократно выражает солидарность с К. С. Аксаковым в отношении к творчеству Гоголя, мы считаем необходимым остановиться на этом вопросе.

Особенно четко близость эстетических взглядов К. С. Аксакова и Белинского в 30-е годы видна из писем К. С. Аксакова к М. Г. Карташевской, хранящихся в ИРЛИ [8]. В этих письмах отразились почти все вопросы, поставленные в те годы в статьях Белинского. Тут и отрицательное отношение к «светской» литературе, которую пропагандировал Шевырев, и уничтожающие отзывы о Бенедиктове (л. 13—13 об.), насмешки над актерской манерой Каратыгина (л. 65 об.), протест против гиперболизированного изображения страстей у французских романтиков, в частности у Гюго (л. 150), и т. д. Это как раз круг тех вопросов, по которым полемизировал с Шевыревым Белинский в своей программной для этого периода статье «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя“». Хотя эстетическая система, созданная в кружке Станкевича, была идеалистической, но,— во всяком случае, в отличие от программы Шевырева,— она требовала от писателя верности действительности, простоты и народности содержания. И в этом К. С. Аксаков, как показывают его письма, был вполне солидарен с Белинским.

Творчеству Гоголя в письмах К. С. Аксакова отведено очень большое место. Он ставит Гоголя выше всех писателей своего времени и настойчиво рекомендует его своей корреспондентке. О том, насколько близко стоял К. С. Аксаков в те годы в понимании Гоголя к Белинскому, говорят хотя бы следующие строки из его письма, где он отстаивает серьезность и гуманизм гоголевского творчества: «Если он ⟨Гоголь⟩ смеется над жизнию, над нелепостями, которые в ней

---

[6] «Литературное наследство», т. 56, М., Изд-во АН СССР, 1952, стр. 135.

[7] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. XI, стр. 435.

[8] ИРЛИ, фонд А. Н. Марковича № 173 10.604/XУС.1; в дальнейшем будут указываться только листы.

встречает, то поверьте, что в это время на сердце у него тяжело, и он, смеясь над людьми, любит их и огорчается их недостатками. Многие из его повестей оттенены грустию, которая прямо из души вырывается...» [9]

Разумеется, и С. Т. Аксаков был дальше всего от того, чтобы видеть в Гоголе просто «комического писателя». На многих страницах «Истории знакомства» он выражает возмущение по адресу людей, понимавших Гоголя таким образом. Примером может служить хотя бы следующий отрывок: «Влад⟨имир⟩ Ив⟨анович⟩ Панаев ⟨...⟩ старый мой товарищ, литератор и член Российской академии ⟨...⟩ вдруг спрашивает меня при многих свидетелях: «А что Гоголь? Опять написал что-нибудь смешное и неестественное?» Не помню, что я отвечал ему; но, вероятно, присутствие других спасло его от такого ответа, от которого не поздоровилось бы ему» [10]. Таким образом, в 30-е годы у Аксаковых еще не было расхождений с Белинским в оценке творчества Гоголя.

* * *

В начале 40-х годов, когда складывается славянофильская теория и К. С. Аксаков становится одним из вождей славянофильства, Аксаковы порывают с Белинским, о чем пишет и сам С. Т. Аксаков. Но даже в этот период С. Т. Аксаков в целом ряде моментов, связанных с Гоголем, оказывается гораздо ближе к Белинскому, чем к ортодоксальным славянофилам.

Постоянно называя себя сторонником «русского направления» и считая, по выражению С. М. Соловьева, славянофильство своим

---

[9] «Литературное наследство», т. 58, стр. 550. Здесь кстати будет остановиться на одной существенной ошибке, вкравшейся в публикацию аксаковских писем в названном томе «Литературного наследства», а оттуда перешедшей и в другие издания. Оставляя в стороне вопрос о концепции комментатора этих писем Л. Ланского, обратимся только к следующим его словам: «В ⟨...⟩ письме к Карташевской от 19/I—1837 г. К. С. Аксаков, сравнивая «Ревизора» с «Вечерами на хуторе близ Диканьки», отдает явное предпочтение последним, называя гениальную комедию Гоголя «безделицей»...» («Литературное наследство», т. 58, стр. 550). В действительности же в письме К. С. Аксакова речь идет не о «Ревизоре», а о повести Гоголя «Коляска», название которой Л. Ланский неправильно прочел как слово «комедия». Необходимо исправить и датировку письма. Оно относится не к 19, а к 16 января 1837 г. Что же касается содержания, то там сказано следующее: «Коляска Гоголя не то, что *Вечера на хуторе,* относительно сюжета только, но как произведение само по себе, оно совершенно; и в этой безделице Гоголь равен сам себе...» (л. 147). Таким образом, версию о пренебрежительном отношении К. С. Аксакова к «Ревизору» следует признать несостоятельной.

[10] Наст. издание, стр. 25.

«фамильным делом» [11], С. Т. Аксаков тем не менее разделял далеко не все взгляды своего старшего сына. «Воображаем мы ⟨...⟩ как горячо развивает Константин свои неизменные убеждения, непреложные и святые истины, в сущности и не прилагаемые ни к какому обществу, даже к православной русской общине!» [12] — пишет С. Т. Аксаков 21 марта 1850 г. сыновьям.

«Я человек совершенно чуждый всех исключительных направлений и люблю прекрасные качества в людях, не смущаясь их убеждениями, если только они честные люди,— писал С. Т. Аксаков о себе.— Может быть, это бесцветно, но я откровенно говорю это всем, и все так называемые славянофилы знают это очень хорошо» [13].

Тот же С. М. Соловьев в своих «Записках» называет убеждения С. Т. Аксакова «ультразападными». Это, конечно, уже парадокс, но он имеет под собой реальную почву. Знаменательно, например, одобрение С. Т. Аксаковым статьи Белинского «Взгляд на русскую литературу 1846 г.», содержащей в себе резкую критику славянофильства и даже выпад против диссертации К. С. Аксакова о Ломоносове.

В 1856 г. по поводу теоретических разногласий между К. С. Аксаковым и «западником» И. С. Тургеневым С. Т. Аксаков писал последнему: «Скажу ⟨...⟩ что я горбат больше в вашу сторону» [14].

Более практический, а потому во многом и гораздо более трезвым подход к жизни, чем у К. С. Аксакова, не позволял С. Т. Аксакову идеализировать «религиозное смирение» русского народа, являвшееся одним из основных положений славянофильства. Это видно хотя бы из его стихов, написанных накануне крестьянской реформы. С. Т. Аксакову представляются равно возможными два пути выхода народа из «тяжкого сна»: или «тихая свобода», или «топор», который порешит все недоумения народа [15].

Любовь к народной поэзии, к русской природе, к русскому языку, замечательным мастером которого был С. Т. Аксаков,— все это, как известно из произведений писателя, было присуще ему с самых молодых лет. И, конечно, именно эти причины вызвали его симпатию к «русскому направлению». Что же касается философско-исторических принципов славянофильства, то едва ли можно считать С. Т. Аксакова их поборником. Об этом говорят и приведенные высказывания, и, еще больше, сам склад натуры С. Т. Аксакова. Все

[11] «Записки Сергея Михайловича Соловьева» (Пг.), б. г., стр. 105.

[12] «И. С. Аксаков в его письмах», т. II. М., 1888, стр. 303. В дальнейшем даются ссылки на это издание.

[13] Письмо к В. П. Безобразову от 27 марта 1857 г.— «Новое время», 1901, № 9003.

[14] «Русское обозрение», 1894, № 12, стр. 584.

[15] С. Т. Аксаков. Собр. соч., т. II, М., 1909, стр. 486.

его художественное творчество, а также письма подтверждают, что С. Т. Аксаков был человеком с необыкновенно реальным, трезвым, эмпирическим подходом к окружающему миру, совершенно чуждым какому бы то ни было беспочвенному абстрагированию. А учение славянофилов, и как раз реакционная его сторона — желание изменить ход исторического развития России,— представляло собой абстракцию, лишенную самой элементарной реальной почвы. Поэтому мы считаем, что говорить о славянофильстве С. Т. Аксакова можно лишь с очень большой оговоркой, вкладывая в данном случае в этот термин не его общественно-политический смысл, а просто понимая под ним симпатию к русскому народу и поэтическим сторонам его жизни.

Совершенно очевидно, что и Гоголь видел в С. Т. Аксакове не приверженца какого-либо учения, а прежде всего писателя-реалиста, одаренного верным художественным вкусом. Из текста настоящей книги видно, как дорожил Гоголь критическими замечаниями С. Т. Аксакова. «Весь первый том „Мертвых душ" был прочитан ему автором по нескольку раз, с глазу на глаз, или в присутствии двух или трех близких к ним обоим людей,— пишет Ю. Ф. Самарин.— Читая, Гоголь беспрестанно взглядывал на Сергея Тимофеевича и следил за каждым выражением сочувствия или несочувствия на его лице» [16]. Самарин даже утверждает, что Гоголь после Пушкина ничьим мнением так не дорожил, как мнением С. Т. Аксакова. Если здесь и есть преувеличение, то во всяком случае постоянные чтения С. Т. Аксакову и очень серьезное отношение Гоголя к его замечаниям говорят сами за себя.

Хотя ограниченность общественно-политических взглядов и не позволила С. Т. Аксакову сделать из творчества Гоголя те выводы, которые сделал Белинский, в то же время его понимание гоголевских произведений мы не можем признать враждебным Белинскому. Оценки произведений Гоголя в воспоминаниях С. Т. Аксакова далеко не имеют той глубины, которой отличаются статьи Белинского, но они и не противоречат последним. Можно сказать, что художник-реалист, руководствуясь трезвым чувством жизненной правды, то в большей, то в меньшей степени приближается в своих суждениях к великому критику. Это подтверждается всем текстом воспоминаний С. Т. Аксакова.

Поражает своим совпадением со словами Белинского оценка, данная С. Т. Аксаковым повести Гоголя «Портрет». Интересно сопоставить их не только между собой, но и с оценкой Шевырева, который писал Гоголю 26 марта 1843 г.: «Во время болезни я прочел

[16] Ю. Ф. Самарин. Сочинения, т. I. М., 1877, стр. 263.

„Портрет", тобою переделанный. Ты в нем так раскрыл связь искусства с религией, как еще нигде она не была раскрыта»[17].

Совсем другое привлекает в повести такого читателя и критика Гоголя, как С. Т. Аксаков: «Не защища⟨ю⟩ ее фантастического содержания, ⟨но⟩ все дополнения, относящиеся к погибающему дарованию художника, привели меня в такой восторг, что слезы несколько раз прерывали мое чтение...»[18]

Напомним отзыв Белинского: «Мысль повести была бы прекрасна, если б поэт понял ее в *современном* духе: в Чарткове он хотел изобразить даровитого художника, погубившего свой талант, а следовательно, и самого себя, жадностию к деньгам и обаянием мелкой известности. И выполнение этой мысли должно было быть просто, без фантастических затей...»[19]

Совершенно очевидно, что, одобряя реалистическое решение темы гибели художника в буржуазном обществе и отрицательно относясь к фантастике повести, С. Т. Аксаков оказывается на одинаковых позициях с Белинским, а не с Шевыревым и его последователями.

В 1843 г., после выхода в свет «Сочинений» Гоголя, С. Т. Аксаков сообщает ему свое впечатление от «Театрального разъезда»: ««Разъезд», по обширному своему объему, по сжатости и множеству глубоких мыслей, по разумности цели пиесы, *по языку,* по благородству и высокости цели, по важности своего действия на общество,— точно выше других пиес»[20]. Для сравнения приводим отрывок из рецензии Белинского. Упомянув «Игроков», «Тяжбу», «Лакейскую» и «Отрывки», Белинский заключает: «Но выше их «Театральный разъезд после первого представления комедии»: в этой пьесе, поражающей мастерством изложения, Гоголь является столько же мыслителем-эстетиком, глубоко постигающим законы искусства, которому он служит с такою славою, сколько поэтом и социальным писателем ⟨...⟩ В пьесе этой содержится глубоко сознанная теория общественной комедии и удовлетворительные ответы на все вопросы, или, лучше сказать, на все нападки, возбужденные «Ревизором» и другими произведениями автора»[21].

В 1847 г., ознакомившись со статьей Белинского «Взгляд на русскую литературу 1846 г.» и его рецензией на предисловие Гоголя ко

---

[17] «Отчет имп. Публичной библиотеки за 1893 год». СПб., 1896. Приложение, стр. 6.

[18] Наст. издание, стр. 82.

[19] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VI, стр. 426.

[20] Наст. издание, стр. 97.

[21] В. Г. Белинский. Полн. собр., соч., т. VI, стр. 663.

второму изданию «Мертвых душ», С. Т. Аксаков писал: «С обеими статьями я совершенно согласен, они мне очень нравятся» [22].

Когда выходят в свет «Выбранные места из переписки с друзьями», именно от Белинского ждет С. Т. Аксаков критического выступления против этой книги, и, недовольный недостаточной резкостью статьи Белинского, появившейся в «Современнике», он правильно объясняет причины ее недостатков. Отзыв С. Т. Аксакова об этой статье, помещенный в настоящей книге, близок к словам самого Белинского, объяснявшего в письме к Боткину от 28 февраля 1847 г. причины слабых сторон своей статьи.

На первый взгляд С. Т. Аксаков может показаться антагонистом Белинского в оценке главного произведения Гоголя — поэмы «Мертвые души». Но такой вывод был бы слишком поспешным. С. Т. Аксаков, действительно, выступает в своих воспоминаниях как защитник брошюры своего сына о «Мертвых душах», но из текста тех же воспоминаний мы видим, что сам писатель воспринял поэму Гоголя не так, как К. С. Аксаков и другие славянофилы.

В отличие от Белинского славянофилы увидели в «Мертвых душах» не сатиру, а апофеоз русского народа. При этом нужно иметь в виду, что основными чертами русского народа славянофилы объявляли кротость и смирение, и тогда станет ясен реакционный смысл такого истолкования поэмы.

В своей брошюре «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души»» Константин Аксаков не опровергает правдивость образов и картин, созданных Гоголем, как это сделал, например, Шевырев; напротив: «Все, от начала до конца, полно одной неослабной, неустающей, живой жизни,— пишет он о «Мертвых душах».— Жизнь всюду, в каждой строке» [23]. И при всем том в брошюре полностью игнорируется самая суть поэмы — сатирическая картина русских крепостнических и бюрократических порядков. Фанатически поклоняясь «самобытному русскому началу», К. С. Аксаков считает, что в сравнении с внутренними силами русского народа (разумеется, в его славянофильском истолковании) темные стороны русской действительности ничтожны и не заслуживают серьезного внимания. К тому же нужно иметь в виду, что при зарождении славянофильства его отрицательное отношение к крепостному праву еще не нашло своего окончательного выражения. Поэтому в своем разборе «Мертвых душ» К. С. Аксаков опускает всю критическую сторону поэмы Гоголя и сосредоточивается исключительно на ее лирическом пафосе. Он сам заявляет, что не намерен входить в рассмотрение первого тома «Мертвых душ». Из него он только делает вывод: «Прочтя

[22] Наст. издание, стр. 165.
[23] С. А. Венгеров. Собр. соч., т. III. СПб., 1912. Приложение, стр. 223.

первую часть, чувствуешь необходимость второй ⟨...⟩ занимает ⟨...⟩ то, как разрешится самый эпос, как явится и предстанет полное, все создание, как разовьется мир, пред нами являющийся, мир, носящий в себе глубокое содержание ⟨...⟩» [24]. Зато окончанию поэмы и ее лирическим отступлениям посвящается восторженный анализ, представляющий собой чисто славянофильский апофеоз России и всего русского.

Дополнением и комментарием к брошюре К. С. Аксакова может служить письмо Ю. Ф. Самарина, написанное по поводу этой брошюры к ее автору. Самарин пишет, что если художник отразит в себе все явления жизни «самые смешные, мелкие и темные, и создаст из них не сатиру, а поэму, такую, как «Мертвые души», то мы должны принять ее как сильнейшее, как самое неопровержимое ручательство за жизнь, и все наши опасения, наш страх, наши жалобы должны умолкнуть» [25].

В этих словах выражена сущность славянофильского истолкования «Мертвых душ». Славянофилы не отрицают критической стороны поэмы, но, в противоположность Белинскому, не ставят ее в центр внимания. Для них важнее найти у Гоголя материал, который мог бы явиться подтверждением позитивной стороны славянофильской доктрины. С этой целью ими используются лирические отступления поэмы. И хотя славянофилы восторженно преклоняются перед Россией и русским народом, сущность этого преклонения реакционна, так как в понятие «русский народ» ими вкладывается в корне неверный, антиисторический смысл. Этим определяется и отрицательное значение брошюры К. С. Аксакова.

В оценке брошюры К. С. Аксакова и его полемики с Белинским С. Т. Аксаков, как видно из его воспоминаний, оказался далеко не на высоте. Ограниченность общественно-исторического кругозора не позволила ему понять всю принципиальную разницу этих двух точек зрения и осудить позицию своего сына. Но в нечеткости теоретических позиций С. Т. Аксакова был и свой положительный момент, потому что благодаря ей он не стал последовательным выразителем теории своего сына. Приняв ее декларативно, С. Т. Аксаков в своих конкретных высказываниях о «Мертвых душах» сплошь и рядом приближается к толкованию поэмы, данному Белинским. Так, например, он пишет в «Истории знакомства»: «Слова самого Гоголя утверждают меня в том мнении, что он начал писать «Мертвые души» как любопытный и забавный анекдот; что только впоследствии он узнал, говоря его словами, «на какие сильные мысли и глубокие яв-

[24] С. А. Венгеров. Собр. соч., т. III. Приложение, стр. 222.
[25] «Русская старина», 1890, № 2, стр. 425.

ления может навести незначащий сюжет»; что впоследствии, мало-помалу, составилось это колоссальное здание, наполнившееся болезненными явлениями нашей общественной жизни; что впоследствии почувствовал он необходимость исхода из этого страшного сборища человеческих уродов, необходимость — примирения... Возможно ли было исполнение такой задачи и мог ли ее исполнить Гоголь — это вопрос другой...»[26] Это, конечно, совсем не то истолкование «Мертвых душ», которое дано в брошюре К. С. Аксакова. К. С. Аксаков вообще как бы не замечает «уродов» в поэме Гоголя. Напротив, он пишет, например, что читатель смотрит на Манилова «без всякой досады, без всякого смеха, даже с участием»[27]. Еще менее он склонен анализировать «болезненные явления общественной жизни», отразившиеся в поэме, потому что их значение ему кажется несущественным. Все внимание К. С. Аксакова сосредоточено на лирических отступлениях поэмы. А из воспоминаний С. Т. Аксакова видно, что он воспринял эти отступления совсем не так, как его сын. «Я восхищался ими ⟨„Мертвыми душами“⟩ вместе с другими, а может быть, и больше других или по крайней мере многих; но восхищение мое было одностороннее»,— пишет С. Т. Аксаков Гоголю. «Признаю торжественно превосходство эстетического чувства в моем Константине! Он понял вас более меня ⟨...⟩ Что казалось восторженностью, доходившею до смешного излишества, то стало теперь истиною...»[28] Из этих слов мы видим, что лирический пафос Гоголя вначале вызвал у С. Т. Акса́кова упрек в «смешном излишестве», и только позднее, под влиянием сына, он принял славянофильское истолкование «Мертвых душ». Однако органически оно все-таки оставалось ему чуждым, поэтому, хотя в своей книге С. Т. Аксаков и защищает брошюру, написанную его сыном, фактически идей этой брошюры он нигде не проводит.

То же можно сказать и о втором томе «Мертвых душ». В отличие от К. С. Аксакова, возлагавшего на второй том все свои надежды, ибо там он предполагал увидеть «художественно выговоренную» «тайну русской жизни», С. Т. Аксаков в приводившихся выше словах намекает на невозможность «исхода» из того страшного «сборища человеческих уродов», которое Гоголь нарисовал в первом томе своей поэмы. Тот же смысл имеет и отрывок из письма С. Т. Аксакова к сыну: «Второму тому я не верю: или его не будет, или будет дрянь. Добродетельные люди — не предметы для искусства. Эта задача не-

[26] Наст. издание, стр. 48—49.
[27] С. А. Венгеров. Собр. соч., т. III, Приложение, стр. 226.
[28] Наст. издание, стр. 74.

исполнимая. Я надеюсь, что Гоголь примется за прежние *пустячки и побасенки:* тут я надеюсь опять наслаждаться творческими произведениями...» [29].

Эти слова приводят на память высказывание Белинского, писавшего в своей полемике с К. С. Аксаковым: Кто знает, впрочем, как раскроется содержание «Мертвых душ»?.. Именно, *кто знает?..* Много, слишком много обещано, так много, что негде и взять того, чем выполнить обещание, потому что того и нет еще на свете ⟨...⟩» [30]. Если С. Т. Аксаков и не заявляет, как Белинский, что русская действительность не дает материала для второго тома поэмы Гоголя, то чутьем художника он приближается к этой точке зрения.

То немногое, что нам известно о замечаниях, сделанных С. Т. Аксаковым на второй том «Мертвых душ», опять-таки убеждает в том, что С. Т. Аксаков подходил к поэме Гоголя не как теоретик славянофильства, а как художник-реалист. Одни критические заметки С. Т. Аксакова о втором томе «Мертвых душ» просто касаются дефектов изложения, недостатков стиля; другие же, относящиеся к системе художественных образов, говорят о чуткой реакции С. Т. Аксакова на всякую фальшь, отступление от жизненной правды. Так, он сразу подметил идеализированность образов Александра Петровича (воспитателя Тентетникова) и Улиньки и заявил об этом Гоголю.

Таким образом, и в отношении «Мертвых душ» можно сказать то же, что и о других произведениях Гоголя. С. Т. Аксаков как художник приветствовал правду в этих произведениях, хотя как теоретик и не поднимался до полного осознания того социального смысла, который они в себе несли. Выступая против всякой идеализации в искусстве, С. Т. Аксаков не «отрывал» Гоголя от Белинского (что ему неоднократно инкриминировали), а в конечном счете направлял его в ту же сторону, что и великий критик.

* * *

Рассматривая взаимоотношения С. Т. Аксакова и Гоголя, некоторые исследователи [31] упрекают С. Т. Аксакова в том, что он в своей книге приписывает Гоголю якобы не существовавшие у него настрое-

---

[29] Наст. издание, стр. 178.

[30] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VI, стр. 418.

[31] Мы имеем в виду предисловие С. И. Машинского к книге «Гоголь в воспоминаниях современников». М., 1952, и другие его работы, а также статью Э. Л. Войтоловской «О книге С. Т. Аксакова «История моего знакомства с Гоголем»— «Ученые записки ЛГПИ им. А. И. Герцена», т. 134. Л., 1957, стр. 129—152.

ния, близкие к славянофильским. Комментируя письмо Гоголя от 28 декабря 1840 г., С. Т. Аксаков пишет, что на Гоголя повлияли «русская атмосфера» Москвы и его старший сын, постоянно объяснявший Гоголю «все значение, весь смысл русского народа». Между тем, слова С. Т. Аксакова подтверждаются не только названным письмом Гоголя, но и двумя его письмами к К. С. Аксакову, не входящими в «Историю знакомства» [32]. Следы славянофильского влияния на Гоголя в свое время отметил еще Белинский, когда писал, что в некоторых местах «Мертвых душ» «автор слишком легко судит о национальности чуждых племен и не слишком скромно предается мечтам о превосходстве славянского племени над ними» [33]. Современный исследователь М. Гус, сопоставив римскую и московскую редакции «Мертвых душ», дал этому факту документальное подтверждение [34]. Таким образом, известное влияние славянофилов на Гоголя действительно имело место, а не было вымыслом С. Т. Аксакова.

Соотношение между взглядами Гоголя и идеями славянофилов получило очень точное, на наш взгляд, выражение в исследовании Д. Тамарченко «„Мертвые души" Н. В. Гоголя». Касаясь интересующего нас вопроса, автор пишет: «Гоголя увлекла мысль славянофилов, что русскому народу чужда вражда сословий и классов, раздирающая западный мир, что чувство любви и братского единения заложено в самой природе национального русского характера. Гоголя совершенно не интересовали политические выводы из этой идеи, которые делали сами славянофилы ⟨...⟩ Из признания особой славянской природы русского духа Гоголь сделал не политические, а нравственные выводы. Эта идея привлекла его как новая опора для его веры в возможность нравственного возрождения общества» [35]. Этот частный, локальный, если можно так выразиться, характер влияния славянофилов на Гоголя позволяет понять и его отрицательную реакцию на статью К. С. Аксакова о «Мертвых душах» и последующие идейные расхождения Гоголя с ним, о чем рассказывают документы, помещенные во второй части настоящей книги.

* * *

Во всей истории отношений Аксаковых с Гоголем наиболее ошибочно в исследовательской литературе трактовался последний период

[32] Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. XI. М., Изд-во АН СССР, 1952, № 186, 196. В дальнейшем даются ссылки на это издание.
[33] В Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VI, стр. 222.
[34] См.: М. Гус. Гоголь и николаевская Россия. М., 1957, ч. II, гл. 5.
[35] «Русская литература», 1959, № 2, стр. 27.

жизни Гоголя, период, когда писатель переживает страшный процесс, приведший его к «Выбранным местам из переписки с друзьями», а затем и к преждевременной смерти. В целом ряде литературоведческих работ Аксаковы обвиняются в губительном воздействии на Гоголя в это время. Им приписываются и идеи «Выбранных мест», от которых они якобы пытались «лицемерно отмежеваться»[36]. Во всех этих работах авторы подкрепляют свои слова известной цитатой Белинского, направленной против славянофилов: «Они подлецы и трусы, люди неконсеквентные, боящиеся крайних выводов собственного учения...»[37] Применять эти слова к С. Т. Аксакову нельзя прежде всего потому, что он, как уже говорилось, очень критически относился к славянофильским теориям. Сейчас известна почти вся переписка С. Т. Аксакова с Гоголем, начиная с его отъезда из России в 1842 г. до появления «Выбранных мест». Весь комплекс этих писем пэчатается в настоящем издании. Спрашивается, где же в аксаковских письмах те губительные идеи, которые заставили Гоголя написать его реакционную книгу? Прочтя все публикуемые документы, читатель вряд ли будет нуждаться в доказательстве того, что отрицательное отношение С. Т. Аксакова к религиозно-мистическим настроениям Гоголя и его книге «Выбранные места из переписки с друзьями» было искренним. Материалы аксаковской переписки не только неопровержимо убеждают в этом, но и дают основание считать, что именно С. Т. Аксаков первый из людей, близких к Гоголю, заметил у писателя возникновение этих новых настроений и первый выступил против них. Выражая Гоголю свой протест, С. Т. Аксаков писал ему 9 декабря 1846 г.: «Уже давно начало не нравиться мне ваше религиозное направление ⟨...⟩ *Пятый год* душа моя наполняется этими чувствами и убеждениями, и, наконец, переполнилась мера»[38].

Первым произведением Гоголя, обозначившим в его творчестве переход к реакционным настроениям, была статья «Об Одиссее, переводимой Жуковским». И вот как воспринял ее Аксаков: «Статья ваша ⟨...⟩ о переводе «Одиссеи», заключая в себе много прекрасного, в то же время показывала ваш непростительно ошибочный взгляд на то действие, какое вы ему предсказываете с самоуверенностью,

---

[36] Именно эти слова относит к С. Т. Аксакову С. И. Машинский в предисловии к книге «Гоголь в воспоминаниях современников» (стр. 29); ту же мысль проводит этот автор и в книге «Гоголь и революционные демократы» (М., 1953, стр. 112). Почти буквально то же пишет и И. Сергиевский в предисловии к публикации «Гоголь в неизданной переписке современников» («Литературное наследство», т. 58, стр. 540).

[37] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. XII, стр. 323.

[38] Наст издание, стр. 161, 164, курсив наш.— *Е. С.*

догматически. Похвалы ваши переводу превзошли не только меру, но и самую возможность достоинства такого труда. Одни видели в этом поэтическое увлечение, другие — пристрастие дружбы; но я знал вас хорошо: ясность и глубина взгляда и верность суда ⟨...⟩ были отличительными вашими качествами, и я, посреди похвал и восклицаний ваших друзей и почитателей, горестно молчал и, тоскуя, думал о будущем» [39].

Письма С. Т. Аксакова к самому Гоголю, Плетневу, сыну Ивану Сергеевичу, относящиеся к этому периоду, показывают, как напряженно он боролся за великого писателя. Больной, полуслепой, жестоко страдающий от своих недугов, С. Т. Аксаков напрягает буквально все свои нравственные и физические силы для того, чтобы увести Гоголя с гибельного пути, на который тот вступил. Рискуя потерять дружбу Гоголя, С. Т. Аксаков с полной прямотой высказывает ему свое негодование по поводу предисловия ко второму изданию «Мертвых душ», «Развязки «Ревизора»» и «Выбранных мест из переписки с друзьями». Разумеется, в своей критике «Выбранных мест» С. Т. Аксаков не смог так глубоко вскрыть реакционность этой книги, показать ее антинародной характер, как это сделал Белинский в своем знаменитом зальцбруннском письме к Гоголю. С. Т. Аксаков судил Гоголя не с революционно-демократических позиций, а с либеральных, но это не умаляет его заслуг в другой области: С. Т. Аксаков был единственным человеком из окружения Гоголя, пытавшимся бороться с его мистическими настроениями, начиная с самого их появления. Он сделал все, что мог, чтобы воспрепятствовать выходу в свет «Выбранных мест» и других реакционных произведений Гоголя. Письмо С. Т. Аксакова к сыну от 16 января 1847 г. показывает все благородство его поведения после того, когда, вопреки его усилиям, «Выбранные места» вышли из печати. Полагая, что вся Россия «даст Гоголю оплеуху», С. Т. Аксаков вначале не выступал против его книги публично и высказал свое мнение только самому автору. Узнав же, что книга нашла в определенных кругах почитателей, С. Т. Аксаков пишет: «Мы не можем молчать о Гоголе, мы должны публично порицать его» [40]. С. Т. Аксаков с полным правом мог сказать, что он сделал для Гоголя все, «что может сделать друг для друга, брат для брата и человек с поэтическим чувством — теряющий великого поэта» [41].

Читатель настоящей книги увидит из публикуемых документов и подлинную причину разрыва между С. Т. Аксаковым и Гоголем,

---

[39] Наст. издание, стр. 162.
[40] Наст. издание, стр. 166.
[41] Наст. издание, стр. 168.

имевшего место в 1847 г. В упоминавшихся уже работах С. И. Машинского этому разрыву дано объяснение, с которым мы не можем согласиться. В предисловии к книге «Гоголь в воспоминаниях современников» автор справедливо указывает, что непонимание и расхождение между Гоголем и Аксаковым начинается с 1842 г. и затем все возрастает, но в качестве причины здесь фигурирует не постепенный уход Гоголя в мистику, а реакционность «славянофилов» — Аксаковых. В обеих работах С. И. Машинский цитирует письмо Гоголя к А. О. Смирновой, где Гоголь отрицает существование подлинной дружбы между ним и Аксаковыми. Автор не учитывает, что бóльшая идейная близость Гоголя к Смирновой, чем к Аксаковым в этот период, говорит не в пользу Гоголя, а против него. Ведь Смирнова как раз принадлежала к числу тех лиц, которые тянули Гоголя к примирению с николаевской действительностью, к религии и мистицизму. Все это достаточно убедительно раскрывается документами, публикуемыми в настоящей книге, но особенно интересно в этом отношении одно из писем самой Смирновой к Гоголю. Это — письмо, написанное после ссоры с Аксаковыми, причиной которой были «Выбранные места из переписки с друзьями». Вот что пишет Смирнова об Аксаковых: «Они ⟨...⟩ говорят, что вашею книгою могут только прельщаться плаксивые ханжи, какова Новосильцева в Москве, и скотный двор Ф. Н. Глинки. Я себя считаю теперь на скотном дворе и в числе ханжей и, признаюсь, очень рада, что не обретаюсь в числе Аксаковых, живущих по неведомому мне закону любви, как и весь Словенский мир. Ненависть к власти, к общественным привилегиям, к высокому рождению и богатству — таковая-то отвлеченная страсть к идеальному русскому, таящемуся в бороде, — вот начало этих господ. Не коммунизм ли это со всеми своими гадостями, то есть коммунизм Жорж-Занда» [42].

При всей парадоксальности формулировок Смирновой она не так далека от истины, как это может показаться на первый взгляд. Приводим для сравнения отрывок из письма Белинского к Анненкову от 15 февраля 1848 г.: «Лучшие из славянофилов смотрят на народ совершенно так, как мой верующий друг ⟨М. А. Бакунин⟩; они высосали эти понятия из социалистов, и в статьях своих цитуют Жоржа Занда и Луи Блана» [43].

Из всего этого должно быть ясно, чтó обозначал собой отход Гоголя от Аксаковых и его сближение с Смирновой. Должно быть понятно и то, что если в 1847 г. С. Т. Аксаков пошел даже на разрыв

[42] Н. П. Барсуков. Жизнь и труды Погодина, кн. 8. СПб., 1894, стр. 536—537.

[43] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. XII, стр. 468.

с Гоголем, то причиной этого была не пресловутая славянофильская реакционность С. Т. Аксакова, а полная невозможность для реалистически мыслящего человека поддерживать отношения, основанные на почве религии и мистики.

Но не только поведение С. Т. Аксакова в период духовного кризиса Гоголя заслуживает глубокого уважения; в своей книге он сумел дать и вполне правильное объяснение этого кризиса. Анализируя причины, которые препятствовали работе Гоголя над вторым томом «Мертвых душ», С. Т. Аксаков пишет: «Я думаю, что Гоголю начинало мешать его религиозное направление ⟨...⟩ Гоголь, погруженный беспрестанно в нравственные размышления, начинал думать, что он может и должен поучать других и что поучения его будут полезнее его юмористических сочинений ⟨...⟩ В это время ⟨1843 г.⟩ сошелся он с графом А. П. Толстым, и я считаю это знакомство решительно гибельным для Гоголя. Не менее вредны были ему дружеские связи с женщинами, большею частью высшего круга» [44]. Далее С. Т. Аксаков делает заключение не только совершенно правильное, но замечательное своей близостью со словами Чернышевского.

В рецензии на изданные Кулишом «Сочинения и письма Н. В. Гоголя», касаясь того же вопроса, Чернышевский писал: «Если бы Гоголь жил в России, вероятно, он встречал бы людей, противоречащих ему во мнении о методе, им избранной ⟨...⟩ Но он жил за границею в обществе трех, четырех людей, имевших одинакие с ним понятия об авторитетах, которыми вздумал он руководствоваться ⟨...⟩ Этим знакомствам надобно приписывать сильное участие в образовании у Гоголя того взгляда на жизнь, который выразился «Перепискою с друзьями». По всем соображениям, особенно сильно должно было быть в этом случае влияние Жуковского» [45].

И вот для сравнения строки С. Т. Аксакова: «Все это наделала продолжительная заграничная жизнь вне отечества, вне круга приятелей и литераторов, людей свободного образа мыслей, чуждых ханжества, богомольства и всяких мистических суеверий. Впрочем, я считаю, что ему также была очень вредна дружба с Жуковским ⟨...⟩» [46].

Бесспорно, что, говоря о людях, общество которых было бы полезно Гоголю, С. Т. Аксаков подразумевал не тех, кого имел в виду Чернышевский. Мы не закрываем глаза на отрицательное отношение Аксаковых к Белинскому, но, по сравнению с заграничными друзьями Гоголя, и атмосфера аксаковского дома была несравненно более свободной и демократичной. При всей нелюбви Аксаковых к Белин-

[44] Наст. издание, стр. 118.
[45] Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. IV, стр. 638.
[46] Наст. издание, стр. 119.

скому он все-таки был в их глазах одной из главнейших фигур тогдашней общественной жизни. С. Т. Аксаков, как уже говорилось, неоднократно выражал свое согласие со статьями Белинского, касавшимися не только эстетических, но и социальных проблем. Не кто иной, как И. С. Аксаков, является автором широко известных слов: «Много я ездил по России: имя Белинского известно каждому сколько-нибудь мыслящему юноше, всякому жаждущему свежего воздуха среди вонючего болота провинциальной жизни. Нет ни одного учителя гимназии в губернских городах, которые бы не знали наизусть письма Белинского к Гоголю ⟨...⟩ «Мы Белинскому обязаны своим спасением», — говорят мне везде молодые честные люди в провинциях» [47]. И хотя в том же письме выражается несогласие со взглядами Белинского, его источником являются совсем не те охранительные взгляды, которых придерживались заграничные друзья Гоголя. Это видно из того места письма, в котором И. С. Аксаков объясняет причину огромного авторитета Белинского: «Всякое резкое отрицание нравится молодости, всякое негодование, всякое требование простора, правды принимается с восторгом там, где сплошная мерзость, гнет, рабство, подлость грозят поглотить человека, осадить, убить в нем все человеческое» [48]. Таких слов, конечно, ни Толстые, ни Смирнова написать не могли.

Если же обратиться к представителю ортодоксального славянофильства в аксаковской семье — К. С. Аксакову, то окажется, что он занимал в славянофильском лагере наиболее радикальные позиции. К. С. Аксаков не только был противником крепостного права, но и требовал, чтобы после освобождения крестьяне сами определяли формы своего общественного устройства. Обсуждая вопросы предстоящей эмансипации, К. С. Аксаков писал в 1857 г. Хомякову: «Дворянство будет отставлено от должности тюремщика, — с чем мы его искренно поздравляем,— но крестьянин не будет выведен из тюрьмы; из одной тюрьмы он только попадает в другую...» [49] К. С. Аксаков гневно обрушился на тех славянофилов — деятелей освобождения, которые и после реформы оставляли крестьян под опекой либерального помещика. «Административное отделение посвятило целый большой доклад сельским сходам и подробному их определению,— писал К. С. Аксаков, ознакомившись с проектами освобождения.— Здесь оно наложило руку на Мир, на душу русского народа. Но страннее всего то, что оно, сковывая и спутывая Мир и даже извращая всю его природу и все его существо, наивно уверяет, что оно дает какое-

[47] «И. С. Аксаков в его письмах», т. III, стр. 290.
[48] Там же.
[49] «Русь», 1883, № 3, стр. 34.

то самоуправление. Хорошо самоуправление! Оно напоминает знаменитое газетное изречение: *«привязан на полной свободе»*. Но про Мир, обработанный Административным отделением, нельзя даже и этого сказать; это выражение является крайне либеральным в сравнении со скованным по рукам и ногам, изломанным, изуродованным, обезображенным Миром» [50].

Оценивая эту позицию К. С. Аксакова, Герцен писал в 1861 г.: «Укором раздается из свежей могилы этот голос горячей любви к народу русскому в то время, когда опричники *освободителя* секут Россию, расстреливают Россию. Сколько страданий готовилось Аксакову, если б он не умер! Он не вынес бы всекаемого *освобождения*, мы уверены в этом — он бросился бы в ряды крестьян...» [51]

После этих слов вряд ли нужно доказывать, как далек был К. С. Аксаков в вопросе о крепостном праве, т. е. в основном политическом вопросе интересующей нас эпохи, от тех взглядов, которые выражены в «Выбранных местах из переписки с друзьями», в частности, в главе «Русскому помещику». Письмо К. С. Аксакова к Гоголю с критикой «Выбранных мест», публикуемое в настоящей книге, и слова С. Т. Аксакова, относящиеся к тому же вопросу: «Костя строже нас обоих к Гоголю» [52] — служат дополнительным подтверждением.

Все изложенное проливает свет и на характер тех «стычек», которые происходят у Гоголя с К. С. Аксаковым после его возвращения в Россию в 1848 г. и которые лишний раз доказывают, что социальные и религиозные идеи Гоголя в последний период его жизни никак не были связаны с славянофильством и культивировались отнюдь не Аксаковыми.

* * *

Документы, относящиеся к последнему периоду жизни Гоголя, после его возвращения в Россию, важны как свидетельство напряженной работы обоих писателей, их тесного творческого контакта, обогащавшего обе стороны, и, наконец, эти документы очень интересны тем, что передают нам непосредственные впечатления современников от не дошедших до нас глав второго тома «Мертвых душ».

В этот период Гоголь преимущественно работает над вторым томом своей поэмы, С. Т. Аксаков — над «Записками ружейного охотника». Как показывают помещенные в книге письма, эта рабо-

[50] К. С. Аксаков. Замечания на новое административное устройство крестьян в России. Лейпциг, 1861, стр. 49—50.

[51] А. И. Герцен. Полн. собр. соч., т. XV. М., Изд-во АН СССР, 1958. стр. 128—129.

[52] Наст. издание, стр. 168. Подразумеваются автор и В. С. Аксакова.

та приняла форму дружеского соревнования двух писателей. «Жду вас с нетерпением: хочу слушать и читать», — пишет С. Т. Аксаков Гоголю 19 марта 1851 г. [53] «Готовьте своих птиц, а я приготовлю вам душ», — пишет в свою очередь Гоголь С. Т. Аксакову 20 сентября 1851 г. [54]

Говоря о благотворном воздействии обоих писателей друг на друга, надо, конечно, иметь в виду, что степень и формы этого воздействия в каждом случае были различны. Влияние Гоголя на С. Т. Аксакова было огромно. Собственно, оно-то и определило появление реалистических произведений С. Т. Аксакова. Реализм Гоголя был для С. Т. Аксакова, по выражению его сына, тем рубежом, «перейдя через который С⟨ергей⟩ Т⟨имофееви⟩ч растерял всех своих литературных друзей прежнего псевдоклассического нашего литературного периода. Они остались по *сю сторону Гоголя»* [55]. Гоголь же побуждает С. Т. Аксакова приняться за литературный труд. 28 августа 1847 г. Гоголь писал С. Т. Аксакову: «Мне кажется, что, если бы вы стали диктовать кому-нибудь воспоминания прежней жизни вашей и встречи со всеми людьми, с которыми случилось вам встретиться, с верными описаниями характеров их, вы бы усладили много этим последние дни ваши, а между тем доставили бы детям своим много полезных в жизни уроков, а всем соотечественникам лучшее познание русского человека» [56].

Воспоминания С. Т. Аксакова легли в основу его книг «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука», но еще раньше появились его охотничьи книги — «Записки об уженье» и «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», из которых отчетливо видно, что С. Т. Аксаков как пейзажист совершенствовался под влиянием Гоголя. Пейзаж вышедших в 1847 г. «Записок об уженье» еще довольно обобщенный и отличается большой эмоциональностью. В ряде случаев он прямо вызывает ассоциации с романтическим пейзажем «Вечеров на хуторе». Прослушав же в 1850 г. вторую главу из второго тома «Мертвых душ», С. Т. Аксаков пишет сыну: «Что за картины природы без малейшей картинности... Нет, я уж не стану описывать вод так, как хотел было, а расскажу их просто словами охотника, а не поэта» [57]. И в «Записках ружейного охотника», вышедших в 1852 г., мы находим уже точный, реалистический пейзаж, приемы которого были, очевидно, определены описаниями природы в не дошедшей до нас рукописи Гоголя.

[53] Наст. издание, стр. 212.
[54] Наст. издание, стр. 215.
[55] «Русь», 1880, № 5, стр. 14.
[56] Наст. издание, стр. 185.
[57] Наст. издание, стр. 205.

Гоголь очень высоко оценил охотничьи книги С. Т. Аксакова. «Однажды он,— пишет о Гоголе Л. И. Арнольди,— пришел к нам от С. Т. Аксакова, где автор «Семейной хроники» читал ему свои «Записки ружейного охотника». Это было года за два до их появления в свет. Гоголь говорил тогда, что никто из русских писателей не умеет описывать природу такими сильными, свежими красками, как Аксаков» [58].

В письме к А. О. Смирновой от 19 апреля 1852 г. С. Т. Аксаков приводит перечень тех мест в «Записках ружейного охотника», на которые Гоголь обращал особое внимание: «*Болота* и *бекас* ему особенно нравились ⟨...⟩ Ему также нравились следующие места в птицах: *кулички, зуек и воробей;* в описании *гуся* — страницы 168, 169 и 170 ⟨по первому изданию 1852 г.— *Е. С.*⟩; описание зоркости и проворства утки-*гоголя*, причем он сказал: «Вот какой проворный мой соименник». В *журавле* замечены им 250-я и 251-я страницы; всего более хвалил он голубей: *витютина* и *горлинку* и смеялся, слушая описание *тетеревиного тока* (страница 355); из последней половины моих Записок он более ничего не слыхал и не читал, но первую, после моего чтения, брал к себе на дом. Вторую главу «Мертвых душ» прочел он мне, выслушав наперед *гаршнепа*, а третью — после *куличка-поплавка* ⟨...⟩» [59]

В свою очередь С. Т. Аксаков знакомил Гоголя не только с жизнью природы, повадками птиц и зверей, но и с бытом отдаленных губерний России, который Гоголь так упорно изучал, работая над вторым томом «Мертвых душ». «Я помню, с каким напряженным вниманием, уставив в него глаза, Гоголь по целым вечерам вслушивался в рассказы Сергея Тимофеевича о заволжской природе и о тамошней жизни»,— пишет Ю. Ф. Самарин [60].

В дошедших до нас отрывках второго тома «Мертвых душ» только одно место носит бесспорные следы заимствования у С. Т. Аксакова — это описание птиц в первой главе [61]. Но, по-видимому, таких случаев было гораздо больше. Об этом говорят записные книжки Гоголя, куда занесено большое количество материалов, полученных от С. Т. Аксакова. Кстати сказать, эти записи заставляют поставить под сомнение датировку записных книжек, отнесенных в Полном собрании сочинений Гоголя к первой половине 40-х годов, так как текстуальная близость некоторых заметок к «Запискам ружейного охотника» наводит на мысль, что они могли быть записаны Гоголем только

61 См.: Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. VII, стр. 21.
59 «Русский архив», 1896, кн. I, стр. 155—156.
60 Ю. Ф. Самарин. Сочинения, т. I. М., 1877, стр. 263.
61 См.: Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. VII, стр 21.

в период работы С. Т. Аксакова над этой книгой. Мы имеем в виду заметку Гоголя «В Оренбургской губернии» [62], очень близкую к первым страницам главы «Степь» в книге С. Т. Аксакова [63], и перечень птиц в другой записной книжке Гоголя [64], где названы, почти в том же порядке, что и у Аксакова, все пернатые герои «Записок ружейного охотника».

Наводит на мысль о заимствовании у С. Т. Аксакова и запись Гоголя «Разделения зайца по возрастам» [65], терминология которой совпадает с названиями, приведенными у С. Т. Аксакова в главе «Зайцы» [66].

В той же записной книжке Гоголя и многие другие сведения о жизни природы могли быть почерпнуты у С. Т. Аксакова (голоса зверей и птиц, названия звериных следов, классификация лесов и др.), хотя не представляется возможным установить это с полной достоверностью.

Привлекает к себе внимание запись «Рыбные ловли» [67]. Уже одно заглавие этой заметки невольно ассоциируется с книгой С. Т. Аксакова, и она действительно имеет много общего с «Записками об уженье». Как примеры для сравнения могут быть названы «Блесна» у Гоголя и глава с тем же названием у Аксакова [68], «Рачня» у Гоголя и «Раки» у С. Т. Аксакова [69]. Но есть и неполные соответствия. Так, описание ловли с острогой, имеющееся у Гоголя, не выделено как особая тема в книге С. Т. Аксакова; о ней говорится попутно, в нескольких словах, в главе «Форель». Гоголевская запись стоит ближе к статье Аксакова «Охота с острогою», вошедшей в «Рассказы и воспоминания охотника» [70]. Не выделена у Аксакова особо и «ловля на дух», записанная Гоголем. О ней Аксаков говорит вскользь в главе «О рыбах вообще», которая появилась только во втором издании аксаковской книги — «Записки об уженье рыбы» (М., 1854 г.). Из всего этого можно заключить, что запись Гоголя была сделана не по книге Аксакова, а в результате личных бесед с ним и, очевидно, не сразу после прочтения «Записок об уженье». Последний вывод делается на

---

[62] Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. VII, стр. 347—348.

[63] См.: С. Т. Аксаков. Собр. соч., т. IV. М., Гослитиздат, 1956, стр. 307—310. В дальнейшем даются ссылки на это издание.

[64] Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. IX, стр. 550—552.

[65] Там же, т. VII, стр. 324.

[66] См.: С. Т. Аксаков. Собр. соч., т. IV, стр. 449.

[67] Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. VII, стр. 334—335.

[68] См.: С. Т. Аксаков. Записки об уженье. М., 1847, стр. 162—163.

[69] См. там же, стр. 158—160.

[70] См. С. Т. Аксаков. Собр. соч., т. IV, стр. 531—533.

основании письма В. С. Аксаковой к отцу от 11 сентября 1848 г., в котором приводится одобрительный отзыв Гоголя о книге Аксакова, но при этом сообщается, что «предмет» книги Гоголя совсем не интересовал [71]. Можно предположить, что сведения о рыбной ловле понадобились Гоголю в связи с описанием деревни Петуха во втором томе «Мертвых душ», где все население занималось этим промыслом. Все изложенное показывает, как благотворна была для Гоголя дружба с таким прекрасным знатоком природы и быта России, каким был С. Т. Аксаков.

Наконец, последнее по счету, но не по важности — это те данные о втором томе «Мертвых душ», которые дошли до нас в аксаковских документах. Эти сведения касаются первых четырех глав второго тома, прослушанных Аксаковым. Они довольно противоречивы, но сама эта противоречивость, на наш взгляд, интересна и многозначительна. «Талант ваш не только жив, но он созрел»,— пишет С. Т. Аксаков Гоголю, прослушав первую главу [72]. Восхищение С. Т. Аксакова первой главой второго тома «Мертвых душ» понятно: она почти полностью посвящена описанию «бедности и несовершенства» русской жизни.

Вторая глава производит на С. Т. Аксакова еще более сильное впечатление, о чем он сообщает в письме к сыну от 20 января 1850 г. Это письмо позволяет заключить, что во втором томе «Мертвых душ» Гоголь шел по линии более многогранной разработки характеров, чем в первом томе своей поэмы. «Так раскрывается духовная внутренность человека, что для всякого из нас, способного что-нибудь чувствовать, открывается собственная своя духовная внутренность»,— пишет Аксаков [73]. В том же письме С. Т. Аксаков восхищается гоголевским пейзажем, о чем уже говорилось выше. Художественное совершенство этого пейзажа отмечает в своих воспоминаниях и Л. И. Арнольди [74]. Из этих свидетельств выясняется, что какие-то стороны гоголевского реализма получили во втором томе «Мертвых душ» еще более глубокое развитие. Но, с другой стороны, моралистические тенденции, свойственные Гоголю в этот период, неизбежно должны были сказаться отрицательным образом, и мы это чувствуем уже по замечаниям, сделанным С. Т. Аксаковым на первые главы. Еще яснее С. Т. Аксаков говорит об этом в письме к сыну от 3 марта 1852 г.: «Она ⟨А. О. Смирнова⟩ рассказала мне кое-что в дальнейшем развитии «Мерт⟨вых⟩ д⟨уш⟩», и по слабости моего ума на все легла

71 См. «Литературное наследство», т. 58, стр. 706.
72 Наст. издание, стр. 200.
73 Наст. издание, стр. 204—205.
74 См.: «Гоголь в воспоминаниях современников». М., 1952, стр. 486.

тень ложных их убеждений» [75]. Неровностью художественного уровня третьей и четвертой глав, по-видимому, объясняется и противоречивость их оценки С. Т. Аксаковым.

Сразу же после прослушивания третьей главы Аксаков сообщает сыну: «До того хорошо, что нет слов» [76], но впоследствии он пишет о том же гораздо сдержаннее. Уже в 1852 г. в письме «Одним сыновьям» С. Т. Аксаков писал: «Правда, я предавался надежде, услышав первые главы «Мер⟨твых⟩ душ» второго тома, но с каким-то страхом и даже подшпоривая себя...» [77] В «Кратких сведениях», написанных еще позже, С. Т. Аксаков ограничивается простой констатацией факта: «До отъезда своего в Малороссию он ⟨Гоголь⟩ прочел третью и четвертую главы» [78]. Надо думать, что сухость и краткость этого сообщения вызваны позднейшей переоценкой. Так понимал это и Н. С. Тихонравов, писавший: «С. Т. Аксаков приходит в восторг, прослушавши две первые главы. В нем укрепляется уверенность, что «талант Гоголя не погиб». Эта уверенность вызвана только *двумя начальными главами,* в которых нет и помину о Костанжогло, Муразове, генерал-губернаторе. О впечатлении, которое произвели на него третья и четвертая глава, С. Т. Аксаков умалчивает. Дальнейших глав своего произведения Гоголь и не читал ему» [79].

Преклоняясь перед Гоголем-художником, С. Т. Аксаков умел быть беспристрастным, говоря о его сильных и слабых сторонах. Поэтому воспоминания и письма С. Т. Аксакова, отражающие (с большей или меньшей полнотой) всю творческую биографию Гоголя, позволяют нам лучше узнать одну из самых важных страниц в истории русской литературы.

Е. Смирнова.



---

[75] Наст. издание, стр. 206.
[76] Наст. издание, стр. 207.
[77] Наст. издание, стр. 223.
[78] С. Т. Аксаков. Собр. соч., т. III, стр. 375.
[79] Н. В. Гоголь. Сочинения, изд. 10, т. III, М., 1889, стр. 576.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Я печатно предлагал всем друзьям ∾ написать вполне искренние рассказы своего знакомства с ним...— В статье «Несколько слов о биографии Гоголя» («Московские ведомости», 21 марта 1853 г.).

[2] ...даже сам биограф его...— Пантелеймон Александрович Кулиш (1819—1897). Первый биограф Гоголя, автор работ «Опыт биографии Н. В. Гоголя...» (СПб., 1854) и «Записки о жизни Н. В. Гоголя...» (СПб., 1856). П. А. Кулиш использовал в своих работах устные сообщения С. Т. Аксакова и специально для него написанные «Краткие сведения и выписки из писем для биографии Гоголя» (ИРЛИ, ф. 652, оп. 2, № 83—84). В письме от 29 апреля 1888 г. П. А. Кулиш рассказывал об этом В. И. Шенроку следующее: «Ни в одном ведомстве не работали так честно над составлением доклада, как в ведомстве Плетнева и Аксаковых (Сергея и Константина) ⟨...⟩ у Аксаковых я долго жил для усовершенствования моего труда ⟨...⟩» (Гос. публ. б-ка УССР, отд. рукописей, Гоголиана, 347). В рецензии на «Записки» П. А. Кулиша Н. Г. Чернышевский называет материалы, полученные от С. Т. Аксакова, неоценимыми по важности (Полн. собр. соч., т. III. М., 1947, стр. 525).

[3] Записки мои потеряют...— «Вступление» осталось неотредактированным, печатается по черновику, и смысл его последней фразы может быть понят только из контекста. С. Т. Аксаков, очевидно, хотел сказать, что «Записки» потеряют интерес, если печатанье их будет отложено.

[4] ...весною, когда мы жили в доме Слепцова на Сивцевом Вражке...— Первая встреча С. Т. Аксакова с Гоголем произошла в начале июля 1832 г., в доме, который сохранился до настоящего времени (Б. Афанасьевский пер., № 12).

[5] ...Погодин привез ко мне ∾ Гоголя.— Михаил Петрович Погодин (1800—1875), историк и публицист, с конца 30-х годов XIX в. близкий идеологам «официальной народности»; один из ближайших друзей Гоголя и Аксакова.

[6] ...для чтения вслух моей жене...— Ольга Семеновна Аксакова, урожд. Заплатина (1793—1878), дочь суворовского генерала. Большая семья и хозяйство не мешали ей интересоваться вопросами литературы. В письме к сыновьям о смерти Пушкина О. С. Аксакова говорит: «Нас поразила смерть Пушкина так, что мы не опомнимся, и вся Россия, верно, станет горько сожалеть о нем. Несчастная литература!» (ЛН, т. 58, стр. 140). В 1849 г., получив от И. С. Аксакова характеристики нравов уездного города (Рыбинска), О. С. Аксакова писала: «Как же назад тому 13 лет обвиняли Гоголя за *Ревизора,* что нет и не может быть такого города и таких людей, а теперь это *у тебя в очию* совершается» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, № 39, л. 64).

[7] Все мои гости ∾ П. Г. Фролов, М. М. Пинский и П. С. Щепкин...— Петр Григорьевич Фролов, близкий знакомый С. Т. Аксакова, связанный со славянофильскими кругами.

Матвей Михайлович Карниолин-Пинский (1796—1866) в 20-х годах XIX в. был преподавателем словесности и декламации в театральной школе, откуда, очевидно, и идет его знакомство с С. Т. Аксаковым; впоследствии — сенатор. Их дружеские отношения продолжались до конца жизни С. Т. Аксакова (ум. в 1859), о чем свидетельствует их неизданная переписка.

Павел Степанович Щепкин (1793—1836), профессор математики Московского университета, один из ближайших друзей С. Т. Аксакова.

8 ...прибежал Константин...— Константин Сергеевич Аксаков (1817—1860), старший сын С. Т. Аксакова. Окончил Московский университет, во время пребывания в котором принадлежал к кружку Станкевича и сблизился с Белинским. В 1840 г., приняв созданную А. С. Хомяковым и И. В. Киреевским славянофильскую теорию, резко разошелся с Белинским и впоследствии стал одним из вождей славянофильства. Художественное творчество К. С. Аксакова (стихи, драмы) отражает идеи, проводившиеся им в публицистике.

9 У нас остались портреты...— Очевидно, Аксаков говорит о литографии А. Г. Венецианова 1834 г., которая и помогла ему через двадцать лет дать точное описание наружности Гоголя в 30-е годы.

10 ...к Загоскину...— Михаил Николаевич Загоскин (1789—1852), исторический романист и драматург. Находился в дружеских отношениях с С. Т. Аксаковым, что не мешало последнему критически оценивать его творчество и личность. В 1846 г. С. Т. Аксаков писал И. С. Аксакову: «Загоскин читал новый выпуск своих «Москвичей»: плохо, так плохо, особенно, когда он рассуждает, а не рассказывает. Мысли детские, допотопные, невежество непостижимое и неимоверная дерзость: желая уничтожить Гоголя, пишет о нравах в провинции, сидя на своем чердаке в Денежном переулке! ⟨...⟩ При всем усилии, я не мог его похвалить. Это было особенно странно потому, что поутру он не находил слов, как похвалить мою статью, и кончил словами: «Ну, да я боюсь больше хвалить, чтоб ты из учтивости не стал меня хвалить ужо ввечеру». Я отвечал ему: «Ну, брат, на это не надейся»,— оно так и случилось» (12—13 июня 1846 г.— ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, № 10, л. 29—30).

11 ...даже глупости смешной...— цитата из «Евгения Онегина».

12 ...Гоголь опять был в Москве проездом...— Вторичное пребывание Гоголя в Москве относится к 18—23 октября 1832 г. (см. ПСС АН, т. X, стр. 22).

13 ...он познакомился ∽ с Верой.— Вера Сергеевна Аксакова (1819—1864), старшая дочь С. Т. Аксакова, постоянно находившаяся в сфере умственных интересов отца и братьев. В ее письмах и «Дневнике» (СПб., 1913) широко отразилась общественная и литературная жизнь эпохи.

14 В 1835 году...— В рукописи ошибочно: «В 1834 году». Правильная дата устанавливается письмами В. П. Андросова к А. А. Краевскому (см.: Н. И. Мордовченко. Гоголь и журналистика 1835—1836 гг.— «Материалы и исследования», т. II, стр. 117).

15 ...в «Старосветских помещиках», в «Тарасе Бульбе» уже являлся великий художник...— С. Т. Аксаков писал Н. И. Надеждину 26 марта 1835 г.: «Скажи Гоголю, если он не совсем забыл меня, что я от него без ума и что «Старосветских помещиков» предпочитаю даже «Тарасу», хотя многими местами в нем истинно очарован. К чорту гофманщину: он писатель действительности, а не фантасмагорий» (ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 3, ед. хр. 47, л. 5).

16 Вслед за Гоголем вошел ∽ Ефремов...— Александр Павлович Ефремов (1815—1876), товарищ К. С. Аксакова по Московскому университету, один из ближайших друзей Станкевича и Белинского.

[17] ...сообщил ⟨...⟩ Станкевичу...— Николай Владимирович Станкевич (1813—1840), глава литературно-философского кружка, из которого вышли крупнейшие деятели литературы и общественной мысли XIX в. Несмотря на философский идеализм, которого в 30-е годы придерживались все члены кружка, Станкевич требовал от искусства верности действительности и уже по первым произведениям Гоголя понял его значение.

[18] Гоголь вез с собою в Петербург комедию ⟨...⟩ Он сам вызвался прочесть ее вслух...— Время чтения «Женитьбы» С. Т. Аксаков указывает ошибочно: Гоголь читал «Женитьбу» не на пути в Петербург (в августе), а 4 мая, по дороге из Петербурга на Украину (см. «Материалы и исследования», т. II, стр. 118).

[19] ...мои гости не были приглашены на чтение к Погодину ⟨...⟩. В назначенный день я пригласил к себе именно тех гостей, которым не удалось слышать комедию Гоголя.— Анализируя сообщение С. Т. Аксакова о том, что его гости не были приглашены к Погодину на чтение «Женитьбы», Н. И. Мордовченко пишет: «У Погодина собрались представители барско-аристократической Москвы и в первую очередь, конечно, участники «Московского наблюдателя». Вся молодая редакция «Телескопа» и «Молвы», напряженно интересовавшаяся Гоголем и возлагавшая на него большие надежды, собралась через несколько дней особо у Сергея Тимофеевича Аксакова» («Материалы и исследования», т. II, стр. 121).

[20] Между прочими гостями ⟨...⟩ Белинский.— С. Т. Аксаков познакомился с Белинским в первой половине 30-х годов, когда Белинский был дружен с К. С. Аксаковым и часто посещал его. В 1838 г., когда Белинский находился после закрытия «Телескопа» в затруднительном материальном положении, С. Т. Аксаков пригласил его преподавателем Межевого института, преодолев сопротивление попечителя. Близкие отношения С. Т. Аксакова с Белинским продолжались и в первый год после переезда Белинского в Петербург. О причинах дальнейшего расхождения их см. примеч. 101.

[21] ...комедия имела огромный успех, но ⟨...⟩ много наделала врагов Гоголю.— Первое представление «Ревизора» на сцене Александринского театра состоялось 19 апреля 1836 г. Реакция различных общественных кругов на комедию Гоголя отчетливее всего передана самим автором в «Театральном разъезде».

[22] ...я выходил ⟨...⟩ с Великопольским.— Иван Ермолаевич Великопольский (1793—1868), литератор (псевдоним — Ивельев), приятель С. Т. Аксакова.

[23] ...привез Ф. Н. Глинке...— Федор Николаевич Глинка (1786—1880), поэт и публицист, участник первых декабристских организаций; впоследствии монархист и мистик, сотрудник «Москвитянина» и других консервативных изданий.

[24] Гоголь был хорошо знаком с Мих⟨аилом⟩ Сем⟨еновичем⟩ Щепкиным...— М. С. Щепкин (1788—1863), великий русский артист, завоевал любовь передовой интеллигенции утверждением реализма на русской сцене. «Четверть столетия старше нас, он был с нами на короткой, дружеской ноге родного дяди или старшего брата»,— пишет о нем Герцен (Полн. собр. соч. под ред. М. К. Лемке, т. XVI, П., 1920, стр. 504). Преклонение Щепкина перед Гоголем и яркое реалистическое воплощение им образов Гоголя на сцене еще теснее связало Щепкина с передовой молодежью. На этой же почве укрепилась давнишняя дружба С. Т. Аксакова со Щепкиным. В сознании современников эти имена были так тесно связаны, что, описывая встречу со Щепки-

ным в Лондоне в 1853 г., Герцен говорит: «Он был тот же, как я его оставил ⟨...⟩ точно будто сейчас шел из Троицкого трактира к Сергею Тимофеевичу Аксакову» (там же, стр. 505—506).

[25] ...Гоголь, сильно огорченный и расстроенный чем-то в Петербурге...— В своих письмах Гоголь, не называя конкретных причин своего отъезда за границу, определяет обстановку, сложившуюся для него после выхода «Ревизора», как невыносимую. В письме к М. П. Погодину от 28 ноября 1836 г. Гоголь писал: «Гордость, которую знают только поэты, которая росла со мною в колыбели, наконец, не вынесла. О, какое презренное, какое низкое состояние... дыбом волос подымается. Люди, рожденные для оплеухи, для сводничества... и перед этими людьми... мимо, мимо их! и доныне недостает духа назвать их» (ПСС АН, т. XI, стр. 77; см. также письмо № 41 в том же томе).

[26] ...актеры меня уважают и любят...— По рассказам Щепкина, «они ⟨актеры⟩ подтягивались, зная, что Сергей Тимофеевич в театре» (М. С. Щепкин. Записки. Письма. Современники о Щепкине. М., 1952, стр. 335).

[27] ...для успокоения Шевырева...— Степан Петрович Шевырев (1806—1864), профессор Московского университета, литературный критик и публицист, идеолог «официальной народности». Сблизившись с Гоголем в 1838—1839 гг. в Италии, в личном плане оставался одним из наиболее близких к нему людей до конца жизни Гоголя. В критических статьях о творчестве Гоголя Шевырев выступал как постоянный антагонист Белинского, грубо искажая подлинный общественный смысл произведений Гоголя и давая им реакционное истолкование.

[28] Итак, «Ревизор» был поставлен...— Первое представление «Ревизора» в Москве состоялось 25 мая 1836 г. Оценка этого спектакля, выражающая мнение передовых кругов русской интеллигенции и глубоко раскрывающая социальный смысл комедии Гоголя, дана в статье А.Б.В. («Молва», 1836, № 9).

[29] ...он передал эту роль г-ну Шумскому...— Сергей Васильевич Шумский (1820—1878), артист Малого театра, известный как исполнитель ролей гоголевского репертуара.

[30] Из писем самого Гоголя известно...— См. письма Гоголя к П. А. Плетневу, М. П. Погодину, Н. Я. Прокоповичу, В. А. Жуковскому (ПСС АН, т. XI, № 39, 41, 42, 44, 53).

[31] Это письмо было написано из Неаполя от 20 августа. Дата, поставленная Гоголем, ошибочна: по-видимому, 2 августа ст. ст. (см. ПСС АН, т. XI, стр. 401).

[32] Мы решились ему помочь ∽ Я, Погодин, Баратынский и Павлов...— Евгений Абрамович Баратынский (1800—1844), поэт.

Николай Филиппович Павлов (1805—1864), писатель и критик, автор антикрепостнических «Трех повестей» («Именины», «Аукцион», «Ятаган».— СПб., 1835).

[33] ...с ним приехал Н. В. Гоголь.— Гоголь приехал в Москву 26 сентября 1839 г. (см. ПСС АН, т. XI, стр. 20).

[34] ...с Машенькой...— Машенька, или Марихен,— Мария Сергеевна Аксакова, в замужестве Томашевская (1831—1906), дочь С. Т. Аксакова. К ней обращено стихотворение К. С. Аксакова «Мой Марихен так уж мал...», впоследствие положенное на музыку П. И. Чайковским (с изменением имени на «Лизочек»).

[35] ..взять сестер...— сестры Гоголя — Анна Васильевна (1821—1893) и Елизавета Васильевна (1823—1864), в замужестве Быкова.

[36] ...отвезть моего Мишу...— Михаил Сергеевич Аксаков (1824—1841), младший сын С. Т. Аксакова.

[37] ...в Москве он не видал «Ревизора» на сцене.— Сообщение С. Т. Аксакова ошибочно: Гоголь присутствовал на спектакле 17 октября 1839 г., о чем свидетельствуют современники (см. комментарий И. Г. Ямпольского в книге И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Л., 1950, стр. 393, и письмо К. С. Аксакова к братьям 24—25 октября 1839 г.— ЛН, т. 58, стр. 568—570). Сам С. Т. Аксаков дальше рассказывает об этом спектакле, дата которого им была забыта (стр. 59).

[38] Он предлагал ∽ разыграть «Ревизора» ∽ мне предлагал Городничего, Томашевскому ∽ почтмейстера...— С. Т. Аксаков обладал большими сценическими способностями. В «Воспоминаниях об А. С. Шишкове» он пишет о себе: «Я имел решительный сценический талант и теперь даже думаю, что театр был моим настоящим призванием» (СС, т. II, стр. 287).

Антон Францевич Томашевский (1803—1883), один из ближайших друзей С. Т. Аксакова. Заведовал почтовым училищем и был цензором иностранных газет на Московском почтамте.

[39] 30 октября...— В рукописи ошибочно: «30 ноября...» Ошибка явно видна из остальных дат, относящихся к путешествию.

[40] ...дом Карташевских...— В Петербурге жила сестра С. Т. Аксакова, Надежда Тимофеевна (1794—1887), изображенная под именем «милой сестрицы» в «Детских годах Багрова-внука». С 1816 г. она была замужем за Григорием Ивановичем Карташевским (1777—1840), бывшим профессором Казанского университета и воспитателем С. Т. Аксакова. Их дочь, Мария Григорьевна Карташевская (1818—1906), была связана тесной дружбой с В. С. Аксаковой.

[41] ...у Плетнева или у Жуковского.— Петр Александрович Плетнев (1792—1865), поэт и литературный критик, друг Пушкина; впоследствии ректор Петербургского университета.

Василий Андреевич Жуковский (1783—1852), поэт. С 1831 г. между Гоголем и Жуковским возникла тесная дружеская связь, продолжавшаяся до конца их жизни. Критическое отношение С. Т. Аксакова к влиянию Жуковского на Гоголя раскрывается в дальнейшем тексте «Истории знакомства».

[42] ...просидел у меня Кавелин...— Александр Александрович Кавелин (1793—1850), генерал-адъютант, состоял при наследнике и жил в Зимнем дворце. Со времени службы младшего брата С. Т. Аксакова — Н. Т. Аксакова — в Измайловском полку, где служил и Кавелин, С. Т. Аксаков был с ним в приятельских отношениях.

[43] ...пришел Ив⟨ан⟩ Ив⟨анович⟩ Панаев...— И. И. Панаев (1812—1862), критик и беллетрист, был близок к С. Т. Аксакову (отец и дяди Панаева учились вместе с С. Т. Аксаковым в Казанской гимназии и университете). О жизни Аксаковых в Москве в 30-х годах И. И. Панаев пишет в своих «Литературных воспоминаниях».

[44] ... Влад⟨имир⟩ Ив⟨анович⟩ Панаев, тоже старый мой товарищ...— В. И. Панаев (1792—1859) — второстепенный поэт, автор сентиментальных идиллий; крупный чиновник.

[45] ...смотрел ∽ портрет нашей Марихен...— Портрет, о котором говорит Аксаков, находится в музее «Абрамцево».

[46] ...с Вандиком...— Антонис Ван-Дейк (1599—1641), знаменитый фламандский художник.

[47] ...труда, завещанного ему Пушкиным...— В письме к В. А. Жуковскому Гоголь говорит о «Мертвых душах»: «Я должен продолжать мною начатый большой труд, который писать с меня взял слово Пушкин, которого мысль есть его создание и который обратился для меня с этих пор в священное завещание» (ПСС АН, т. XI, стр. 97).

[48] ...трагедия из истории Запорожья...— Трагедия сохранилась только в незначительных набросках (ПСС АН, т. V, стр. 199—202). Более подробные сведения о ней находятся в письмах и воспоминаниях современников. Критический свод этих данных см. в статье Ю. Г. Оксмана «Сожженная трагедия Гоголя» («Атеней», кн. 3. Л., 1926).

[49] ...откупщику Бенардаки, с которым был хорошо знаком.— К этим словам И. С. Аксаковым добавлено в рукописи: «еще по Оренбургской губернии, где он начал подрядами свою коммерческую деятельность». Дмитрий Егорович Бенардаки (умер в 1870 г.), в молодости — военный, затем откупщик и крупный промышленник. М. П. Погодин, сообщая о встречах Гоголя с Бенардаки в 1839 г. в Мариенбаде, пишет: «Бенардаки, знающий Россию самым лучшим и коротким образом, бывший на всех концах ее, рассказывал нам множество разных вещей, которые и поступили в материалы «Мертвых душ», а характер Костанжогло во 2-й части писан в некоторых частях прямо с него» («Русский архив», 1865, стлб. 895).

[50] ... два тайных советника ∽ Хмельницкий и ∽ Марков.— Николай Иванович Хмельницкий (1791—1845), драматург, крупный петербургский чиновник. С. Т. Аксаков писал 24 ноября 1839 г. жене: «Я здесь очень сошелся с Хмельницким, несмотря на его младенческие понятия в литературе и смешные манеры» (ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 3, № 22, л. 194 об.).

Михаил Александрович Марков (ок. 1810—1876), писатель, генерал-лейтенант.

[51] ... калибаны в понимании искусства...— Калибан — персонаж комедии Шекспира «Буря», получеловек-получудовище.

[52] Брату Н⟨иколаю⟩ Т⟨имофеевичу⟩...— Николай Тимофеевич Аксаков (1797—1882) — богатый помещик Самарской и Симбирской губерний. Я. А. Соловьев в «Записках о крестьянском деле», говоря о его крепостнических настроениях, пишет, что «по своему направлению ⟨Н. Т. Аксаков⟩ нисколько не был похож на своего брата» («Русская старина», 1884, № 2, стр. 258).

[53] ... перевозит сестер своих к княгине Репниной...— Елизавета Петровна Репнина, старшая сестра ученицы Гоголя М. П. Балабиной. Пребывание в ее доме Е. В. Гоголь-Быкова описывает в своих «Записках» («Русь», 1885, № 26, стр. 7).

[54] Сосницкий сначала был недурен...— Иван Иванович Сосницкий (1794—1871), первый исполнитель роли Городничего на сцене Александринского театра.

[55] На другой день ∽ я зашел ∽ к Жуковскому.— Аксаков ошибочно относит к этой дате разговор с Жуковским, который, очевидно, имел место в другой день (см. его письмо к К. С. Аксакову от 27 ноября 1839 г.— ЛН, т. 58, стр. 574).

[56] Я подозреваю в этом даже Пушкина... — С. Т. Аксаков неправ в своем утверждении. Пушкин почувствовал серьезность гоголевского смеха в «Мерт-

вых душах» уже по тем главам, которые читал ему Гоголь. Об этом свидетельствуют его известные слова: «Боже, как грустна наша Россия!»

[57] ... имя Теньера рядом с Гоголем.— Теньер (правильно — Тенирс), фламандский художник-жанрист (1610—1690), изображавший «низкую натуру»: деревенские пирушки, сборища в кабаках и т. п. Из статьи близкого С. Т. Аксакову художника Э. А. Дмитриева-Мамонова выясняется отношение к Тенирсу в эту эпоху: «Фламандца не занимает идеал человеческий; он над ним никогда не задумывается... Фламандская школа ⟨...⟩ решительно отказалась от идеала ⟨...⟩ поработилась веществу, прикрывая недостаток внутреннего творчества своим внешним мастерством» («Русская беседа», 1856, кн. III, стр. 112—116). Таким образом, сопоставление имен Тенирса и Гоголя было равносильно обвинению Гоголя в безыдейном натурализме, что и вызвало возмущение С. Т. Аксакова.

[58] ... говорил со мной о Милькееве...— Евгений Лукич Милькеев (1815—1840), поэт; печатался в «Современнике» Плетнева.

[59] ... Гоголь с сестрами и с Балабиной.— Мария Петровна Балабина (1820—1901), ученица Гоголя. Его письма к ней помещены в тт. XI и XII ПСС АН.

[60] ... с старухой Балабиной...— Варвара Осиповна Балабина (1780—1845), мать М. П. Балабиной.

[61] Он потерян...— В настоящее время записка Гоголя найдена, и текст ее опубликован (ПСС АН, т. XI, № 141.

[62] Гоголь ∽ не хотел без меня ехать и жалел только о том, что я огорчен.— М. П. Погодину Гоголь писал 27 ноября 1839 г.: «Как вспомню, что я здесь убил месяц уже времени,— ужасно. А все виною Аксаков. Он меня выкупил из беды, он же меня и посадил. Мне ужасно хотелось возвратиться с ним вместе в Москву. Я же так его полюбил истинно душою» (ПСС АН, т. XI, стр. 264).

[63] Фед⟨ор⟩ Ив⟨анович⟩ Васьков также вызвался ехать с нами.— Ф. И. Васьков (1790—1855) — друг С. Т. Аксакова, охотник и рыболов. В музее «Абрамцево» хранится экземпляр книги С. Т. Аксакова «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» с автографом: «Милому, старинному другу Федору Ивановичу Васькову от сочинителя. 1853 года, Февраля 9 дня, Абрамцево». Имя Ф. И. Васькова несколько раз упоминается в произведениях Аксакова.

[64] ...от имени Одоевского, Плетнева, Враского, Краевского...— Владимир Федорович Одоевский (1804—1869), писатель. Одним из первых признал талант Гоголя, дав ему оценку, близкую к пушкинской: «... на сих днях вышли «Вечера на хуторе» ⟨...⟩ Они, говорят, написаны молодым человеком, по имени *Гоголем*, в котором я предвижу большой талант: ты не можешь себе представить, как его повести выше и по вымыслу, и по рассказу, и по слогу всего того, что доныне издавали под названием русских романов» (Письмо к А. И. Кошелеву, 23 сентября 1831 г.— «Литературоведение. Труды кафедры русской литературы Львовского университета», вып. 2. Львов, 1958, стр. 72).

Борис Алексеевич Враский (1795—1880), чиновник III Отделения, владелец типографии, в которой печатался пушкинский «Современник».

Андрей Александрович Краевский (1810—1889), сотрудник пушкинского «Современника», впоследствии издатель «Отечественных записок». О его роли в литературной жизни 40-х годов см. в книге В. И. Кулешова ««Отечественные записки» и литература 40-х годов XIX века» (М., 1959).

[65] ...чтоб Гоголь не продавал ∽ Смирдину...— Александр Филиппович Смирдин (1795—1857), известный петербургский книгопродавец и издатель, широко распространявший произведения русской художественной литературы. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович...» впервые напечатана в альманахе

«Новоселье» (ч. II, СПб., 1834), изданном в ознаменование переезда лавки Смирдина в новое помещение на Невском проспекте.

[66] ...почему Гоголь не дописал этой комедии...— Замысел комедии «Владимир третьей степени» не был осуществлен, так как Гоголь понимал невозможность ее пропуска в печать (см. ПСС АН, т. X, стр. 262—263).

[67] ...был Самарин и Григорий Толстой...— Юрий Федорович Самарин (1819—1876), публицист и критик, славянофил. Знакомство его с Гоголем произошло в конце 1839 г. Самарин является автором статьи о первом томе «Мертвых душ», написанной в форме письма к К. С. Аксакову (впервые по подлиннику опубликована в «Русской старине», 1890, № 2, стр. 421—425). В 1849—1851 гг. Самарин слушал в чтении Гоголя главы второго тома, о которых оставил противоречивые свидетельства в своих письмах к Гоголю («Русская старина», 1889, № 7, стр. 174—176) и А. О. Смирновой («Вопросы философии и психологии», 1903, кн. 69, стр. 681).

Григорий Михайлович Толстой (1808—1870-е годы), богатый симбирский и казанский помещик. В 40-х годах жил за границей и был близок к русским политическим эмигрантам, в частности к Бакунину.

[68] Гоголь ∾ пригласил ∾ гр⟨афа⟩ Вл⟨адимира⟩ Соллогуба.— Владимир Александрович Соллогуб (1813—1882) писатель. О знакомстве с Гоголем пишет в своих воспоминаниях («Русский архив», 1865, стлб. 735—772). Отношения Гоголя и Соллогуба не носили характера дружбы.

[69] ...приехал Панов...— Василий Алексеевич Панов (1819—1849), писатель, славянофил. Живя с Гоголем в Риме в 1840—1841 гг., Панов переписывал набело первые главы «Мертвых душ» и другие произведения Гоголя.

[70] ...до возвращения О⟨льги⟩ С⟨еменовны⟩ ∾ с Сонечкой Самб⟨урской⟩...— Софья Алексеевна Самбурская, племянница О. С. Аксаковой, впоследствии жена художника К. А. Трутовского.

[71] ...он читал ∾ от 23 декабря до 2 января...— Аксаков неверно определяет начало чтений «Мертвых душ», и эта ошибка перешла в «Даты жизни Гоголя» (ПСС АН, т. XI, стр. 23). 17 октября 1839 г. С. Т. Аксаков писал сыновьям: «В прошедшую субботу ⟨14 октября⟩ Гоголь читал у нас начало комедии „Тяжба“ и большую главу из романа (вероятно, „Мертвые души“). И то, и другое — чудные созданья! Особенно глава из романа! ⟨...⟩ Восхищение было всеобщее» (ЛН, т. 58, стр. 566). Письмо В. С. Аксаковой от 25 декабря 1839 г. также подтверждает чтение первой главы в октябре, до поездки Гоголя и Аксаковых в Петербург (ЛН, т. 58, стр. 577).

[72] Это было начало комической сцены...— Имеется в виду «Тяжба». Дата чтения, очевидно, ошибочна; см. примеч. 71, а также И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Л., 1950, стр. 173 и след.

[73] ...создание Плюшкина привело меня и всех нас в великий восторг.— С. Т. Аксаков писал сыновьям 15 апреля 1840 г.: «В субботу на страстной Гоголь прочел нам огромную седьмую главу, где выведен скряга Плюшкин. Это лицо превосходит все лица творческой фантазии, какие я только знаю. Это нисколько не смешно, а грустно; это не простой скупец, а человек, прежде порядочно живший, только бережливый, но впоследствии, с потерею жены, детей, десятки лет поглощенный скаредством, развившимся ужасно в это время, и дошедший до глупости и гнусности невероятной ⟨...⟩» (ЛН, т. 58, стр. 588).

[74] При этом чтении был Армфельд...— Александр Осипович Армфельд (1806—1868), профессор судебной медицины в Московском университете, друг С. Т. Аксакова.

[75] ... приехала мать Гоголя с его меньшой сестрой.— Мария Ивановна Гоголь (1791—1868) и Ольга Васильевна Гоголь (1825—1907), в замужестве Головня. Дружеские отношения матери Гоголя с семьей Аксаковых отражены в их переписке, частично опубликованной в книге С. Дурылина «Из семейной хроники Гоголя» (М., 1928), в статье того же автора «Гоголь и Аксаковы» («Звенья», т. III—IV, стр. 325—364) и в «Литературном наследстве», т. 58. Ряд неопубликованных писем М. И. Гоголь к Аксаковым хранится в музее «Абрамцево».

[76] На этом обеде ∾ были...— На именинах у Гоголя собрались друзья Пушкина, бывшие члены «Арзамаса» (А. И. Тургенев, П. А. Вяземский, М. Ф. Орлов); виднейшие представители двух поколений московской интеллигенции; а также лица, связанные с Погодиным по сотрудничеству в его журнале (М. А. Дмитриев).

Александр Иванович Тургенев (1784—1845), археограф, брат декабриста Н. И. Тургенева. Свои впечатления об этом собрании он записал в дневнике: «К Гоголю на Девичье Поле у Погодина: там уже la jeune Russie * съехалась: это напомнило мне и *наш поддевиченский Арзамас...»* (ЛН, т. 45/46, стр. 419—420).

Петр Андреевич Вяземский (1792—1878), поэт и литературный критик. В письме к В. Ф. Одоевскому от 15 марта 1838 г. Гоголь, имея в виду Вяземского и других сотрудников пушкинского «Современника», писал: «Помнят ли меня мои родные, соединенные со мною святым союзом муз?» (ПСС АН, т. XI. стр. 131).

Михаил Федорович Орлов (1788—1842), член Союза благоденствия, видный деятель «Арзамаса», стремившийся придать этому обществу политический характер. Благодаря брату, А. Ф. Орлову, который сыграл главную роль в подавлении декабрьского восстания, избежал Сибири и после кратковременной ссылки в деревню вернулся в Москву. «Возвращенный из ссылки, но непрощенный ⟨...⟩ он окружил себя небольшим кругом знакомых и проповедовал там свои теории» (А. И. Герцен. Собр. соч., т. II, стр. 202).

Петр Григорьевич Редкин (1809—1891), профессор Московского университета, близкий в 40-х годах к кружку Герцена; товарищ Гоголя по Нежинской гимназии.

Авдотья Петровна Елагина (1789—1877), мать славянофилов И. В. и П. В. Киреевских. П. В. Анненков пишет, что дом Елагиных «представлял нечто вроде замиренной почвы, где противоположные мнения могли свободно высказаться, не опасаясь засад, выходок и оскорблений для личности препирающихся ⟨...⟩ Мы слышали, впрочем, что собрания в доме Елагиных все-таки должны были прекратиться под конец, вследствие все более и более возраставшей горячности споров между встречавшимися там людьми обеих партий» («Литературные воспоминания». Л., 1928, стр. 332, 333).

Екатерина Александровна Свербеева (ум. в 1892). О ее отношении к Гоголю Аксаков рассказывает в «Истории знакомства» (см. стр. 111 наст. издания).

Екатерина Михайловна Хомякова (1817—1852), жена А. С. Хомякова, сестра Н. М. Языкова. Гоголь был к ней очень привязан.

Елизавета Григорьевна Черткова (1805—1858), жена археолога А. Д. Черткова. Ее дом в Москве посещался учеными и писателями. Со времени знаком-

* Молодая Россия.

ства в 1838 г. в Италии Гоголя связывали с нею дружеские отношения; воспоминания о ее знакомстве с Гоголем записаны П. И. Бартеневым со слов ее дочери С. А. Ермоловой («Русский архив», 1909, кн. II, стр. 301).

Михаил Александрович Дмитриев (1796—1866), реакционный поэт и критик, печатавшийся в «Москвитянине».

Более полный список присутствовавших на именинах Гоголя, куда входили также Е. А. Баратынский, Н. А. Мельгунов, П. В. Нащокин, П. М. Садовский, Ю. Ф. Самарин, А. С. Хомяков, М. С. Щепкин и другие, устанавливается по дневнику А. И. Тургенева (ЛН, т. 45/46, стр. 419—420) и воспоминаниям Д. М. Погодина («Исторический вестник», 1892, № 4, стр. 45—47).

77 Лермонтов читал ∾ отрывок из новой своей поэмы «Мцыри»...— О впечатлении, произведенном на Гоголя этой поэмой, сведений не сохранилось. Как видно из письма С. Т. Аксакова (стр. 43 наст. издания), Гоголь предсказывал, что проза Лермонтова будет выше его стихов. В статье «В чем же, наконец, существо русской поэзии» Гоголь говорит: «Никто еще не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой. Тут видно больше углубленья в действительность жизни; готовился будущий великий живописец русского быта...» (ПСС АН, т. VIII, стр. 402).

78 Отъезд его с Пановым был назначен 17 мая.— С. Т. Аксаков писал сыновьям 15 мая 1840 г.: «Сегодня в последний раз обедает у нас, в кругу нашего семейства и коротких приятелей, Гоголь. Завтра он с Пановым едет в Италию прямо из нашего дома. Если он захочет, то, может быть, мы проводим его до первой станции. Гоголь сделался нашим семьянином, и нам очень грустно расставаться с ним как с человеком: гениальный писатель тут в стороне...» (ЛН, т. 58, стр. 588).

79 ...играла m-me Allan...— Луиза Аллан де Прео, артистка французской драматической труппы. С. Т. Аксаков писал О. С. Аксаковой 2 декабря 1839 г. из Петербурга: «Нет, не могу я восхищаться мадамой Аллан: истинного чувства мало, а плаксивость — не чувство. Искусство ее не так велико, чтоб не видно было швов на этом шитье» (ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 3, № 22, лл. 245/об — 246).

80 ...Щепкин с сыном Дмитрием ∾ Погодин с ∾ Мессингом...— Дмитрий Михайлович Щепкин (1817—1857), математик и филолог, университетский приятель Белинского и К. Аксакова.

Михаил Иванович Мессинг (ок. 1800—1884), муж сестры М. П. Погодина.

81 ...через Надежду Николаевну Шереметеву ∾ поместил он сестру свою Лизу к г-же Раевской...— Н. Н. Шереметева (1775—1850) — мать жены декабриста И. Д. Якушкина. Находилась в постоянной переписке с Гоголем и поддерживала его религиозные настроения.

Прасковья Ивановна Раевская (1788—1846). Е. В. Гоголь-Быкова говорит о своем пребывании в доме Раевской: «...для меня это было почти родное семейство, где я вместо предполагаемых пяти месяцев прожила целых два года...» («Русь», 1885, № 26, стр. 9).

82 Гоголь читал ∾ у Ив⟨ана⟩ Вас⟨ильевича⟩ Киреевского...— И. В. Киреевский (1806—1856) — публицист. В 20-е годы — член кружка «любомудров». С 40-х годов — один из идеологов славянофильства, расходившийся, однако, в ряде коренных вопросов с большинством славянофилов. Так, по поводу статьи Киреевского, дававшей аристократическое истолкование понятия народности («О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России».— «Московский сборник», 1852) И. С. Аксаков писал И. С. Тургеневу 29 мая 1852 г.: «Знайте, что ни Константин, ни я, ни Хомяков не подписались бы под

этою статьей» («Русское обозрение», 1894, № 8, стр. 472). Познакомившись с И. В. Киреевским в первый свой приезд в Москву в 1832 г., Гоголь постоянно интересовался его литературной деятельностью.

83 ... Толстой-Американец говорил ∞ в доме Перфильевых ∞ что его ⟨Гоголя⟩ следует в кандалах отправить в Сибирь.— Граф Федор Иванович Толстой (1782—1846), авантюрист и игрок. Участвуя в кругосветном плавании, был за недостойное поведение высажен с корабля в Северной Америке, после чего получил прозвище «Американец». К нему относятся известные слова Грибоедова:

Ночной разбойник, дуэлист...

Так же характеризует его Пушкин в эпиграмме: «В жизни мрачной и презренной...». О личном знакомстве Гоголя с Ф. И. Толстым свидетельствует его письмо к М. С. Щепкину от 24 октября 1846 г., касающееся «Развязки Ревизора» (ПСС АН, т. XIII, стр. 118).

Перфильевы — Степан Васильевич (1796—1878) и его жена Анастасия Сергеевна, урожд. Ланская (ум. в 1891 г.). С. В. Перфильев — приятель С. Т. Аксакова (впоследствии и Л. Н. Толстого).

84 ... миниатюрное издание «Онегина», «Горя от ума», и басней Дмитриева...— Издания: «Евгений Онегин» — СПб., 1837 г., «Горе от ума» — СПб., 1839 г.; «Басни и апологи» И. И. Дмитриева — СПб., 1838 г.

85 ...«Русских песней» Сахарова...— «Песни русского народа, собранные И. П. Сахаровым». СПб., 1838—1839.

86 ...я уехал с Гришей за Волгу в свои деревни...— Григорий Сергеевич Аксаков (1820—1891), второй сын С. Т. Аксакова. В письме к А. Ф. Тютчевой И. С. Аксаков так охарактеризовал его: «...брат мой Григорий — добрый, честный, славный, дельный человек — развился и жил всю жизнь вне семьи и вне московских духовных интересов. У него нет вовсе дарований, сделавших нашу семью известною, и поэтому-то он и держал себя постоянно дальше от Москвы, занимаясь хозяйством и службой...» («И. С. Аксаков в его письмах», т. IV, стр. 141). Г. С. Аксаков служил прокурором в Симбирске, затем был самарским губернатором. Отличался, по отзывам современников, гуманностью и либерализмом, вследствие чего ему пришлось оставить службу и перейти на работу в земстве (подробнее о нем см.: «Голос минувшего», 1916, № 12, стр. 227—229 и «Русский архив», 1915, № 9—10, стр. 55—58).

В Заволжье находились большие имения С. Т. Аксакова, являвшиеся источником его материального обеспечения. Долгий путь наблюдений над сущностью крепостного хозяйства и крепостнических отношений привел С. Т. Аксакова к отрицанию крепостной системы, отчетливо сложившемуся у него к половине 50-х годов (см. письма С. Т. Аксакова к О. С. Аксаковой из Заволжья 1835, 1839, 1840, 1851, 1855 гг.— архив ИРЛИ).

87 ... пошлее добродетельного Цинского или романов Булгарина...— Гоголь имеет в виду московского обер-полицмейстера Льва Михайловича Цинского, известного своими злоупотреблениями. Резко отрицательное отношение к романам Булгарина высказано Гоголем в письмах к Пушкину и А. С. Данилевскому (ПСС АН, т. X, № 114, 164).

88 ...оба издания песней Максимовича...— «Малороссийские песни». М., 1827 и «Украинские народные песни», М., 1834.

89 ... переведенной для него комедии.— Гоголь прислал для Щепкина перевод комедии Джованни Жиро «Дядька в затруднительном положении» (подробнее об этом см.: ПСС АН, т. XI, № 177).

[90] Я, кажется, не получу места...— Гоголь хлопотал о получении должности секретаря при попечителе над русскими художниками в Риме Павле Ивановиче Кривцове.

[91] ... что нужно к спеху...— подготовка второго издания «Ревизора».

...что не к спеху — работа над «Мертвыми душами».

[92] ... Гоголь ∾ рассказал ∾ Н. П. Боткину...— Николай Петрович Боткин (1813—1869), брат писателя В. П. Боткина. Помимо дружеских услуг, оказанных им Гоголю, известна также его помощь художнику Иванову. С большой любовью относился к нему Белинский.

[93] ... многие места ∾ очевидно вставлены....— См. об этом в книге М. Гуса «Гоголь и николаевская Россия». М., 1957, стр. 272—274.

[94] ... потеряли мы сына, полного ∾ блистательных надежд...— Михаила Сергеевича Аксакова, обладавшего большими музыкальными способностями.

[95] ... письмо, писанное мною к Пушкину...— Имеется в виду «Отрывок из письма... к одному литератору (см. ПСС АН, т. IV, стр. 99—104 и комментарий на стр. 534—535, устанавливающий истинное происхождение «Отрывка»).

[96] Второе и последнее письмо ∾ не имеет числа...— Письмо датируется 13 марта ст. ст. 1841 г. (см. «Материалы и исследования», т. I, стр. 102).

[97] ...финансовые расчеты журналиста не казались мне тогда так противными, как теперь...— С. Т. Аксаков преуменьшает свою роль в борьбе с Погодиным за интересы Гоголя. В его бумагах находилось более подробное изложение истории печатания второго издания «Ревизора». «Дело состояло в том,— писал Аксаков,— что Гоголь прислал «Ревизора» для напечатанья вторым изданием или для продажи его книгопродавцу. Мне тогда было не до того, и я передал все Погодину. Он решился сам купить второе издание за тысячу пятьсот рублей ассигнациями и уведомил об этом Гоголя; но особые добавочные сцены «Ревизора» вздумал напечатать особо в своем журнале. Я узнал об его намерении и писал, что не советую этого делать. Прилагаемое письмо Погодина — ответ на мою записку».

Письмо М. П. Погодина:

«Вы не советуете! Т. е. Гоголь рассердится!! Да помилуйте, Сергей Тимофеич, что я в самом деле за козел искупления? Неужели можно предполагать, что он скажет: пришли и присылай, бегай и делай, и не смей подумать об одном шаге для себя. Да если б я изрезал в куски «Ревизора» и рассовал его по углам своего журнала, то и тогда Гоголь не должен бы был сердиться на меня; тем более, что «Ревизор» есть уже произведение аккредитованное, а не новое, которому ни вредить, ни помогать нельзя. А я, наоборот, думаю, сделать подспорье своему же (т. е. «Ревизора») изданию: вот-де какие большие исправления и вставки. Впрочем, повторяю, я думаю так. Сыщите средство лучше. Я оставлю свое, вам прекословить не буду и буду содействовать Дело в том, что надо посылать ему деньги. Если средства вы не находите, то согласитесь на мое; но прямо, ясно, или скажите мне, что находите в нем несогласного с пользою автора? Я готов оставить его; но тогда вопрос: что же нам делать? Посылать деньги? Откуда? Печатать? На какие деньги? И дожидаться год, а он без гроша. Теперь я рассчитываю войти в сделку через месяц как хозяин с книгопродавцами, или и прежде, и выручить деньги, следовательно, могу перехватить на месяц. Напечатать я готов, пожалуй, для него и продавать от него; но в таком случае посылать теперь нечего, а ему нужно. Избегая всего этого, я предлагаю самое верное средство и жду вашего разрешения».

На письмо Погодина Аксаков ответил:

«Я только советовал вам не делать того, чего бы я сам не сделал... Чем более мне обязан человек, тем менее я позволю себе без его воли распоряжаться его собственностью, хотя бы это было безвредно для него, а только выгодно для меня. В этом же случае нельзя сказать положительно *первого»*. (Барсуков, кн. 6, стр. 230).

Однако Аксаков был вынужден согласиться с требованиями Погодина, «потому что,— пишет он,— точно, денег негде было взять для печатания и что выручка от распродажи должна была затянуться. Тогда-то и послали мы (о чем уже было сказано) шесть тысяч рублей на первый год, как просил Гоголь. Слова же Погодина, что *если б он изрезал в куски «Ревизора» и рассовал его по углам своего журнала, то Гоголь не имел бы права сердиться*, ясно показывают натуру Погодина, который, ссудив деньгами Гоголя, считал себя вправе поступать с его великим творением по собственному произволу».

Письмо Погодина с объяснениями Аксакова было включено во вторую часть «Истории знакомства». Поскольку эта часть начинается с изложения событий 1843 г., а переписка Аксакова с Погодиным относится к 1841 г., в настоящем издании эти документы приводятся согласно хронологии.

[98] Он приехал ∾ с Пет⟨ром⟩ Ив⟨ановичем⟩ Пейкером.— П. И. Пейкер (1811—1853) — сын И. У. Пейкера, бывшего начальника С. Т. Аксакова по Константиновскому межевому институту.

[99] ... к графу Вьельгорскому...— Михаил Юрьевич Виельгорский (1788—1856), музыкальный деятель, композитор, с семьей которого Гоголь был очень близок.

[100] ... Гоголь ∾ послал рукопись ∾ к цензору Никитенко...— Александр Васильевич Никитенко (1805—1877), профессор Петербургского университета по кафедре русской словесности, цензор, пользовавшийся в эту пору репутацией либерала.

[101] ... в это время мы все уже терпеть не могли Белинского, ∾ обнаружившего гнусную враждебность к Москве, к русскому человеку и ко всему нашему русскому направлению.— Как известно, именно в это время происходит окончательное размежевание между бывшими членами кружка Станкевича, при котором Белинский и К. С. Аксаков заняли диаметрально противоположные позиции. В значительной мере из оппозиции славянофилам, видевшим идеал русской жизни в допетровской эпохе и считавшим, что только крестьянство сохранило в нетронутом виде ее положительные черты, Белинский в ряде статей 1841 г. полемически подчеркивал отсталость и инертность русского крестьянина. В них он утверждал, что народная поэзия, созданная до Петра, осталась на низкой ступени, отразив неразвитость русской гражданской жизни. Раздражение Аксаковых против Белинского, очевидно, было усилено и его несохранившимся письмом к К. С. Аксакову, направленным против славянофильства (см. «Русь», 1881, № 8, стр. 15).

[102] Приехал ∾ Княжевич...— Дмитрий Максимович Княжевич (1788—1844), литератор, впоследствии чиновник Министерства финансов; с 1837 г.— попечитель Одесского учебного округа.

[103] ... домашние мои утверждают, что оно случилось в 1840 году... — О присутствии Гоголя на спектакле «Ревизора» см. примеч. 37.

[104] ... на литературном вечере у князя Дм⟨итрия⟩ Вл⟨адимировича⟩ Голицына...— Дмитрий Владимирович Голицын (1771—1844) — московский генерал-губернатор.

105 Одна из них, именно Кошелева...— Ольга Федоровна Кошелева (1816—1893), жена А. И. Кошелева (см. примеч. 247). Имя О. Ф. Кошелевой вырезано из рукописи И. С. Аксаковым (вырезка хранится в ЛБ, фонд ГАИС/III/XV/5).

106 ... наконец, нетерпеливо ожидаемая рукопись, вся без исключения пропущенная цензором, была получена.— Это сообщение С. Т. Аксакова непонятно, так как в действительности цензура потребовала ряд изменений, самыми существенными из которых были изменение заглавия и переделка «Повести о капитане Копейкине».

107 ... Иннокентий благословил меня...— епископ Иннокентий Борисов (1800—1857).

108 ... Константин уехал ранее с Боборыкиным.— Николай Николаевич Боборыкин (ок. 1812—1888), незначительный поэт.

109 ... жена Погодина...— Елизавета Васильевна, урожд. Вагнер (1809—1844).

110 ...об водяном лечении Присница...— Винцент Присниц (1790—1851), немецкий врач-самоучка, основатель современной гидротерапии.

111 ... были профессора: Григорьев ∾ Грановский.— Василий Васильевич Григорьев (1816—1881), ориенталист, профессор Ришельевского лицея.

Тимофей Николаевич Грановский (1813—1855), профессор всеобщей истории Московского университета. Его публичные лекции были одним из важнейших событий московской общественной жизни 40-х годов. С. Т. Аксаков сообщает об обеде, данном Грановскому по окончании его лекций: «Я в жизнь мою не видал полнее торжества. Все слушатели были проникнуты восторгом... Всего горячее, дружнее было принято здоровье Гоголя. Я думал, что взлетит потолок залы» (письмо к И. С. Аксакову от 25 апреля 1844 г., Москва,— ЛН, т. 58, стр. 668; см. также: А. И. Герцен. Полн. собр. соч. под ред. М. К. Лемке, т. III. Пг., 1919, стр. 393—394).

112 Был ∾ Свербеев, Хомяков ∾ Елагины, Нащокин...— Дмитрий Николаевич Свербеев (1799—1874). Примыкал к славянофильскому кругу. Его дом посещался не только славянофилами, но и их идейными противниками, в том числе Герценом.

Алексей Степанович Хомяков (1804—1860), поэт, идеолог славянофильства. «Я не думаю, чтоб кто-нибудь из славян сделал больше для распространения их воззрения, чем Хомяков. Вся его жизнь, человека очень богатого и неслужившего, была отдана пропаганде» (А. И. Герцен. Собр. соч., т. IX, 1956, стр. 158). Сближение Гоголя с Хомяковым произошло в 1841—1842 гг.

Елагины — очевидно, Авдотья Петровна и ее сын Василий Алексеевич (1818—1879), принадлежавший к славянофильскому кругу.

Павел Воинович Нащокин (1800—1854), разорившийся помещик. Гоголь принимал близкое участие в судьбе Нащокина, многие черты характера которого легли в основу образа Хлобуева во втором томе «Мертвых душ».

113 Гоголь говорил, что «это Бенкендорф...» — Александр Христофорович Бенкендорф (1783—1844), шеф жандармов.

114 ... Гоголь подарил и подписал один экземпляр имениннику...— Экземпляр «Мертвых душ» с автографом Гоголя: «Имениннику от Гоголя» в настоящее время хранится в музее «Абрамцево».

115 ... он хотел жить вместе с Н. М. Языковым....— Николай Михайлович Языков (1803—1846), поэт, один из ближайших друзей Гоголя в 40-е годы. В общественной борьбе этих лет занимал сначала нейтральную позицию, но затем, в 1844 г., выступил с рядом клеветнических стихотворений, направлен-

ных против «западнического» лагеря. Стихи Языкова вызвали протест даже в среде славянофилов. «К. Аксаков с негодованием отвечал ему также стихами, резко клеймя злые нападки и называя *«не нашими»* разных славян, во Христе бозе нашем жандармствующих» (А. И. Герцен, Собр. соч., т. IX, 1956, стр. 167.

116 ... она смотрит на портрет сына...— написанный Ф. А. Моллером в 1841 г. для М. И. Гоголь и ставший одним из наиболее популярных портретов Гоголя (в глухом сюртуке).

117 ... оставил Прокоповичу.— Николай Яковлевич Прокопович (1810—1857), товарищ Гоголя по Нежинской гимназии; поэт и педагог. Находился в близких отношениях с Белинским.

118 А трагедия?— С. Т. Аксаков подразумевает трагедию из истории Запорожья, о которой Гоголь говорил ему в 1839 г. в Петербурге (см. примеч. 48).

119 Н. И Васьков.— Николай Иванович Васьков, вице-губернатор Псковской губернии, ранее — прокурор.

120 К нам приехал третий и последний наш сын...— Иван Сергеевич Аксаков (1823—1886), поэт и публицист. По окончании Училища правоведения сознательно взял назначение в провинцию для изучения русской жизни. Служба обострила его критическое отношение к николаевской действительности, и в 1851 г. он вышел в отставку. По предложению Географического общества написал работу «Исследование о торговле на украинских ярмарках», получившую высокую оценку Добролюбова. Во время Крымской войны поступил в ополчение; по окончании ее участвовал в комиссии, расследовавшей злоупотребления интендантства. «Судебные сцены» И. С. Аксакова, написанные в 1853 г., были напечатаны Герценом в «Полярной звезде» (1858 г., кн. IV). Выйдя в отставку, И. С. Аксаков становится редактором ряда периодических изданий, в которых главное место отводилось славянскому вопросу («Парус», «День», «Русь», «Москва»). Эти издания отразили постепенный переход его в лагерь реакции, проявившийся уже в 1863 г. в его антипольском выступлении, которое вызвало гневную отповедь Герцена.

121 ... прочесть Ванечке...— И. С. Аксакову.

122 Любопытно слушала его и Надя.— Надежда Григорьевна Карташевская, в замужестве Маркович (ум. в 1890), младшая сестра М. Г. Карташевской, бывшая в то время еще подростком.

123 Письмо это очень нужно...— Письмо к П. В. Нащокину, в котором Гоголь сообщает о своих переговорах с Д. Е. Бенардаки относительно устройства Нащокина воспитателем сына Бенардаки (см. ПСС АН, т. XII, № 68).

124 Если Павловы точно едут...— Н. Ф. Павлов и его жена Каролина Карловна, урожд. Яниш (1810—1893), поэтесса, к творчеству которой С. Т. Аксаков относился критически. В письме к И. С. Аксакову от 27 февраля 1851 г. он говорит: «Наш дом служит сценою, на которой Каролина изволит разыгрывать сочинительницу» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, № 16, л. 14 об.).

125 ... сделаете большую услугу присланьем ∾ книг ∾ «Памятник веры» ∾ «Статистику России» Андросова ∾ толстый том от Мин⟨истерства⟩ внут⟨ренних⟩ дел.— «Памятник веры, представляющий благочестивому взору христианина празднества, православной церковью установленные св. угодникам божиим с кратким описанием их жития». М., 1838; В. Андросов. Хозяйственная статистика России. М., 1827; «Материалы для статистики Российской империи, издаваемые при Статистическом отделении Совета Министерства внутренних дел». СПб., 1839—1841.

[126] ...о книге Кошихина...— Г. К. Котошихин. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1840.

[127] Из Петербурга ∾ четыре письма...— Число писем, указанное Гоголем, непонятно: в письме к С. Т. Аксакову он указывает только трех адресатов, в действительности же известны пять писем Гоголя, относящихся к этому времени (см. ПСС АН, XII, № 60—64).

[128] ...я развернул письмо и прочел моей семье следующее...— В музее «Абрамцево» хранится копия данного письма Гоголя, снятая В. С. Аксаковой для П. А. Кулиша. На копии сделаны рукою С. Т. Аксакова следующие примечания:

1. К словам: ...я прочел в лице вашем во время чтения почти все, что мне было нужно. Я не рассердился на вас за неоткровенность.— «Гоголь решительно ошибался. При первых чтениях я не был еще способен замечать недостатки».

2. К словам: Мой совет напечатать ее зимою после двух или трех других критик.— «Критика была уже напечатана отдельно ‹...›»

3. К словам: ...восторженность во многих местах казалась вам доходившею до смешного излишества.— «Не понимаю, как пришла в голову Гоголю эта мысль! Никогда лирические места не казались мне смешными. Это недоразумение».

Необходимо заметить, что, делая это примечание, С. Т. Аксаков забыл слова своего письма от 3 июля 1842 г., буквально цитируемые Гоголем.

4. К словам: ...я написал порядок, как уплачивать по случаю возникшего несогласия насчет первенства.— «Друзья Гоголя сложились по 1500 р. асс. и дали ему на дорогу эти деньги (всего 6000 р. асс.) с тем, чтобы получить их из выручки за Мертв‹ые› души. Когда Шевырев стал расплачиваться, то никто не хотел взять первый ‹...›»

[129] Одно только лирическое место (стран. 58) показалось мне ∾ неуместным, сказарным рановременно.— С. Т. Аксаков говорит о словах в зачине VII главы: «И далеко еще то время, когда ‹...› почуют в смущенном трепете величавый гром других речей...» В указании страницы в рукописи ошибка: нужно — 258.

[130] ...письмо было найдено в его ‹Н. Ф. Павлова› бумагах...— В 1853 г. Н. Ф. Павлов был арестован и выслан из Москвы по жалобе жены за растрату ее имущества, к чему присоединялось подозрение в политической неблагонадежности. В описи документов, найденных у Павлова, письмо Гоголя к Аксакову не числится (ЦГИА, фонд III Отд., 1-я эксп., 1853 г., д. № 75). В бумагах Павлова находилась копия зальцбруннского письма Белинского к Гоголю (см.: Ю. Г. Оксман. Письмо Белинского к Гоголю как исторический документ.— «Ученые записки Саратовского гос. университета», т. XXXI. Саратов, 1952, стр. 154—160).

[131] Шевырев написал две, пишет еще третью статью.— Статьи С. П. Шевырева о «Мертвых душах» помещены в «Москвитянине» (1842, № 7 и 8). В третьей статье — «Критический перечень произведений русской словесности за 1842 г.» («Москвитянин», 1843, № 1),— касаясь «Мертвых душ», Шевырев повторил главные положения предыдущих статей. Формально давая высокую оценку поэме Гоголя, Шевырев в то же время извращал ее общественный смысл.

[132] ⟨Около 29 ноября...⟩ — Основания датировки см. в ПСС АН, т. XII, стр. 617, комментарий к письму № 99.

[133] Все приписывают это самому государю ∾ появление на сцене **и в печати** ваших творений будет памятником его царствования: мы благословляем его от души! — Сочинения Гоголя (в четырех томах, СПб., 1842) были пропущены Цензурным комитетом без всякого участия Николая I (см. «Литературный музеум». Под ред. А. С. Николаева и Ю. Г. Оксмана. 1. Пб., б. г., стр. 47—66). Основанием для мнения С. Т. Аксакова, по-видимому, послужило разрешение Николая I на пропуск «Ревизора». Очевидно, в эти годы Аксаковы были склонны идеализировать личность Николая I. Но, откликаясь на его смерть, В. С. Аксакова писала: «Все невольно чувствуют, что какой-то камень, какой-то пресс снят с каждого, как-то легче стало дышать ⟨...⟩ Никто, если спросить себя откровенно, не пожелал бы, чтобы он воскрес ⟨...⟩ Он действовал добросовестно по своим убеждениям; за грехи России эти убеждения были ей тяжким бременем. Его система пала вместе с ним; в последнее время она достигла крайности» (В. С. Аксакова. Дневник. СПб., 1913, стр. 66).

[134] ... не произвела она даже на сцене.— Неудовлетворенности С. Т. Аксакова исполнением «Игроков» противоречит сообщение С. П. Шевырева в письме к Гоголю от 26 марта 1843 г.: «Пьеса так была превосходно разыграна, как еще не была ни одна на московском театре. Тому содействовали первый С. Т. Аксаков превосходным чтением пьесы, второй — М. С. Щепкин» («Отчет имп. Публичной библиотеки за 1893 г.» СПб., 1896, Приложение, стр. 5).

[135] Я не понимаю ∾ вашего назначения ролей Живокини ∾ не может удерживаться от привычных своих фарсов...— Василий Игнатьевич Живокини (1808—1874), артист Малого театра, знаменитый комик. Гоголь ценил мастерство Живокини и в 1846 г. хотел поручить ему роль Хлестакова. Отмечая талантливость артиста, С. Т. Аксаков (так же, как и Белинский) постоянно ставил ему в упрек пристрастие к фарсу.

[136] Верстовский ∾ и другие говорят, что в Петербурге Мартынов в роли *Подколесина* бесподобен...— Алексей Николаевич Верстовский (1799—1862), композитор и с 30-х годов фактически руководитель московских театров, был в дружеских отношениях с С. Т. Аксаковым.

Александр Евстафьевич Мартынов (1816—1860), артист Александринского театра. О высокохудожественном исполнении Мартыновым роли Подколесина пишет А. А. Стахович («Русская старина», 1896, № 4, стр. 54).

[137] ...*Ходилкин*, как перекрестил его г. цензор Гедеонов.— Михаил Александрович Гедеонов (1814—1854), драматический цензор. Находя фамилию Анучкин неприличной для офицера, переименовал его в Ходилкина (на петербургской сцене он назывался Хожалкиным).

[138] ...Орлова — Прасковья Ивановна Орлова (1815—1900), артистка Малого театра, партнерша Мочалова.

[139] Кавалерова — Елена Матвеевна Кавалерова, артистка Малого театра. В рецензии на спектакль «Севильский цирюльник» С. Т. Аксаков писал: «Эта почтенная артистка выполняет свои роли всегда верно, умно и натурально». (СС, т. III, стр. 457).

[140] ... Сабурова 1-я — Аграфена Тимофеевна Сабурова (1795—1867), выдающаяся артистка Малого театра.

[141] ... бранил игру Ленского...— Дмитрий Тимофеевич Ленский (1805—1860), водевилист и артист Малого театра.

[142] ... я хотел дать ее Мочалову...— Павел Степанович Мочалов (1800—1848), знаменитый трагический артист, значение которого для русского театра определено в статьях Белинского. С. Т. Аксаков писал о Мочалове: «Ничто лучше не доказывает самобытности его таланта, как смелое введение простого разговора на сцене и упорное его продолжение. Сей путь никто не указал ему ⟨...⟩ Предупредить свой век и смело побороть его предрассудки — есть подвиг великий» (СС, т. III, стр. 450).

[143] Загоскин ∞ взбесился за эпиграф к «Ревизору».— Эпиграф появился впервые в изд.: «Сочинения Н. Гоголя», т. IV. СПб., 1842.

[144] У Щепкина спросите, получил ли он два письма мои...— Письма от 28 ноября и 3 декабря 1842 г. (ПСС АН, т. XII, № 96, 102), в которых Гоголь давал ряд указаний об исполнении его пьес; в первом письме Гоголь советовал обсудить все эти вопросы с С. Т. Аксаковым.

[145] ... получили ли вы сами мое письмо ∞ о постановке «Ревизора»...— Письмо неизвестно: вложенное в него письмо к О. С. Аксаковой см. на стр. 92—93 наст. издания; письмо к К. С. Аксакову см. в ПСС АН, т. XII, № 99.

[146] ... помещенного в «Москвитянине» объявления...— В «Москвитянине» было помещено сообщение: «Гоголь написал уже два тома своего романа «Мертвые души». Вероятно, скоро весь роман будет кончен, и публика познакомится с ним в нынешнем году» (1841, № 2, стр. 616).

[147] Это письмо прочитайте вместе: ты, Погодин и Серг⟨ей⟩ Тим⟨офеевич⟩ С вами ближе связана жизнь моя...— Личной близостью Гоголя к Шевыреву, Погодину и С. Т. Аксакову, выражавшейся, однако, в каждом случае по разному, объясняется ряд писем и поручений Гоголя, адресованных им вместе.

[148] ...свидание Гоголя в Петербурге с людьми, нам противными, о которых он думал одинаково с нами (как то с Белинским, Полевым и Краевским)...— Имена названных журналистов символизируют в данном случае направление двух журналов, неприемлемых для умеренно либерального С. Т. Аксакова своим радикализмом,— «Московского телеграфа» и «Отечественных записок» (переход Полевого к этому времени на реакционные позиции С. Т. Аксаковым игнорируется). При этом необходимо помнить, что С. Т. Аксаков частично признавал правоту своих противников, о чем свидетельствует характеристика, данная Полевому в «Литературных и театральных воспоминаниях» (см. СС, т. III, стр. 75—76), и документы, помещенные в настоящем издании, в которых раскрывается отношение С. Т. Аксакова к Белинскому.

[149] ... думал я занять у Свербеева.— Здесь и дальше имена Д. Н. и Е. А. Свербеевых были вырезаны из рукописи И. С. Аксаковым. Вырезки хранятся в ЛБ (фонд ГАИС/III/XV/5).

[150] ... вследствие представления графа Уварова...— Сергей Семенович Уваров (1786—1855), в молодости участник «Арзамаса», с 1833 г.— министр народного просвещения, создатель формулы «православие, самодержавие, народность», положенной им в основу его деятельности.

[151] Вот письмецо без числа...— Письмо датируется 7 апреля 1843 г. (по дате письма к Шевыреву, в которое оно было вложено). В рукописи это письмо было помещено ниже письма Гоголя к О. С. Аксаковой, написанного позже. В настоящем издании письма приводятся в хронологическом порядке.

[152] ... и что Ховрина...— Мария Дмитриевна Ховрина (1801—1877). Была близка к передовым литературным кругам 30—40-х годов. Ее дом посещали Герцен и Грановский.

[153] ...какие эффекты производите вы в чтениях. ∾ Все это, вы знаете, мне интересно.— Об этих чтениях О. С. Аксакова писала матери Гоголя: «Сочинения его ⟨Гоголя⟩ расходятся, а более всего слушаются, и начинают узнавать его разные сословия. Сергей Т⟨имофеевич⟩ читал во многих домах «Шинель», «Разъезд», «Игроков» и проч., а Константин совсем в других домах читал нового «Тараса Бульбу» и проч. Теперь Щепкин читал публично «Старосветские помещики», а Садовский-актер рассказ «Копейкин» ⟨...⟩ Тут еще читает Вальтер по-французски и m-lle Шамбери, но вообразите, после чтения Щепкина, когда он кончил «Старосветских помещиков», никто не стал слушать...» (Сб. «Памяти Гоголя», Киев, 1902, стр. 69—70).

[154] ... Гоголь говорит о прежнем своем письме.— Имеется в виду не вошедшее в «Историю знакомства» письмо к К. С. Аксакову около 29 ноября 1842 г. (см. ПСС АН, т. XII, № 99). Пометки на рукописи Аксакова к письмам конца 1842 г.: «Письма нашлись» и «Вставка № 1» дают основание предполагать, что это письмо ко времени работы Аксакова над «Историей знакомства» было затеряно, но затем найдено и намечено ко включению в рукопись; поэтому Аксаков говорит о нем, как уже известном читателю.

[155] ... я написал, наконец, то письмо, которое бы мне давно следовало написать...— Письмо к М. И. Гоголь (см. ПСС АН, т. XII, № 119).

[156] ... от кн⟨язя⟩ Мещер⟨ского⟩...— Николай Иванович Мещерский (1798—1862), отставной гвардии полковник.

[157] ... речь об воспитании и взгляд на русск⟨ую⟩ слов⟨есность⟩ за прошлый год.— Статьи С. П. Шевырева: «Об отношении семейного воспитания к государственному» («Журнал Мин. нар. просв.», 1842, № 7, 8, отд. II) и «Критический перечень произведений русской словесности за 1842 год» («Москвитянин», 1843, № 1—3).

[158] В это время сошелся он с графом А. П. Толстым...— Александр Петрович Толстой (1801—1873), в 30-е годы — тверской, а затем одесский губернатор, с 1856 г.— обер-прокурор синода. Дружба с ним Гоголя началась в конце 40-х годов; в его доме Гоголь жил с декабря 1848 г. до смерти. А. П. Толстому адресован ряд писем в «Выбранных местах из переписки с друзьями». С. Т. Аксаков правильно определяет его роль в развитии идейного кризиса Гоголя.

[159] Не менее вредны были ему дружеские связи с женщинами, большею частью высшего круга ∾ назову только Виельгорскую, Соллогуб и Смирнову.— Графиня Луиза Карловна Виельгорская (1791—1853), мать Анны Михайловны Виельгорской (1823—1861) и Софьи Михайловны, в замужестве Соллогуб (1820—1878). К ним адресован ряд наставительных писем Гоголя, который сблизился с семьей Виельгорских в 1839 г. в Риме. В 1843—1844 гг. Гоголь жил в доме Виельгорских в Ницце.

Александра Осиповна Смирнова (1809—1882), фрейлина императрицы, приятельница Пушкина; в 40-х годах принадлежала к числу ближайших друзей Гоголя. А. О. Смирновой адресован ряд писем в «Выбранных местах из переписки с друзьями».

[160] Книги получены ∾ чрез Валуева.— Дмитрий Александрович Валуев (1820—1845), историк и публицист, принадлежал к младшему поколению славянофилов.

[161] Душевно скорбел я о недугах Ольги Сергеев⟨ны⟩...— Ольга Сергеевна Аксакова (1821—1861), вторая дочь С. Т. Аксакова. И. С. Аксаков пишет о ней:

«Когда она достигла девятнадцатилетнего возраста, она сделалась жестоко больна, болезнь обратилась в хроническую и продолжалась 18 лет слишком 〈...〉 Она была предана семье с самоотвержением и могла заменить, отчасти и заменяла, мать для моих сестер 〈...〉» («И. С. Аксаков в его письмах», т. IV, стр. 62—63).

[162] ...по Глинкиной части...— имеется в виду мистицизм Ф. Н. Глинки.

[163] ... больная наша...— Ольга Сергеевна Аксакова. В первой публикации явно ошибочно: «больной наш».

[164] Я посылаю вам «Подражание Христу»...— «Подражание Христу» — моралистическое сочинение XV в., приписываемое немецкому монаху Фоме Кемпийскому.

[165] ...послал ли он книги ∾ «Добротолюбие», ∾ Иннокентия...— «Добротолюбие, или словеса, собранные от писаний св. отец», в четырех частях. М., 1840; И н н о к е н т и й. Сочинения, т. 1—3. М., 1843.

[166] ... критики Шевырева...— см. примеч. 131.

[167] ...критики Сенковского...— Осип Иванович Сенковский, псевдоним — Барон Брамбеус (1800—1858), реакционный журналист, издатель «Библиотеки для чтения» (1834—1848). Против направления этого журнала Гоголь выступил в статье «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 годах», помещенной в первом номере пушкинского «Современника». «После того,— пишет Чернышевский,— «Библиотека» в течение семнадцати или восемнадцати лет постоянно нападала на Гоголя» (Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й. Полн. собр. соч., т. III, М., 1947, стр. 62).

[168] ... невинные замечания, напечатанные в «Сыне отечества».— Статья К. П. Масальского о «Мертвых душах» («Сын отечества», 1842, VI, отд. «Критика», стр. 1—30) не была невинной в полном смысле этого слова: она отрицала общественное значение творчества Гоголя и была полемически направлена против Белинского.

[169] В нем ∾ объяснение насчет одного слуха...— Письмо Гоголя к Н. Н. Шереметевой не сохранилось. Из ее ответного письма (ЛБ) видно, что Гоголь имеет в виду слух о его увлечении А. О. Смирновой.

[170] ... а остальное семейство в подмосковной...— В конце 1843 г. С. Т. Аксаков приобрел усадьбу Абрамцево (в настоящее время — музей «Абрамцево» Академии наук СССР). Об Абрамцеве В. С. Аксакова сообщала М. Г. Карташевской 12 декабря 1843 г.: «Это маленькое имение в 50 верстах от Москвы по дороге к Троице, в 12 верстах не доезжая Троицы Сергия. Кажется, тут все есть, хоть в малом виде, *все*, что нам надобно, дом довольно поместительный, сад, местоположение прекрасное, речка, лес, пруды...» (ИРЛИ, 10.613/XVC, л. 166).

[171] ... о несчастии бедного Погодина...— 6 ноября 1844 г. умерла первая жена М. П. Погодина — Елизавета Васильевна, к которой Гоголь относился с большой симпатией.

[172] Костя переписывает набело свою диссертацию...— Диссертация К. С. Аксакова «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка». М., 1846.

[173] Гриша ∾ утешает более Ивана...— Общественно-политические взгляды И. С. Аксакова в этот период своим радикализмом значительно отличались от взглядов остальных членов семьи и вызывали у С. Т. Аксакова опасение за судьбу сына.

[174] ... вы знаете о Княжевиче? — С. Т. Аксаков имеет в виду смерть Д. М. Княжевича (осенью 1844 г.).

175 Декабр⟨я⟩ 22.— Дате, проставленной на письме рукою Гоголя, противоречит почтовый штемпель: 21 Dez. 1844.

176 Что я написал к вам глуповатое письмо...— Гоголь, очевидно, говорит о письме от 16 мая 1844 г., приведенном выше.

177 Если Конст⟨антин⟩ Серг⟨еевич⟩ смекнет, что диссертацию ∾ следует просто положить под спуд...— Совет Гоголя вызван тем, что он понимал основной недостаток исторических теорий К. С. Аксакова, в которых факты часто приносились в жертву тенденциозным выводам.

178 На одном писал: *русская изба,* на другом: *Державин*...— Названные Гоголем темы нашли свое отражение в творчестве Пушкина: «Русская изба» вошла как одна из глав в «Путешествие из Москвы в Петербург» (А. С. Пушкин. Полн. собр., соч., т. XI. М., Изд-во АН СССР, стр. 256—258); «Державин» вошел в число заметок, объединенных названием «Table talk» (там же, т. XII, стр. 158).

179 ... получил он ⟨И. В. Киреевский⟩ от Жуковск⟨ого⟩ стих⟨отворную⟩ повесть, которую тот послал ∾ на имя Булгакова, вместе с больш⟨им⟩ письмом ∾ об «Одиссее»? ...— В. А. Жуковским были посланы И. В. Киреевскому «Две повести», которые напечатаны в «Москвитянине» (1845, № 1).

Александр Яковлевич Булгаков (1781—1863), московский почт-директор.

Отрывки из «большого письма об „Одиссее“» были помещены в «Москвитянине» (1845, № 1).

180 ... книжечку его ⟨Языкова⟩ стихотворений? — «56 стихотворений Н. М. Языкова». М., 1844.

181 Альфонский находит...— Аркадий Алексеевич Альфонский (1796—1869), хирург, ректор Московского университета.

182 Броссе ничего не находит...— Петр Федорович Броссе (1793—1857), профессор Московского университета, главный врач Московской глазной больницы.

183 ... Иноземцев грозит такой слепотой...— Федор Иванович Иноземцев (1802—1869), знаменитый врач, профессор Московского университета.

184 ...письмо, посылаемое с ∾ Погуляевым.— Николай Тимофеевич Погуляев (1821—1859), чиновник.

185 ... письмецо без означения года...— Письмо датируется концом сентября 1845 г. на основании пометы С. Т. Аксакова на подлиннике («1845») и по содержанию (см. ПСС АН, т. XII, комментарий к письму № 291).

186 Филарет устроил скит...— Филарет Дроздов (1782—1867), московский митрополит.

187 ...ее знакомой, С. В. Капнист.— Софья Васильевна Капнист, в это время уже по мужу Скалон, дочь писателя В. В. Капниста, с семьей которого Гоголь поддерживал дружеские отношения до конца жизни (см. С. В. Скалон. Воспоминания, гл. III.— «Исторический вестник», 1891, № 5 и «Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов», т. I. М., 1931, стр. 411—412).

188 ...повидаться с Шенлейном...— Иоганн Лукас Шенлейн (1793—1864), знаменитый в 40-х годах XIX в. немецкий врач.

189 Радонежье.— Названием *Радонежье* С. Т. Аксаков определял Абрамцево, находившееся в окрестностях села Радонеж.

190 ...для свидания с ∾ Кабатом...— Иван Иванович Кабат (1812—1884), известный окулист.

191 ...началась у меня переписка с Александрой Осиповной...— Переписка С. Т. Аксакова с А. О. Смирновой напечатана в «Русском архиве», 1896, кн. 1, стр. 142—160.

192 Я затеял написать книжку об уженье...— Книга С. Т. Аксакова «Записки об уженье» вышла в свет в 1847 г. Ею начался новый, реалистический период в творчестве С. Т. Аксакова, который был результатом влияния Гоголя.

193 Письмо Шевырева меня огорчило.— В письме от 4 октября 1845 г. С. П. Шевырев отказывался выполнять поручение Гоголя о помощи нуждающимся студентам до тех пор, пока не будут выплачены долги Гоголя: «...ты должен еще Аксакову. Книги продаются туго, и до сих пор еще не все ему заплачено. Между тем я знал, что Аксаковы нуждаются. Они даже на зиму переселились теперь в деревню по этой причине. Мне казалось несправедливым употреблять твои деньги на бедных студентов, когда еще не уплачен тобою долг человеку нуждающемуся» («Отчет имп. Публичной библиотеки за 1893 год». СПб., 1896, Приложение, стр. 20).

194 На выезде из Рима...— В рукописи С. Т. Аксакова это письмо сопровождалось словами: «Следующее небольшое письмецо Гоголя я решительно не знаю, к какому времени отнести». Письмо датируется 1846 г. по содержанию (см. ПСС АН, т. XIII, комментарий к письму № 25).

195 ...маленькое письмецо без года и числа...— Письмо датируется по содержанию серединой ноября 1846 г. (см. ПСС АН, т. XIII, комментарий к письму № 77).

196 Вероятно, там помещено много из его писем ∞ и ко мне.— В «Выбранные места» письма Гоголя к С. Т. Аксакову не вошли.

197 ...Шевыреву (который со мной почти во всем согласен)...— Об отношении Шевырева к «Выбранным местам» см. примеч. 204.

198 ...скажите мне, ради бога, положа руку на сердце: неужели ваше объяснение «Ревизора» искренно? — С протестом против отказа Гоголя от реалистического понимания «Ревизора» выступил и Щепкин, который писал Гоголю 22 мая 1847 г.: «Я изучал всех героев «Ревизора» как живых людей ⟨...⟩ Не давайте мне никаких намеков, что это-де не чиновники, а наши страсти; нет, я не хочу этой переделки: это люди настоящие, живые люди, между которыми я взрос и почти состарился ⟨...⟩ Нет, я их вам не дам! Не дам, пока существую!» (М. С. Щепкин. Записки. Письма. Современники о М. С. Щепкине. М., 1952, стр. 202).

199 Меня оскорбило письмо его к Веневитиновой...— С. Т. Аксаков имеет в виду вторую статью «Выбранных мест» — «Женщина в свете», адресатом которой он, очевидно, считал А. М. Веневитинову, урожд. Виельгорскую.

200 ...эстамп «Преображения господня» так и ложится рядом с его портретом.— Гоголь, желая оказать материальную помощь Ф. И. Иордану (см. примеч. 250), работавшему долгие годы над гравюрой «Преображение», собирался заказать ему свой портрет. Возмущение С. Т. Аксакова вызвано словами Гоголя, рекомендовавшего в «Завещании» приобретать гравированный Иорданом его портрет или «еще ⟨...⟩ справедливей ⟨...⟩ самый эстамп „Преображенья господня“».

201 ...письмо об Иванове...— статья о знаменитом русском художнике Александре Андреевиче Иванове (1806—1858), в которой Гоголь пишет о творческом подвиге художника и негодует на равнодушие к нему русского правительства.

202 ...статья, которой не называю...— «О лиризме наших поэтов», в которой

Гоголь говорит, что восхваление самодержавия является источником величия русской поэзии. Статья не названа С. Т. Аксаковым, знавшим, что его письма подвергаются перлюстрации.

[203] ...Соф⟨ья⟩ Петр⟨овна⟩...— Софья Петровна Апраксина (1802—1886), сестра графа А. П. Толстого.

[204] Шевырев даже хочет напечатать беспощадный разбор его книги.— Статья С. П. Шевырева, напечатанная в первом номере «Москвитянина» за 1847 г., в действительности носила апологетический характер и направлена была не против книги Гоголя, а против того истолкования творчества Гоголя, которое давал Белинский.

[205] ...скотный двор Глинки и ∾ свита К. В. Новосильцевой утопают в слезах и восхищении.— Реакцию Ф. Н. Глинки и его окружения на «Выбранные места» легко представить, исходя из герценовского описания публичных лекций Шевырева: «Трудно было возбудить сочувствие, говоря о прелестях духовных писателей восточной церкви и подхваливая греко-российскую церковь. Только Федор Глинка и супруга его Евдокия, писавшая «о млеке пречистой девы», сидели обыкновенно рядышком на первом плане и скромно опускали глаза, когда Шевырев особенно неумеренно хвалил православную церковь» (А. И. Герцен. Собр. соч., т. IX, стр. 167—168).

Екатерина Владимировна Новосильцева, урожд. графиня Орлова (около 1770—1849), отличалась крайней набожностью, свыше двадцати лет состояла в переписке с митрополитом Филаретом; на той же почве сблизилась с Ф. Н. Глинкой и его женой.

[206] Один только секрет и был...— Гоголь говорит о помощи студентам (см. стр. 137—138 наст. издания).

[207] ...если даже Булгарин, Греч...— Фаддей Венедиктович Булгарин (1789—1859) и Николай Иванович Греч (1787—1867), реакционные журналисты, издатели журнала «Сын отечества» и газеты «Северная пчела». Имена Булгарина и Греча были одиозными в литературных кругах XIX в.

[208] Поблагодарите также доброго Дмитрия Николаевича Свербеева ∾ милую супругу его за ее письмецо.— Письма Д. Н. и Е. А. Свербеевых приведены в кн. В. И. Шенрока «Материалы для биографии Гоголя», т. IV. М., 1897, стр. 519—525.

[209] ...письмо к совершенно незнакомому для него человеку...— См. примеч. 211.

[210] ...письмо мое (кажется, от 12 января)...— В действительности — от 9 декабря.

[211] ...письмо же ваше к кн⟨язю⟩ Львову...— См. ПСС АН, т. XIII, № 140.

Владимир Владимирович Львов (1804—1856), детский писатель, впоследствии цензор, уволенный в 1852 г. за пропуск «Записок охотника» Тургенева.

[212] ...я никогда не был особенно откровенен с вами ∾ этому, может быть, отчасти способствовал милый сын ваш Конст⟨антин⟩ Сергеевич.— Эти слова Гоголя отчетливо показывают, что все его искания последнего периода происходили независимо от славянофильских взглядов К. С. Аксакова. В следующей части письма Гоголь прямо противопоставляет Аксаковым, далеким от его внутренней жизни в этот период, А. О. Смирнову, которая разделяла новые настроения Гоголя.

[213] 3 октября. А. Г. Дементьев, опубликовавший это письмо в сб. «Н. В. Го-

голь. Материалы и исследования», т. I, стр. 158, отнес его к 1844 году на основании даты переезда Аксаковых в Москву. Эта датировка полностью опровергается письмом Аксакова к Гоголю от 16 ноября 1844 г., которое, в таком случае, следовало бы непосредственно за комментируемой запиской. Тон и характер письма к Гоголю несовместимы с запиской к Шевыреву. В настоящем издании записка датируется 1847 г. по следующим соображениям. В 1847 г. Аксаковы также были в Москве к 3 октября (см. Барсуков, кн. 9, стр. 61). Слова: «Живу от вас очень далеко» тоже подтверждают дату — 1847 г., когда Аксаковы жили в доме Герцена на Сивцевом Вражке, в то время как в 1844 г. они жили в Газетном переулке, т. е. недалеко от Дегтярного переулка, где находился дом Шевырева. Наконец, только в 1847 г. у С. Т. Аксакова могло возникнуть то сильное раздражение против Гоголя, которое выражено в письме.

214 ...у них стало два семейства в одном...— Во второй половине 40-х годов, когда резче обозначилось расхождение между славянофилами и идеологами «официальной народности», отношения сыновей С. Т. Аксакова с Шевыревым и Погодиным все более ухудшаются и в 1848 г. доходят до полного разрыва.

215 *...поклонение перед публикой и презрение к народу.*— Тема противопоставления «публики» и «народа» развита К. С. Аксаковым в его статье «Опыт синонимов. Публика — народ» («Молва», 1857, № 36, стр. 410—411), вызвавшей запрещение газеты. Противопоставляя эти понятия, К. С. Аксаков писал: «Публика является над народом, как будто его привилегированное выражение; в самом деле публика есть искажение идеи народа ⟨...⟩ Публика спит, народ давно уже встал и работает. Публика работает (большею частию ногами по паркету): народ спит или уже встает опять работать ⟨...⟩ И в публике есть золото и грязь, и в народе есть золото и грязь; но в публике — грязь в золоте; в народе — золото в грязи». Вариант этой статьи, относящийся к 1847 г., находится в семейном альбоме Аксаковых, хранящемся в музее «Абрамцево».

216 ...с ∽ Любенькой...— Любовь Сергеевна Аксакова (1830—1867), дочь С. Т. Аксакова.

217 ...ваше милое письмецо, которое мне было целебно.— С. Т. Аксаков говорит о не дошедшем до нас письме Гоголя, посланном в мае 1848 г., о котором упоминается на стр. 188 наст. издания.

218 ...вы получите драму Константина.— «Освобождение Москвы в 1612 году». М., 1948.

219 Погодин облаял ее, как взбесившаяся собака.— Речь идет о рецензии на драму К. С. Аксакова, напечатанной в «Москвитянине» (1848, май). Погодин ставил в вину К. С. Аксакову, помимо художественных недостатков, то, что драма не имеет «необходимого конца» — избрания на царство Михаила Романова и что «действующие лица ⟨...⟩ все одинакие: что Антон, что Елизар, что Елисеич, что Минин, что Пожарский». О реакции демократического зрителя на эту пьесу попечитель Московского учебного округа В. И. Назимов писал министру П. А. Ширинскому-Шихматову: «Во время представления этой драмы на московской сцене 14 декабря 1850 года был в театре большой шум. На все возгласы актера при порицании бояр раек кричал: *правда, правда!* Особенно слова: *глас народа — глас божий* вызвали сильные рукоплескания и громогласное одобрение райка» (Барсуков, кн. 9, стр. 463; «История Москвы», т. III, стр. 639).

220 ...«Записки об уженье»... — О впечатлении Гоголя от этой книги пишет В. С. Аксакова С. Т. Аксакову 11 сентября 1848 г.: «Об вашей же книжке он говорил и прежде, что хотя он и совсем не интересуется предметом, но прочел ее всю от доски до доски с большим удовольствием» (ЛН, т. 58, стр. 706).

[221] ...книжку «об охоте с ружьем»... — «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», вышедшие в 1852 г.

[222] «Семейная хроника» пишется как-то вяло.— Первый отрывок «Семейной хроники» был напечатан в «Московском литературном и ученом сборнике» 1846 г. Как свидетельствует настоящее письмо, летом 1848 г. Аксаков пробовал продолжать ее, но оставил и вернулся к работе только в 1852 г., после окончания «Записок ружейного охотника».

[223] Костя вам кое-что посылает.— К. С. Аксаков писал одновременно Гоголю: «Посылаю вам небольшую статью, в которой высказываю свои основные гражданские убеждения, написанную месяц слишком ⟨...⟩ У меня много лежит в портфеле, но цензура ужасно строга» («Русский архив», 1890, кн. 1, стр, 158).

[224] Статья его о современном споре...— Статья К. С. Аксакова «О современном литературном споре», запрещенная в 1848 г. Главным управлением цензуры, была опубликована в «Руси» (1883, № 7, стр. 20—26). Письмо Белинского к В. П. Боткину от 22 апреля 1847 г. дает основание предполагать, что она предназначалась для «Современника»: «Акс⟨аков⟩ хочет поместить статью у нас; в этом видно с его стороны уважение к нашему журналу и доверенность к нам ⟨...⟩ Скажи ему, что всякую другую статью его готовы поместить; но спора этого по особым причинам допустить в „Современник" не можем» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. XII, стр. 356).

[225] ...часто также читал вслух Гоголь русские песни, собранные Терещенкою... — С. Т. Аксаков говорит о книге А. В. Терещенко «Быт русского народа», т. 1—4. СПб., 1848.

[226] Статья мне нужная...— В № 66 «С.-Петербургских сенатских ведомостей» за 1848 г. была напечатана «высочайше конфирмованная сентенция военного суда» по делу о злоупотреблениях в Минской губернии, состоявшему в подаче неверных сведений при залоге земель. События, описанные в газете, напоминают сюжетные положения «Мертвых душ». Характер преступления близок к спекуляциям Чичикова с мертвыми душами, а масштабы минского дела, в котором были замешаны почти все чиновники губернии, и способ решения его — военным судом — аналогичны ситуации второго тома (подробнее об этом см. в статье С. Н. Дурылина «Гоголь и Аксаковы».— «Звенья», т. III—IV, стр. 353—357).

[227] ...два приятеля: Петр Михайлович Языков и я...— Петр Михайлович Языков (1798—1851), старший брат поэта Н. М. Языкова, этнограф и геолог, знаток Симбирского края. При работе над вторым томом «Мертвых душ» Гоголь широко пользовался сведениями, полученными от П. М. Языкова.

[228] Не можете ли вы дать знать ∽ Павлову совокупно с Мельгуновым? — Николай Александрович Мельгунов (1804—1867), писатель и публицист. «К романам у него, очевидно, не было ни малейшего таланта. Но политические статьи, напечатанные в «Голосах из России», как то: «Мысли вслух об истекшем тридцатилетии», «Россия в войне и мире», «Приятельский разговор, показывают, что он вовсе не был лишен дарования» (Б. Н. Чичерин. Воспоминания. Москва сороковых годов. М., 1929, стр. 171). В семейном архиве Аксаковых хранится список первой из названных статей, содержащей резкую критику николаевской системы (ЛБ, Аксак/III/12).

[229] По вечерам читал с большим одушевлением переводы Мерзлякова древних... — Очевидно, Гоголь читал у Аксаковых книгу А. Мерзлякова «Подражания и переводы из греческих и латинских стихотворцев», ч. 1—2, М., 1825—1826.

230 ...к нашим соседям Путятам, где его дожидался Россет...— В Муранове, находящемся вблизи Абрамцева, жили Николай Васильевич Путята (1802—1877), литератор, и его жена Софья Львовна, урожд. Энгельгардт (1811—1884). Гоголь писал Н. В. Путяте из Абрамцева: «Если не сегодня, то завтра я и старик Аксаков, сгорающий нетерпением с вами познакомиться, едем к вам» (ПСС АН, т. XIV, № 118). Это письмо может быть датировано 19 или 20 августа 1849 г. (см. письмо В. С. Аксаковой к М. Г. Карташевской от 20 августа 1849 г.— ЛН, т. 58, стр. 717 и письмо С. Т. Аксакову к И. С. Аксакову — там же, стр. 718).

Климентий Осипович Россет (1811—1866), брат А. О. Смирновой.

231 В Рыбинске играли «Ревизора»...— В письме от 20 августа 1849 г. из Рыбинска И. С. Аксаков писал: «На днях на здешнем театре давали «Ревизора». Я отправился смотреть. И актерам, и зрителям до такой степени было смешно видеть на сцене все те лица, которые сидят тут же и в креслах (напр., городничий, судья, уездный учитель и т. д.), что актеры не выдерживали и хохотали сами вовсе не у места, а потому и играли плохо, исключая Осипа. А зрители хоть и смеялись,— да ведь все свои! Всякий друг про друга знает, что он берет, и считает это дело весьма естественным. Вот этим скверно в уездных и даже губернских городах. Все берут, нет другого общества, и поневоле делаешься снисходительным, говоря, что этот берет не так, как тот, легче и т. п. А по настоящему никому из них и руки подать нельзя! Даже мне иногда совестно колоть им собой глаза. Впрочем, здесь, как я вам писал, был один честный человек, городничий Деев, теперь в отставке. Зато он известен был, как некое чудовищное исключение, неслыханное диво и дрянной городничий» («И. С. Аксаков в его письмах», т. II, стр. 214—215).

232 Получив мое письмо, Гоголь ∽ в тот же день прискакал к нам в Абрамцево.— Необходимо ввести поправку в «Даты жизни Н. В. Гоголя» (ПСС АН, т. XIV, стр. 17), где время вторичного пребывания Гоголя в Абрамцеве определяется вместо 31 августа — 6 сентября неправильными датами: 21—27 сентября 1849 г. Источником этой ошибки явилась неверная публикация даты письма С. Т. Аксакова к И. С. Аксакову о вторичном приезде Гоголя.— ...29 сентября... («Русская мысль», 1915, № 8, стр. 114) вместо стоящей в рукописи «8 сентября, четверг» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, № 13, л. 26). Помимо даты названного письма, время вторичного пребывания Гоголя в Абрамцеве ясно и из самого текста «Истории знакомства». С. Т. Аксаков пишет, что Гоголь приехал сразу же после получения его письма от 27 августа и уехал 6 сентября. См. также письмо И. С. Аксакова от 10 сентября, в котором он упоминает о вторичном приезде Гоголя, как о факте, ему уже известном («И. С. Аксаков в его письмах», т. II, стр. 220).

233 ...напишу о знакомстве своем с Державиным...— Статья «Знакомство с Державиным» была написана С. Т. Аксаковым после смерти Гоголя в 1852 г. Впервые напечатана в кн. «Семейная хроника и воспоминания». М., 1856.

234 Посылаю вам 1-й том...— Записка датируется ноябрем 1849 г. на основании содержания и пометы С. Т. Аксакова на подлиннике: «В 49-м году».

235 Гоголь ∽ с Максимовичем ∽ бывают так веселы ∽ когда Наденька поет... — Михаил Александрович Максимович (1804—1873), филолог, историк и ботаник, близкий друг Гоголя и Аксакова.

Надежда Сергеевна Аксакова (1829—1869), дочь С. Т. Аксакова.

236 Чувствую лучше.— На подлиннике помета С. Т. Аксакова: «1850, фев-

раль». Записку следует датировать более точно временем между 11 февраля (см. записку Гоголя к Н. Н. Шереметевой — ПСС АН, т. XIV, № 144) и 14 февраля (сообщение С. Т. Аксакова в письме от 17 февраля: «Он был у нас четвертого дня вечером...» — ЛН, т. 58, стр. 728).

[237] Овер одобрил... — Александр Иванович Овер (1804—1864), профессор Московского университета, популярный врач, у которого лечились Гоголь и Аксаковы.

[238] ...на портрете Моллера...— Федор Антонович Моллер (1812—1875), русский художник. В 1840—1841 гг. написал в Риме ряд портретов Гоголя. «За портретами Моллера остается значение портретов, дающих первый по времени цельный, хотя и не полный образ Гоголя, и в этом основная причина их обаяния и необычайной популярности» (Н. Г. Машковцев. Гоголь в кругу художников. М., 1955, стр. 156). Воспроизведение портрета, о котором говорит Аксаков, см. между стр. 22 и 23 настоящего издания. После смерти Гоголя С. Т. Аксаков заказал для себя копию с этого портрета (хранится в ИРЛИ).

[239] Мы с Максимовичем...— На подлиннике помета С. Т. Аксакова: «1850, июнь». В предыдущих изданиях «Истории знакомства» и ПСС АН (т. XIV, № 178) адресатом настоящей записки ошибочно назван С. Т. Аксаков. В действительности записка адресована О. С. Аксаковой, остававшейся в Москве в то время, когда С. Т. Аксаков уже уехал в Абрамцево, что видно и из его письма к Гоголю от 3 декабря 1850 г. (наст. издание, стр. 208) и из письма И. С. Аксакова от 12 июня 1850 г. («И. С. Аксаков в его письмах», т. II, стр. 324).

[240] Видел я Казначеева...— Александр Иванович Казначеев (1788—1880), старый друг С. Т. Аксакова, в это время — одесский градоначальник.

[241] Часто видаюсь со Стурдзой, с кн⟨язьями⟩ Репниными, Титовыми...— Александр Скарлатович Стурдза (1791—1854), реакционный публицист; к нему обращена эпиграмма Пушкина: «Холоп венчанного солдата...». А. С. Стурдза сблизился с Гоголем в Риме в 1846 г. и способствовал развитию в нем реакционных настроений.

Из семьи Репниных в 1850 г. в Одессе жили: Варвара Алексеевна Репнина-Волконская (1778—1864), с дочерью Варварой Николаевной Репниной (1808—1891), оставившей воспоминания о Гоголе («Русский архив», 1890, кн. III, стр. 227—232); Василий Николаевич Репнин-Волконский и его жена Елизавета Петровна, в доме которых в 1839 г. в Петербурге жили сестры Гоголя. По воспоминаниям В. Н. Репниной, в доме В. Н. Репнина-Волконского в Одессе была отведена комната для Гоголя, в которой он занимался зимой 1850—1851 гг.

Титовы — Петр Павлович (1800—1878), член Строительного комитета Одессы, и его жена Ю. М. Титова.

[242] Продолжаете ли записки? — «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии».

[243] В доме генерал-майора Трощинского.— Гоголь жил зимой 1850—1851 г. в доме Андрея Андреевича Трощинского (1774—1852), двоюродного брата своей матери.

[244] ...драмы Константина...— «Освобождение Москвы в 1612 году».

[245] ...актер Леонидов...— Леонид Львович Леонидов (Стакилевич) (1821—1889), артист Малого театра с 1843 по 1854 г.

[246] ...никого не хочу соблазнять своим нарядом.— После правительственного распоряжения, запрещавшего дворянам носить русское платье, С. Т. Аксакову,

ввиду его возраста, было разрешено оставаться в русской одежде, и он до конца жизни носил зипун.

[247] Кошелевы — Александр Иванович Кошелев (1806—1883), публицист, земский деятель, славянофил и его жена Ольга Федоровна.

[248] ...графа Закревского...— Арсений Андреевич Закревский (1783—1865), военный генерал-губернатор Москвы с 1848 г. Выполняя инструкцию Николая I о борьбе с революционным движением, Закревский, человек совершенно необразованный, увидел в славянофилах революционную партию и в 1852 г., по сообщению Н. П. Барсукова, доносил Николаю I, «что с некоторого времени образовалось в Москве *Общество славянофилов* ⟨...⟩ Как общество это, под руководством людей неблагонамеренных, легко может получить вредное политическое направление, и как члены оного большею частию литературы,— то он, граф Закревский, признавал совершенно необходимым, кроме личного за ними надзора, обратить особенное внимание цензуры на их сочинения» (Барсуков, кн. 12, стр. 133—134).

[249] Мнимая русская аристократия и высшее дворянство ∽ изволили обидеться ∽ особенно Трубецкие и Салтыковы.— В драме К. С. Аксакова «Освобождение Москвы в 1612 году» большинство бояр выставлено в отрицательном свете; Михаил Салтыков назван изменником и предателем, а образ Дмитрия Трубецкого очень далек от официально присвоенного ему титула «спасителя отечества».

[250] ...угораздило Погодина с Шевыревым устроить сегодня обед Иордану...— Федор Иванович Иордан (1800—1883), известный русский гравер, к которому Гоголь относился с большой симпатией. Обед в честь Ф. И. Иордана и И. К. Айвазовского был устроен по общественной подписке в Художественных классах 19 марта 1851 г.

[251] Надеюсь ∽ что Бодянский...— Осип Максимович Бодянский (1808—1877), фольклорист славянофильской ориентации, первый профессор славяноведения в Московском университете. Один из ближайших друзей Гоголя.

[252] В последнее время я крепко расстроился было своими нервами ∽ Причину такой передряги перескажу вам лично.— С. Т. Аксаков имеет в виду уход с государственной службы И. С. Аксакова. Причиной ухода послужила поэма И. С. Аксакова «Бродяга», героем которой является беглый крестьянин. Поэма имела большой общественный резонанс, в связи с чем И. С. Аксакову было предложено «прекратить авторские труды», которые, как писал министр, «могут повесть к неприятным для него предположениям». Резкий тон объяснительного письма И. С. Аксакова был найден «совершенно неприличным», после чего И. С. Аксаков подал заявление об отставке.

[253] В 1851 году Гоголь был у нас в деревне три раза...— Первый приезд относится ко времени после 5 июня. Об этом приезде Гоголя В. С. Аксакова, записала: «Гоголь вскоре приехал ⟨из Васильевки в Москву⟩, отесенька был уже в деревне, куда и мы с Карт⟨ашевскими⟩ скоро переехали, при них приезжал и Гоголь и вместе с нами и с Карт⟨ашевскими⟩ вернулся в город» (ЛБ, фонд ГАИС/III/XV/9).

Второй приезд Гоголя: 8—9 сентября В. С. Аксакова пишет М. Г. Карташевский: «В субботу приезжал к нам Гоголь повидаться и вчера же уехал» (ЛН, т. 58, стр. 738); письмо датировано явно ошибочно 9 сентября, вместо 10 сентября). В «Заметках о Гоголе» В. С. Аксакова пишет об этом приезде Гоголя: «По возвращении отесеньки и братьев ⟨из Заволжья⟩, он неожиданно приехал к нам один на один день, был чрезвычайно весел и жив» (ЛН, т. 58, стр. 788).

Третий приезд — с 30 сентября по 3 октября.

[254] ...удержать Сашу...— Александр Григорьевич Карташевский (1817—1894), племянник С. Т. Аксакова.

[255] ...братья надели очки заранее ∽ а вы без очков...— В письмах из Заволжья Аксаковы сообщали о тяжелом положении крепостных крестьян. Для Гоголя были особенно убедительны впечатления С. Т. Аксакова, ближе стоявшего к практике крепостного хозяйства и именно ею приведенного к отрицанию крепостной системы, в то время как сообщения Константина и Ивана Аксаковых были заранее предопределены их антикрепостническими убеждениями.

[256] Поздравляю вас от всей души...— Гоголь имеет в виду окончание С. Т. Аксаковым «Записок ружейного охотника».

[257] Зачем же вы хвораете, друг мой ∽ 11 февр⟨аля⟩.— Эта записка датировалась прежде 1850 годом, и ответом на нее считалась записка Гоголя: «Чувствую лучше...» (стр. 205 наст. издания) (см. ПСС АН, т. XIV, комментарии к письмам № 145 и 146 и все предыдущие издания «Истории знакомства»). Между тем текст записки Гоголя показывает, что она не может быть ответом на записку С. Т. Аксакова (в записке Аксакова: *Я третий день опять болен...;* в записке Гоголя: *Рад, что вы также чувствуете лучше...)* То же подтверждается и обследованием автографов. Записка Гоголя (ЛБ, ф. 3.8329.33) явно написана на листе, оторванном от записки к нему Аксакова, потому что на ее обороте, кроме надписи: «Сергею Тимофеевичу Аксакову» (рукою Гоголя), сохранилась и надпись рукою С. Т. Аксакова: «Н. В. Гоголю», относившаяся, очевидно, к оторванной части, на которую отвечал Гоголь. На записке же Аксакова: «Зачем же вы хвораете...» (ЦГАЛИ, ф. 139, оп. 1, № 47, л. 56) в свою очередь стоит надпись: «Николаю Васильевичу Гоголю», и она написана на бумаге другого качества, так что ответ Гоголя относится, безусловно, не к ней. Кроме того, в феврале 1850 г. С. Т. Аксаков жил в Москве, так же как и Гоголь, а из записки видно, что Гоголь и Аксаков находились в разных пунктах: *Константин уехал с тем, чтобы побывать у вас.*

Мы относим эту записку к 1852 г., потому что именно в феврале 1852 г., когда Гоголь жил в Москве, а С. Т. Аксаков — в Абрамцеве, К. С. Аксаков несколько раз ездил из Абрамцева в Москву. Последний раз при жизни Гоголя К. С. Аксаков приехал в Москву 4 февраля. В этот день Аксаковы заметили нездоровье Гоголя (см.: В. С. Аксакова. Дневник. СПб., 1913, стр. 169). Матери Гоголя В. С. Аксакова писала: «В середу ⟨6 февраля⟩ его навестили; он сказал, что не совсем хорошо себя чувствует» (стр. 221 наст. издания). Очевидно, в эти числа и было отправлено С. Т. Аксакову сообщение о нездоровье Гоголя, и Аксаков написал комментируемую записку, которая, следовательно, была последним письменным обращением Аксакова к Гоголю.

[258] В. Бе.— неустановленное лицо.

[259] Тут приехал Иван с Самб⟨урскими⟩.— О приезде сестер Самбурских вместе с И. С. Аксаковым из Курской губернии см.: К. А. Трутовский. Воспоминания о С. Т. Аксакове.— «Русский художественный архив», 1892, в. II, стр. 49—56; в. III, стр. 129—135 (в ЛН, т. 58, стр. 790 ошибочно напечатано: «Тут приехал Иван с Самсоновым»).

[260] На первой панихиде ∽ начался спор о Гоголе. Смысл этих слов раскрывается письмом московского генерал-губернатора Закревского к шефу жандармов гр. Орлову от 29 февраля 1852 г.: «Когда умер известный писатель Гоголь, живший у бывшего одесского градоначальника графа Толстого, славянофилы:

Алексей Хомяков, Константин и ⟨Иван⟩ * Аксаковы, Александр Ефремов, Петр Киреевский. Александр Кошелев и магистр Попов ⟨...⟩ собравшись к графу Толстому и найдя у него некоторых лиц, начали рассуждать, где должно отпевать Гоголя. Когда на это бывший там профессор Грановский сказал, что всего приличнее отпевать его в университетской церкви, как человека, принадлежащего некоторым образом к университету, то все выщеписанные славянофилы стали на это возражать, говоря: «К университету он не принадлежит, а принадлежит народу, а потому как человек народный и должен быть отпеваем в церкви приходской, в которую для отдания последнего ему долга может входить лакей, кучер и всякий, кто пожелает, а в университетскую церковь подобных людей не будут пускать». Когда об этом объявил мне попечитель университета, то я в то же время для прекращения всех толков и споров славянофилов приказал Гоголя, как почетного члена здешнего университета, непременно отпевать в университетской церкви ⟨...⟩ А чтобы не было никакого ропота, то я велел пускать всех без исключения в университетскую церковь. В день погребения народу было всех сословий и обоего полу очень много, а чтобы в это время все было тихо, я приехал сам в церковь. Упорные действия и сильные настояния славянофилов при похоронах Гоголя заставили меня усилить за ними строгий секретный надзор» («Красный архив», 1925, т. 2(9), стр. 300—301).

261 ...писал к обоим этим Петровичам...— М. П. Погодину и С. П. Шевыреву.

262 Вчера мы похоронили Гоголя.— Письмо И. С. Аксакова к И. С. Тургеневу легло в основание его статьи «Несколько слов о Гоголе» («Московский сборник», т. 1. М., 1852, стр. VII—XII). В заключительных словах этой статьи И. С. Аксаков ставит имя Гоголя так же высоко, как впоследствии поставили его революционные демократы 60-х годов. Приведя слова Гоголя о смерти Пушкина, Грибоедова и Лермонтова, И. С. Аксаков говорит: «Теперь, не досказав своего слова, похищен смертью человек, которого значение для России важнее всех упомянутых трех поэтов, на которого так долго обращались взоры, полные надежд и ожидания, который был последнею современною светлою точкою на нашем грустном небе... Содрогнется ли хоть теперь ветренное племя?..»

---

* В донесении стоит: «Сергей».

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА *

Рукопись «История моего знакомства с Гоголем со включением всей переписки с 1832 по 1852 год» (ЛБ).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 15 мая 1836 г.— печатается по автографу (ЛБ).

М. С. Щепкин — С. Т. Аксакову, 28 сентября 1839 г.— печатается по автографу (ЦГАЛИ).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 10 июня 1840 г.— печатается по автографу (ЛБ).

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю, лето 1840 г.— печатается по автографу (ЦГАЛИ).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 7 июля 1840 г.— печатается по автографу (ГЛМ).

Н. В. Гоголь — О. С. Аксаковой, 10 августа 1840 г.— печатается по автографу (ЛБ).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 28 декабря 1840 г.— печатается по автографу (Собрание А. Г. Миронова. Москва) **.

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 5 марта 1841 г.— печатается по автографу (Собрание А. Г. Миронова. Москва).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 13 марта 1841 г.— печатается по автографу (Собрание А. Г. Миронова. Москва).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, конец 1841 г.— печатается по автографу (ЛБ).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 4 июня 1842 г.— печатается по автографу (ЛБ).

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю, 3—5 июля 1842 г.— печатается по автографу (ЦГАЛИ).

Из писем М. Г. Карташевской к В. С. Аксаковой, 6 и 16 июня 1842 г.— печатается по копии С. Т. Аксакова (ЦГАЛИ).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 27 июля 1842 г.— печатается по автографу (ЛБ).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 18 августа 1842 г.— печатается по копиям (Музей «Абрамцево» и ЦГАЛИ). Автограф неизвестен.

К. С. Аксаков — Н. В. Гоголю, осень 1842 г.— печатается по автографу (ЦГАЛИ).

Н. В. Гоголь — О. С. Аксаковой, ок. 29 ноября 1842 г.— печатается по автографу (ЛБ).

---

* Указания на первую публикацию даются в отношении документов, впервые введенных в текст «Истории знакомства».

** Местонахождение и источник текста в ПСС Гоголя (Изд-во АН, т. XI, № 185) указаны неверно.

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю, 6—8 февраля 1843 г.— печатается по автографу (ЦГАЛИ).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 18 марта 1843 г.— печатается по автографу (Музей «Абрамцево»).

Н. В. Гоголь — С. П. Шевыреву, 28 февраля 1843 г.— печатается по тексту «Истории знакомства», с дополнениями по тексту «Русской старины», 1875, № 9, стр. 123—130. Автограф неизвестен.

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 7 апреля 1843 г.— печатается по автографу (ЛБ).

Н. В. Гоголь — О. С. Аксаковой, апрель 1843 г.— печатается по автографу (ЛБ).

Н. В. Гоголь — С. Т. и К. С. Аксаковым, 24 мая 1843 г.— печатается по автографу (Собрание А. Г. Миронова. Москва).

Н. В. Гоголь — О. С. Аксаковой, 20 июня 1843 г.— печатается по автографу (ЛБ).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 24 июля 1843 г.— печатается по автографу (ЛБ).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 30 августа 1843 г.— печатается по автографу (ЛБ).

М. П. Погодин — Н. В. Гоголю, 12 сентября 1843 г.— печатается по копии (ЛБ). Автограф неизвестен.

Н. В. Гоголь — М. П. Погодину, около 2 ноября 1843 г.— печатается по тексту «Истории знакомства», с дополнениями по тексту «Русской старины», 1890, № 2, стр. 411—416. Автограф неизвестен *.

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю, ноябрь — декабрь 1843 г.— печатается по тексту «Истории знакомства». М., 1890. Автограф неизвестен.

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 10 февраля 1844 г.— печатается по автографу (ЛБ).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, М. П. Погодину и С. П. Шевыреву, январь 1844 г.— печатается по автографу (ИРЛИ).

Н. В. Гоголь — С. П. Шевыреву, 2 февраля 1844 г.— печатается по автографу (ИРЛИ).

С. Т. Аксаков — И. С. Аксакову, 31 марта 1844 г.— печатается по автографу (ЦГАЛИ).

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю, 17 апреля 1844 г.— печатается по автографу (ЦГАЛИ).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 16 мая 1844 г.— печатается по автографу (Собрание Н. П. Смирнова-Сокольского. Москва) **.

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 12 ноября 1844 г.— печатается по автографу (ЛБ).

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю, 16 ноября 1844 г.— печатается по автографу (ЦГАЛИ).

Н. В. Гоголь — С. П. Шевыреву, 14 декабря 1844 г.— печатается по автографу (ИРЛИ).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 21 декабря 1844 г.— печатается по автографу (Собрание А. Г. Миронова. Москва) ***.

---

* Источник текста в ПСС Гоголя (Изд-во АН СССР, т. XII, № 150) указан неверно.

** Источник текста в ПСС Гоголя (Изд-во АН СССР, т. XII, № 184) указан неверно.

*** Источник текста в ПСС Гоголя (Изд-во АН СССР, т. XII, № 234) указан неверно.

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю, 10 марта 1845 г.— печатается по автографу (ЦГАЛИ).

Н. В. Гоголь — Н. М. Языкову, 5 апреля 1845 г.— печатается по автографу (ИРЛИ).

«Краткие сведения и выписки из писем для биографии Гоголя» — печатаются по рукописи (ИРЛИ). Частично опубликованы в кн.: П. А. Кулиш. Записки о жизни Н. В. Гоголя... СПб., 1856.

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 2 мая 1845 г.— печатается по автографу (ЛБ).

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю, 24 мая 1845 г.— печатается по автографу (ЦГАЛИ).

Н. В. Гоголь — А. О. Смирновой, 4 июня 1845 г.— печатается по автографу (ЛБ).

Н. В. Гоголь — Н. М. Языкову, 5 июня 1845 г.— печатается по автографу (ИРЛИ).

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю, 11 июня 1845 г.— печатается по автографу (ЦГАЛИ).

Н. В. Гоголь — Н. М. Языкову, 25 июля 1845 г.— печатается по автографу (ИРЛИ).

Отрывки из писем В. С. Аксаковой к М. Г. Карташевской печатаются по рукописи В. С. Аксаковой «Из моих писем к М. Карташевской» (ЛБ). Частично опубликованы в ЛН, т. 58.

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, конец сентября 1845 г.— печатается по автографу (ЛБ).

О. С. и С. Т. Аксаковы — Н. В. Гоголю, 9 октября 1845 г.— печатается по автографу (ЦГАЛИ).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 29 октября 1845 г.— печатается по автографу (ЛБ).

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю, 22 ноября 1845 г.— печатается по автографу (ЦГАЛИ).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 25 ноября 1845 г.— печатается по автографу (ЦГАЛИ).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 23 марта 1846 г.— печатается по автографу (ЛБ).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 5 мая 1846 г.— печатается по автографу (ЛБ).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, середина ноября 1846 г.— печатается по автографу (ЛБ).

С. Т. Аксаков — И. С. Аксакову, 26 августа 1846 г.— печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в ЛН, т. 58, стр. 686.

С. Т. Аксаков — И. С. Аксакову, 28 ноября 1846 г.— печатается по автографу (ИРЛИ).

С. Т. Аксаков — П. А. Плетневу, 20-е числа ноября 1846 г.— печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в «Русской старине», 1887, № 1, стр. 249—250.

С. Т Аксаков — И. С. Аксакову, 5 декабря 1846 г.— печатается по автографу (ИРЛИ). В «Истории знакомства» опубликовано с пропусками и изменениями.

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю, 9 декабря 1846 г.— печатается по автографу (ИРЛИ).

С. Т. и В. С. Аксаковы — И. С. Аксакову, 11 января 1847 г.— печатается по

автографу (ИРЛИ). Частично опубликовано в «И. С. Аксаков в его письмах», т. I, стр. 407—408 и в «Материалах и исследованиях», т. I, стр. 176, 210.

С. Т. Аксаков — И. С. Аксакову, 14 января 1847 г.— печатается по автографу (ЦГАЛИ).

О. С. Аксакова — И. С. Аксакову, после 11 января 1847 г.— печатается по автографу (ИРЛИ). Опубликовано с пропусками в ЛН, т. 58, стр. 698.

С. Т. Аксаков — И. С. Аксакову, 16 января 1847 г.— печатается по автографу (ЦГАЛИ).

С. Т. Аксаков — И. С. Аксакову, 23 января 1847 г.— печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в «И. С. Аксаков в его письмах», т. I, стр. 408—409.

С. Т. Аксаков — И. С. Аксакову, 30 января 1847 г.— печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в «И. С. Аксаков в его письмах», т. I, стр. 413—415.

В. С. Аксакова — М. Г. Карташевской, 20 января 1847 г.— печатается по рукописи В. С. Аксаковой «Из моих писем к М. Карташевской» (ЛБ). Публикуется впервые.

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю, 27 января 1847 г.— печатается по автографу (ЦГАЛИ).

С. Т. Аксаков — И. С. Аксакову, 6 февраля 1847 г.— печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в «И. С. Аксаков в его письмах», т. I, стр. 418.

С. Т. Аксаков — И. С. Аксакову, 8 февраля 1847 г.— печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано частично в «И. С. Аксаков в его письмах», т. I, стр. 422—423; полностью в «Материалах и исследованиях», т. I, стр. 178—180.

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 20 января 1847 г.— печатается по автографу (ЦГАЛИ).

С. Т. Аксаков — И. С. Аксакову, 17 февраля 1847 г.— печатается по автографу (ИРЛИ).

И. С. Аксаков — С. Т. Аксакову, 15 февраля 1847 г.— печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано с пропусками в «И. С. Аксаков в его письмах», т. I, стр. 422—423.

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 6 марта 1847 г.— печатается по автографу (ЛБ).

С. Т. Аксаков — И. С. Аксакову, 28 марта 1847 г.— печатается по автографу (ИРЛИ).

С. Т. Аксаков — И. С. Аксакову, 3 апреля 1847 г.— печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в ЛН, т. 58, стр. 702.

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 10 июля 1847 г.— печатается по автографу (ЛБ).

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю, 26 июля 1847 г.— печатается по автографу (ЦГАЛИ).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 28 августа 1847 г.— печатается по тексту «Сочинений и писем», т. VI, стр. 418—423. Автограф неизвестен.

С. Т. Аксаков — С. П. Шевыреву, 3 октября 1847 г.— печатается по автографу (ГПБ). Впервые опубликовано в «Материалах и исследованиях», т. I, стр. 158.

С. П. Шевырев — Н. В. Гоголю, 4 октября 1847 г.— печатается по автографу (ГПБ). Впервые опубликовано в «Отчете Публичной библиотеки за 1893 г.», Приложение, стр. 52—53. СПб., 1896.

М. П. Погодин — Н. В. Гоголю, 5 ноября 1847 г.— печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано в ЛН, т. 58, стр. 832.

Н. В. Гоголь — С. П. Шевыреву, 2 декабря 1847 г.— печатается по тексту «Сочинений и писем», т. VI, стр. 429—430. Автограф неизвестен.

Н. В. Гоголь — С. П. Шевыреву, 18 декабря 1847 г.— печатается по автографу (ИРЛИ).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 18 декабря 1847 г.— печатается по автографу (ЛБ).

Н. В. Гоголь — С. П. Шевыреву, 23 января 1848 г.— печатается по автографу (ИРЛИ).

К. С. Аксаков — Н. В. Гоголю, май 1848 г.— печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано в «Русском архиве», 1890, кн. 1, стр. 152—156.

Н. В. Гоголь — К. С. Аксакову, 3 июня 1848 г.— печатается по автографу (Собрание Н. П. Смирнова-Сокольского. Москва).

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю, 21 мая 1848 г.— печатается по автографу (ЦГАЛИ).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 8 июня 1848 г.— печатается по автографу (ЛБ).

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю, 21 июня 1848 г.— печатается по автографу (ЦГАЛИ).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 12 июля 1848 г.— печатается по автографу (ЛБ).

С. Т. Аксаков — И. С. Аксакову, 28 ноября 1848 г.— печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано в ЛН, т. 58, стр. 714.

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, начало 1849 г.— печатается по автографу (ЛБ).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 19 марта 1849 г.— печатается по автографу (ЛБ).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 7 мая 1849 г.— печатается по автографу (ЛБ).

И. С. Аксаков — А. О. Смирновой, 16 мая 1849 г.— печатается по тексту «Русского архива», 1895, кн. III, стр. 431—432. Автограф неизвестен.

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю, 27 августа 1849 г.— печатается по автографу (ЦГАЛИ).

О. С. Аксакова — И. С. Аксакову, 20-е числа сентября 1849 г.— печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в «Русской мысли», 1915, № 8, стр. 115.

С. Т. Аксаков — И. С. Аксакову, 5 октября 1849 г.— печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в ЛН, т. 58, стр. 720.

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, ноябрь 1849 г.— печатается по автографу (ЛБ).

О. С. Аксакова — И. С. Аксакову, 25 ноября 1849 г.— печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в «Русской мысли», 1915, № 8, стр. 118.

И. С. Аксаков — С. Т. Аксакову, 9 января 1850 г.— печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в «И. С. Аксаков в его письмах», т. II, стр. 266.

С. Т. Аксаков — И. С. Аксакову, 10 января 1850 г.— печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано — в «Материалах и исследованиях», т. I, стр. 184—185.

В. С. Аксакова — И. С. Аксакову, первая половина января 1850 г.— печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в ЛН, т. 58, стр. 707.

С. Т. Аксаков — И. С. Аксакову, 17 января 1850 г.— печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в «Материалах и исследованиях», т. I, стр. 186.

С. Т. Аксаков — И. С. Аксакову, 20 января 1850 г.— печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в «И. С. Аксаков в его письмах», т. II, стр. 272—273.

С. Т. Аксаков — И. С. Аксакову, 27 января 1850 г.— печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в ЛН, т. 58, стр. 723.

С. Т. Аксаков — И. С. Аксакову, 31 января 1850 г.— печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в ЛН, т. 58, стр. 724.

Н. В. Гоголь — К. С. Аксакову, первая половина февраля 1850 г.— печатается по автографу (ЛБ).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, первая половина февраля 1850 г.— печатается по автографу (ЛБ).

С. Т. Аксаков — И. С. Аксакову, 3 марта 1850 г.— печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано в ЛН, т. 58, стр. 728—730.

В. С. Аксакова — И. С. Аксакову, март 1850 г.— печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано в ЛН, т. 58, стр. 730.

С. Т. Аксаков — И. С. Аксакову, 21 марта 1850 г.— печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

Н. В. Гоголь — К. С. Аксакову, май 1850 г.— печатается по автографу (ЛБ).

С. Т. Аксаков — И. С. Аксакову, 2 июня 1850 г.— печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в ЛН, т. 58, стр. 734 (с ошибочным приведением двух отрывков данного письма как фрагментов различных писем).

Н. В. Гоголь — О. С. Аксаковой, 13 июня 1850 г.— печатается по автографу (ЛБ).

С. Т. Аксаков — И. С. Аксакову, после 13 июня 1850 г.— печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в ЛН, т. 58, стр. 734.

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 7 ноября 1850 г.— печатается по автографу (ЛБ).

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю, 3 декабря 1850 г.— печатается по автографу (ЦГАЛИ).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 23 декабря 1850 г.— печатается по автографу (ЛБ).

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю, 25 декабря 1850 г.— печатается по автографу (ЦГАЛИ).

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю, 19 марта 1851 г.— печатается по автографу (ЦГАЛИ).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 14 мая 1851 г.— печатается по автографу (ЛБ).

«Из заметок В. С. Аксаковой о Гоголе» — печатается по копии М. С. Аксаковой-Томашевской (ИРЛИ). Опубликовано в ЛН, т. 58.

В. С. Аксакова — С. Т. Аксакову, 14 июля 1851 г.— печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано в ЛН, т. 58, стр. 736—737.

Н. С. Аксакова — С. Т. Аксакову, 21 июля 1851 г.— печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

И. С. Аксаков — С. Т. Аксакову, 3 сентября 1851 г.— печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в ЛН, т. 58, стр. 738.

«Выписка из слова в слово из моих кратких заметок» — печатается по тексту кн.: «В. И. Шенрок. Материалы для биографии Гоголя, т. IV, М., 1897, стр. 813—814, 815.

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 20 сентября 1851 г.— печатается по автографу (ЛБ).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 21 сентября 1851 г.— печатается по автографу (ЛБ).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 4 или 5 октября 1851 г.— печатается по автографу (ЛБ).

В. С. Аксакова — С. Т. Аксакову, 8 октября 1851 г.— печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, октябрь 1851 г.— печатается по автографу (ЛБ).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, конец 1851 г.— печатается по автографу (ЛБ).

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю, 9 января 1852 г.— печатается по автографу (ЦГАЛИ).

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, после 9 января 1852 г.— печатается по автографу (ЛБ).

В. С. Аксакова — М. И. Гоголь, весна 1852 г.— печатается по тексту «Истории знакомства». Автограф неизвестен.

С. Т. Аксаков — Н. В. Гоголю, 11 февраля 1852 г.— печатается по автографу (ЦГАЛИ).

С. Т. Аксаков — К. С. и И. С. Аксаковым, 23 февраля 1852 г.— печатается по автографу (ЛБ).

С. Т. Аксаков — М. Г. Карташевской, 25 февраля 1852 г.— печатается по автографу (ИРЛИ). Публикуется впервые.

И. С. Аксаков — И. С. Тургеневу, 26 февраля 1852 г.— печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано в «Русском обозрении», 1894, № 8, стр. 464—465.

С. Т. Аксаков — А. О. Смирновой, 28 марта 1852 г.— печатается по тексту «Русского архива», 1905, кн. 3, стр. 210. Автограф неизвестен.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАЗДЕЛЕ «ПРИМЕЧАНИЯ»

АРХИВОХРАНИЛИЩА

ГЛМ — Государственный литературный музей (Москва).
ГПБ — Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР (Ленинград).
ЛБ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (Москва).
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).
ЦГИА — Центральный государственный исторический архив (Москва).

ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

«И. С. Аксаков в его письмах» — Иван Сергеевич Аксаков в его письмах, тт. I—IV. М.— СПб., 1888—1896.
Барсуков — Н. П. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 1—22. М.— СПб., 1888—1910.
А. И. Герцен. Собр. соч.— А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах. М., Изд-во АН СССР.
Журнал Мин. нар. просв.— Журнал Министерства народного просвещения.
«История знакомства» — С. Т. Аксаков. История моего знакомства с Гоголем со включением всей переписки с 1832 по 1852 год. М., 1890 (отд. оттиск из журн. «Русский архив», 1890, № 8).
«История Москвы» — История Москвы в шести томах. М., 1952—1957.
ЛН — «Литературное наследство».
«Материалы и исследования» — Н. В. Гоголь. Материалы и исследования, тт. I—II. Под ред. В. В. Гиппиуса. М.— Л., 1936.
«Письма» — Письма Н. В. Гоголя, тт. I—IV. Редакция В. И. Шенрока. СПб., 1901.
ПСС АН — Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений, тт. I—XIV. Л., Изд-во АН СССР, 1937—1952.
СС — С. Т. Аксаков. Собрание сочинений в четырех томах. Под ред. С. И. Машинского. М., 1955—1956.
«Сочинения и письма» — Сочинения и письма Н. В. Гоголя, тт. I—VI. Изд. П. А. Кулиша. СПб., 1857.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ

В указатель входят все встречающиеся в тексте личные имена (кроме С. Т. Аксакова и Н. В. Гоголя) и названия литературных произведений, включая произведения Аксакова и Гоголя. Номера страниц, относящиеся к тексту разделов «От редакции» и «Приложения», набираются курсивом.

СОДЕРЖАНИЕ

С. Т. Аксаков

История моего знакомства с Гоголем

Утверждено к печати
редколлегией серии «Литературные памятники»

Редактор издательства *Д. П. Лбова*
Технический редактор *С. Г. Тихомирова*

РИСО АН СССР № 4-137В. Сдано в набор 28/IV 1960 г.
Подписано к печати 29/VII 1960 г. Формат $70\times92^{1}/_{16}$.
Печ. л. 18,5+4 вкл. Усл. пёч. л. 21,64. Уч.-изд. л. 19,5 (19,2+0,3 вкл.).
Тираж 12000 экз. Т-10508. Изд. № 4589. Тип. зак. № 525.

Цена 14 руб., с 1/I 1961 г. 1 р. 40 к.

Издательство Академии наук СССР.
Москва, Б-62, Подсосенский пер., 21

2-я типография Издательства АН СССР.
Москва, Г-99, Шубинский пер., 10

ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
75	1 сн.	Н. И. Васильев	Н. И. Васьков
77	4 св.	хотя бы	хотя был
101	1 сн.	быть	был
103	8 сн.	не	но
107	9 св.	они ⟨все⟩ находятся	они находятся
107	20 св.	бесконечная	бесконечна
109	2 сн.	воспоминанья	воспитанья
122	4 сн.	этом	этот
132	8 сн.	*16 мая.*	*16 мая 1844.*
149	19 св.	должествовало	долженствовало
150	19 св.	Н. В. Гоголю.	Н. В. Гоголю. Абрамцево.
189	2 св.	обмена	обмана
190	8 св.	нашем	вашем
194	14 св.	Н. Н. Гоголь	Н. В. Гоголь
208	19 сн.	*Декабря 5-го.*	*Декабря 3-го.*
212	10 сн.	*Васильевка.*	*Василевка.*
221	19 сн.	нас.	вас.
231	21 св.	трезвым	трезвый
246	4 сн.	[61] См.: Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. VII, стр. 21.	[58] См.: Гоголь в воспоминаниях современников. М., 1952, стр. 494—495.
248	6 сн.	1852 г.	1850 г.
264	2 св.	также	тоже
266	20 св.	содействовали	способствовали
271	15 св.	20	21
272	1 сн.	3 октября	3 октября—
275	8 св.	С. Т. Аксакову	С. Т. Аксакова
288	пр. столб. 18 св.	227	222
288	пр. столб. строка 3 снизу должна стоять вместо строки 5 снизу		
289	лев. столб. 23 сн.	29	28

С. Т. Аксаков. История моего знакомства с Гоголем.